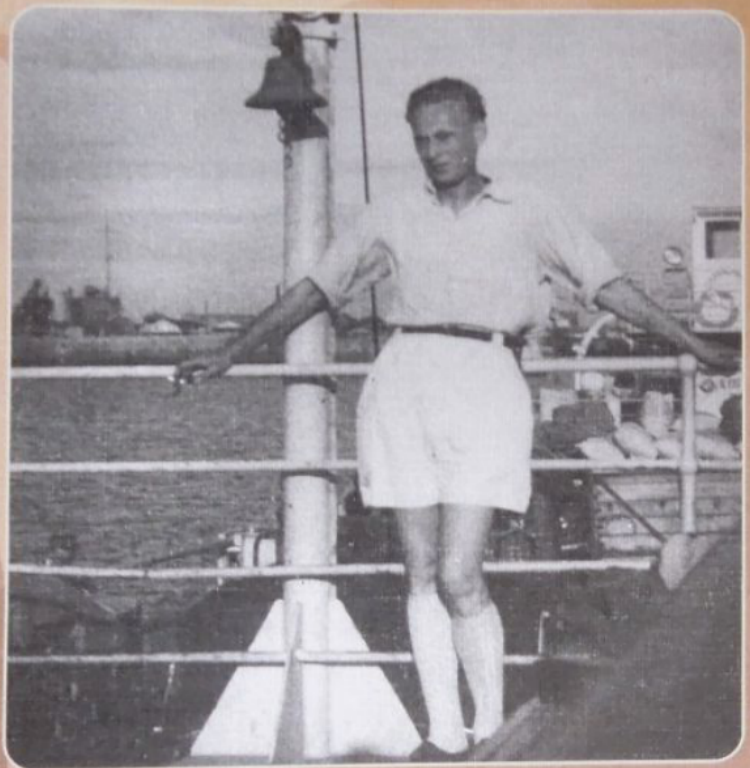
Юрий Софиев



# Вечный юноша

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

«Вечный юноша» — это документ времени, изо дня в день писавшийся известным поэтом Русского Зарубежья Юрием Софиевым (1899–1975), который в 50-е гг. вернулся на родину из Франции и поселился в Алма-Ате (Казахстан), а начат был Дневник в эмиграции, в 20-е гг., и отражает драматические события XX века, очевидцем и участником которых был Ю.Софиев. Судьба сводила его с выдающимися людьми русской культуры. Среди них — И. Бунин, А.Куприн, М.Цветаева, К.Бальмонт, Д.Мережковский, З.Гиппиус, Б.Зайцев, И.Шмелёв, Г.Иванов, В.Ходасевич, Г.Адамович, А. Ремизов, о. Сергий Булгаков, Мать Мария (Скобцева), философы Бердяев и Федотов, художник Билибин, великий певец Шаляпин, и многие другие.

Публикация Надежды Черновой.

Тираж 50 экз.

- ЮРИЙ СОФИЕВ. ВЕЧНЫЙ ЮНОША. ДНЕВНИК
  - Надежда Чернова. Дневник души (Предисловие)
  - ВЕЧНЫЙ ЮНОША. ДНЕВНИК 1958–1975 гг.
    - ТЕТРАДЬ I. 1958–1959 гг.
    - Тетрадь III, 1960 г.
    - ТЕТРАДЬ IV
    - Тетрадь V, 1961–1962 год
    - ТЕТРАДЬ VI (май-октябрь 1962 г.)
    - ТЕТРАДЬ X
    - ТЕТРАДЬ XI (ноябрь-январь, 1963–1964 гг.)
    - ТЕТРАДЬ XII (февраль-май 1964 г.)
    - ТЕТРАДЬ XIII, 1964 г.
    - ТЕТРАДЬ XIV, 1964–1965 гг. (сентябрь — март)
    - ТЕТРАДЬ XVI, март-октябрь, 1965 год. (корреспонденция, вырезки, заметки)
    - ТЕТРАДЬ XVII, 1965 год, сентябрь, октябрь-январь 1966 год
    - ДНЕВНИК Ю. СОФИЕВА (Вырезки, заметки, корреспонденции. Март-январь 1966, 1967–1969)
    - ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

# ЮРИЙ СОФИЕВ. ВЕЧНЫЙ ЮНОША. ДНЕВНИК

# Надежда Чернова. Дневник души (Предисловие)

Юрий Борисович Софиев (Бек-Софиев) — поэт русского Зарубежья, который во время Гражданской войны оказался в эмиграции. Вот как о нём вспоминал его сын, Игорь Юрьевич Софиев, предваряя первую на родине книгу отца «Парус»:

«Мой отец родился в Белле, небольшом польском городке, 20 февраля 1899 года, в семье кадрового военного, артиллерийского офицера. После русско-японской войны он остался служить на Дальнем Востоке, куда приехала вся его семья. Отца отдали в Хабаровский кадетский корпус, где он проучился до 1912 года, а потом его перевели в Нижегородский кадетский корпус, поскольку его отец, мой дед, по долгу службы переехал, кажется, в Винницу. Уже во время Первой мировой войны он поступил в Константиновское артиллерийское училище, которое закончил незадолго до Октябрьской революции. Вместе с моим дедом отец участвовал в белом движении, сначала в «ледовом походе», потом воевал в кавказской конно-горной артиллерийской батарее, в чине поручика. Дед же, бывший однокашником Деникина по артиллерийскому дивизиону ещё во времена империалистической войны, служил инспектором артиллерии Белой армии. В 20-м году отец с дедом эвакуировались в Галлиполи, где были размещены остатки Добровольческой армии.

После отец попал в Белград, где поступил на историко-филологический факультет Белградского университета. В то время в Белграде осело немало крупных русских учёных-профессоров, преподавателей, что позволяло получить русским беженцам прекрасное образование. Закончил он его уже в Париже, во Франко-Русском институте.

Группа русской молодёжи, по преимуществу студентов Белградского университета, организовала кружок молодых поэтов «Гамаюн». Лидерами здесь были Илья Голенищев-Кутузов, Алексей Дураков и Юрий Софиев. Этот кружок был создан для ознакомления литературной публики с творчеством молодых и издания коллективного сборника «Гамаюн», где дебютировал мой отец. Это был 1923 год. После выхода сборника кружок молодых поэтов распался.

Но настоящим своим дебютом мой отец считал публикацию в журнале «Звено» в Париже, в 1926 году, под редакцией Георгия Адамовича.

Переехав в Париж, мой отец стал членом РДО (Республиканское Демократическое Общество), а затем членом и, одно время, председателем «Союза молодых поэтов и писателей во Франции». Тогда он встречался с известными ныне, а в то время молодыми, начинающими, как и он сам, писателями, такими как Юрий Терапиано, Виктор Мамченко, Ант. Ладинский, чьи исторические романы впоследствии стали популярны в России. На вечерах, которые устраивал «Союз», бывали и такие маститые писатели, как Марина Цветаева со своим мужем Сергеем Эфроном, Куприн, Ходасевич, Адамович — поэт и ведущий критик «Последних Новостей» и «Звена», Георгий Иванов и Ирина Одоевцева. Приходили Н.Тэффи, М.Алданов, М.Цетлин — поэт Амари, один из редакторов и издателей «Современных Записок», он же критик, Н.Берберова, М.Слоним и др.

На одном из литературных вечеров мой отец познакомился с моей матерью, двадцатилетней поэтессой Ириной Кнорринг, которая также стала членом «Союза» и чьё творчество было высоко оценено Анной Ахматовой. Мать умерла в Париже в 1943 году, и эта драма не отпускала отца до конца его дней.

В своих воспоминаниях отец рассказывает о дружбе с Иваном Буниным, с которым ему «…пришлось встречаться, живя в Париже, на протяжении почти двух десятилетий в русской литературной среде и в домашней обстановке писателя».

…Жить в эмиграции литературным трудов, да ещё будучи молодым поэтом, было совершенно невозможно. И мой отец влился в ряды французских рабочих, участвуя вместе с ними в забастовках и митингах в эпоху Народного Фронта (1936 г.) В это время вышла первая книга его стихов «Годы и камни».

Во время войны отец участвовал во Французском Сопротивлении. В 1943 г. моего отца насильно угнали в Германию на работы.

Тоска по России никогда не оставляла его. После победы в Великой Отечественной войне советское правительство дало всем желающим возможность вернуться на родину. И в 1946 г, наша семья получила советские паспорта.

«Как-то на одном из посольских приёмов, — вспоминал отец, — я разговаривал с послом СССР во Франции А.Е.Богомоловым и попросил его посоветовать мне, какой город выбрать для возвращения. Я надеялся на родине работать по моей второй специальности: художником-графиком, научным Иллюстратором по биологическому профилю. Мне нужен был город с соответствующими научными учреждениями.

— Поезжайте в Алма-Ату, — сказал мне посол, — там Академия Наук, много научных учреждений, там вы сразу

устроитесь».

В середине декабря 1955 г. мы приехали в Алма-Ату, и отец стал работать в Институте Зоологии АН Каз. ССР художником, участвуя в многочисленных экспедициях по Центральной Азии. О таких путешествиях он мечтал с ранней юности. Начал отец печататься в казахстанском литературном журнале «Простор». Написал книгу «Парус», но при жизни не успел её издать. Там есть такие строки:

Мой сын, иль внук, быть может, даже правнук,
Должно быть, сохранит в глуши шкафов.
Среди имён значительных и славных
Мой скромный труд — два томика стихов…

Умер отец в 1975 году».

Но не только «два томика стихов» сохранили его потомки «в глуши шкафов», но и многие документы его времени, в том числе — рукописные тетради Дневника алма-атинского периода, который он вёл на протяжении многих лет.

Начал он Дневник, скорее всего, в эмиграции, но когда собрался возвращаться на родину, то оставил тетради в Париже, поскольку советская таможня запрещала ввозить на территорию СССР любую литературу, связанную с эмиграцией. Так, вместе с Дневниками, Где, несомненно, были зафиксированы многие события эмигрантской жизни, фигурировали имена запрещённых в СССР писателей и общественных деятелей, «крамольные» мысли и строки, пришлось оставить и целую библиотеку книг с дарственными надписями многих, прославленных ныне, русских писателей, подшивки газет и собрание журналов, выходивших за рубежом. Удалось вывезти только малую часть личного творческого архива, опасаясь потерять и это при таможенном досмотре. Но судьба оказалась милосердной: багаж был осмотрен невнимательно, и теперь в семейном архиве хранятся и книги Ю.Софиева и И.Кнорринг, изданные в Париже, и Дневники Ирины Кнорринг, которые ныне изданы в Москве, и исторические труды её отца, Николая Николаевича Кнорринга, которые также изданы в России, и записные книжки со стихами Юрия Софиева. Но парижские его Дневники — пропали.

Устроившись, в Алма-Ате, Юрий Борисович возобновил ведение Дневника. Записывал не только новые впечатления и события своей «советской» жизни, но на протяжении всего времени пытался восстановить картины эмигрантских скитаний

— по собственной памяти, и при помощи друзей, оставшихся во Франции, либо живущих теперь на родине, как и он. Софиев ведет активную переписку с ними, и некоторые послания его к друзьям записаны в Дневник.

Так был восстановлен Югославский период. Он выделен в отдельный мемуарный очерк «Разрозненные страницы». Шаг за шагом, в Дневнике воскрешены многие страницы парижской жизни, полной драматических событий, потрясений, уникальных встреч и трагических потерь, счастья и любви, разочарования, снова счастья и любви, тяжёлого эмигрантского быта, творческого возмужания, прекрасной и чистой дружбы, мудрых размышлений, описаний чудесной природы, эмоций по поводу прочитанных книг и разных литературных дел, портретов современников, среди которых немало выдающихся личностей, разговора со своей совестью, покаяния, попытки разобраться в исторических поворотах XX века и в своих поступках, попытки объяснить их, дать им объективную оценку.

Дневник Юрия Софиева — это, по большей части, Дневник его Души. Там немного бытовых подробностей. Там — записки мыслителя, поэта, гражданина, тем он и интересен.

Сам себя Юрий Борисович называл «вечным юношей», который и с годами не утратил «восторг любви первоначальной детской веры в чистоту чувств, которых ждал от каждой встречи, страсти к путешествиям и новым впечатлениям. Он и хотел назвать свой Дневник «Вечный юноша», думая, возможно, когда-нибудь на основе дневниковых записей написать биографическую книгу — на фоне исторических событий, и потому между страницами Дневника вклеены вырезки из газет, советских эмигрантских, заметки из журналов, конверты с письмами друзей, фотографии, которые Ю.Б.Софиев делал сам, путешествуя по казахским степям (их пришлось оставить за пределами нашей публикации, сделав только краткое описание этих вкладышей).

Начат Дневник в феврале 1958 года и обрывается в сентябре 1967 года. Связано это, вероятно, с тем, что кончилось вольное житьё Софиева в своём доме, на живописной окраине Алма-Аты с чудесной панорамой гор Заилийского Алатау, в доме, окружённом садом и цветниками — он их посадил и вырастил сам. Юрий Борисович серьёзно заболел и не мог уже обходиться без посторонней помощи. Сын забрал его к себе, в благоустроенную квартиру. Но и там Юрий Борисович жить не смог — и сын, и невестка работали, он часто оставался один, и потому добровольно переместился в Дом престарелых, где была постоянная медицинская помощь. Болезнь прогрессировала, правая рука с трудом писала, и Дневник вести было сложно. От

того времени осталось только несколько коротких писем брату Льву Софиеву и близкой подруге Раисе Миллер во Францию, да небольшая переписка с Полиной Вайншенкер, биографом его друга по эмиграции, поэта и писателя Антонина Ладинского. Письма эти, напечатанные на плохой, или как говорил Юрий Борисович, «картавой машинке», на серой оберточной бумаге, можно считать завершением его повести из собственной жизни, его Дневника Души.

Тетради пронумерованы самими Ю.Б. Сохранились не все, к сожалению, и потому часть из них отсутствует.

Наследие Ю.Б.Софиева возвращается к русскому читателю. Издана его книга стихов «Парус», мемуары «Разрозненные страницы», было несколько публикаций неизвестных доныне стихов Юрия Борисовича в журнале «Простор», появляются статьи о нём и в Казахстане, и в России, и в дальнем зарубежье. Творчество его заинтересовало учёных, пишутся научные работы, печатается переписка. Имя Ю.Б.Софиева всё чаще упоминается в разных сборниках, антологиях, библиографических справочниках и комментариях, связанных с русской эмиграцией, в воспоминаниях эмигрантов, в статьях о русской литературе в изгнании. Он стал частью отечественной культуры, от которой себя никогда не отделял. Он вернулся на родину своего языка.

# ВЕЧНЫЙ ЮНОША. ДНЕВНИК 1958–1975 гг.

## ТЕТРАДЬ I. 1958–1959 гг.

**1. 6/II 1958 г.**

…Но, боже мой, с какой предельной жаждой
Искал я верности и чистоты!
Предельной дружбы, братской
С надеждою встречался с каждым, с каждой…

Может быть, это одно из лучших моих стихотворений, во всяком случае написано без всякой позы.

Когда-то Адамович написал обо мне, что из тысячи стихов, можно угадать мои стихи, наделенные искреннею взволнованностью.

Леву (родной брат Ю.Софиева — Н.Ч.) очень смутили эти стихи, о них ему когда-то рассказал Станюкович, конечно, с осуждением. Впервые оно появилось, кажется, в «Числах», в тридцатых годах, и я рад, что оно вошло в третью антологию «На Западе». Может быть, Ю.Иваск и Берберова намеренно поместили его не без задней мысли, чтобы «очернить» меня. А, может быть, я путаю и оно вошло в «Якорь» (стихотворение это действительно вошло в сборник «Якорь», Антология русской зарубежной поэзии, Петрополис — 1936 г. составители — Г.В.Адамович и МЛ Кантор — Н.Ч.).

Я был плохим, отцом, плохим, супругом,
Плохим товарищем, плохим бойцом.
Обманывал доверчивого друга,
Лгал за глаза и льстил в лицо.

И девушек доверчивых напрасно
Влюбленностью я мучил вновь и вновь,
Но вместо страсти чистой и прекрасной
Унылой похотью мутилась кровь. (Это не совсем верно!)

Но, боже мой, с какой предельной жаждой

Хотел я верности и чистоты,
Предельной, дружбы, братской чистоты,
С надеждою встречался с каждым, с каждой!

И еще второе:

От удушья крови и восстания
Уходили в синеву морей,
Жили трудным, хлебом подаяния,
Нищенствуя у чужих, дверей!

Сколько встреч! И счастье расставания!
Было в этой жизни наконец.
Столько нестерпимого сияния
Человеческих больших сердец!!

Падая от бедствий и усталости,
Никогда не отрекайся ты
От последней к человеку жалости
И от простодушной теплоты.

**Вопреки всему!**

Неужели в самом деле смерть уже стоит где-то за дверями, а я и стариком себя совсем не чувствую. Нет ни усталости, ни равнодушия к жизни. А все та же нестерпимая жажда. Делаю все, чтобы как-то отвлечься от мыслей о Тае (подруга Ю.Софиева в Алма-Ате — Н.Ч.). Но ежеминутно она пронзает все мое существо нестерпимой болью и тоской.

Сегодня она должна была приехать в Стерлитамак.

Может быть, прав Dorelte:

Die sckonsten Stunden
Im Leben sind die, nach
Tiefem efoem herzlichen Erleben
Diese friunerung bleit turing

Только этот floqlich enden произошел у меня не в самые тихие и счастливые часы моей любви к ней и ее любви ко мне, а они были и их-то я никогда не забуду. Но как раз эти мартовские дни прошлого года…

**2.**

(Стихи, известные, Ю.Софиева — «Прозрачной акварелью нарисован…», «В деревенском кафе», «Географическая карта», «Может быть, другим со стороны…», «В окне “Орел”, сверкая Алтаиром…» — Н.Ч.).

**1959 г.**

**1.**

«Жить стоит только для того, чтобы странствовать, видеть новые города и страны, новых людей, насладиться созерцанием великих произведений искусства»

Лично мне трудно, мучительно жить без этого, но жить стоит не только для этого и вовсе не ради этого. В такой жизни нет творческого начала.

Вот так и мы с тобою жадно копим.
Сокровища, скитаясь по земле…

Но копить «сокровища» только для жадного наслаждения созерцателя — тема скупого рыцаря.

В какой-то мере та же бесплодная личность. Вся моя жизнь — ненасытная жадность к видениям жизни, к видениям мира.

Эти видения давали мне неизъяснимые наслаждения, восторг, радость.

Но голое созерцание не дает полного удовлетворения. Созерцание, накапливание впечатлений — сами по себе не дают полного удовлетворения. Даже созерцание великих творений искусства не исчерпываются эстетическим наслаждением, но зовут, мучают и гонят порывами к творчеству.

Накапливание — это обещание воплощения.

Но из творчества ничего не вышло!

И как мало успел я накопить, сколько упущено и, увы, безвозвратно, непоправимо!

Как ничтожно то, что я видел, по сравнению с тем, чего я не

увидел, вернее не повидал!

Как мало деятельна была моя жизнь.

Как случайно, как мало в ней было раздумий, расчетливой целеустремленности.

И не только полное отсутствие экономии времени, но неумное, бессмысленное расточительство, мотовство.

Morgen, Morgen nur nicht heute… (завтра, завтра, только не сегодня — Н.Ч.).

Читаю Никулина о Венеции. Как близка и возможна была Италия, при усилии, при упорстве, при целеустремленности. Конечно, у меня никогда не было денег. Но разве это обстоятельство помешало мне на велосипеде объехать всю Францию, а пол-Европы обойти пешком?

Как много прожито, и все-таки, как мало пережито…
Пережить можно было бы в тысячу раз больше.

Странное сочетание non chelon и какой-то жалкой осторожности. Отсутствие настоящей, большой смелости.

**2.**

(Черновик письма к Елене Лютц, которая одно время была гражданской женой поэта и друга Ю.Софиева — Виктора Мамченко, в Париж. О личном счастье — Н.Ч.).

Все, что ты пишешь, для меня, конечно, все интересно, все дорого, но и очень, очень грустно.

Ведь судя по твоему письму, твоя жизнь, как я хотел написать — полная бессмыслица, но это не верно, потому что была наполнена полезной работой (Елена работала медсестрой в Русском Доме и ухаживала за тяжело больным Виктором Мамченко, даже уже расставшись с ним — Н.Ч.).

Но в личном плане она — нелепость.

По всему видно, что ты полностью примирилась с судьбой и не помышляешь о ее изменении.

«Что случилось, то случилось; что было, того уже нет».

Я очень хорошо знаю, как тебе тяжело, родная, и потому особую горечь вызывает у меня твоя восточная примиренность с судьбой.

Я тебе давным-давно говорил: В. (Виктор Мамченко — Н.Ч.) совершенно подавил и исковеркал твою личность своим диким

деспотическим характером.

Без всякой надежды на освобождение, на возможность открытого сопротивления, у тебя выражалось в потере самозащиты, способность к мимикрии, к тысячам уловок, к приспособлению, к замкнутости, к уходу в себя, при постоянном страхе, при постоянной настороженности, к ежеминутному ожиданию возможного удара. Постоянный компромисс с судьбой.

«Что было, то уже не будет».

Это все бесспорные истины. Прошлого не вернешь, оно не в нашей воле, но будущее — строить свое будущее — это в нашей власти, было бы желание и упорство.

А в твоих письмах полный отказ от будущего, полная покорность судьбе, полная безысходность.

У меня было давнишнее стихотворение — совершенно забытое мною — в котором говорилось, что я думал о счастье, как о гоголевской галушке — разинь рот и оно само в рот прыгнет, а пропустив его, я понял, что и счастье, как «царствие божие», берется силой.

Мы с тобой взять силой его не сумели.

Очень много, во всем этом, моей вины. Я за это сейчас и расплачиваюсь. И все-таки сомневаюсь — если бы действовал иначе — если бы не было Сони (16-ти летняя русская девушка, в которую Ю.Софиев был влюблен в Париже, она тоже писала стихи и была отменно хороша собой, ей посвящен целый цикл любовной лирики — Н.Ч.) — если бы мое поведение было бы безупречно — все равно ты нашла бы причины, из страха что-либо изменить, чтобы сохранить наш обычный status quo.

«А счастье было так близко и так возможно». Я не иронизирую, Лена. Оно было в наших руках, Лена. Ущербное, неполное, подверженное испытаниям (для тебя в особенности), трудное и горькое, да и краденое к тому же. И все-таки это было счастье!

Вспомни и проверь самое себя.

И мне верилось, что здесь, дома, в новой жизни (…) оно станет открытым и полным, прошедшем через все испытания.

Мне тебя очень недостает, Лена.

Ты это не сможешь понять, а я не могу тебе этого объяснить.

Приходит в голову еще одна мысль.

Ты часто меня упрекала, что я живу прошлым, воспоминаниями.

Теперь я знаю, что это было от расточительности, потому что будущего было, или казалось, еще очень много. Слишком много было еще впереди — так ощущалось — и потому прошлое не казалось безысходным.

Фактически я им никогда не жил, я его носил в себе. Как носил вообще многое. Кстати, чувствовал как свое, как живое — во Франции — многие моменты французской истории: французскую революцию, средневековье.

«Историческая эмоция» всегда мне была свойственна.

И мертвых нет! Одни живые.
Там в бездне отшумевших дней
Горят огни сторожевые
(неразб.) памяти моей.

Но это прошлое, к которому ты меня попросту по-женски ревновала, оно уравновешивалось будущим.

Теперь, когда будущее стало столь сомнительным, в плане моей жизни, сомнительным в смысле неуверенности в его длении — каждое мгновение настоящего приобрело пронзительную горькую ценность, а утраченное возможное счастье продолжает казаться возможным и все существо никак не хочет мириться с «служившимися обстоятельствами».

А воспоминания прошлого перестали меня тешить и утешать, ибо теперь они свидетельствуют — беспощадно подчеркивая — о том, что жизнь прошла. О том, что уже нет возможности что-либо исправить или начать заново. И всем существом хочется беречь то «настоящее» (не в смысле времени, а в смысле подлинной ценности — именно оценив его в полной мере), что в жизни было, да и есть, И когда ты мне упорно пишешь (все в том же плане подозрительной ревности) о каких-то мифических «новых друзьях», ничего кроме горького раздражения у меня это не вызывает.

Есть у меня, конечно, друзья и товарищи (и обоего пола), но точнее все-таки может быть, просто добрые знакомые.

Очень многое я нашел в новой жизни, осмысленность существования — потому что оно связано с общественно-полезным трудом. Труд этот не только любимый и увлекательный, но и, в какой-то мере, творческий. И это не пустое тщеславие: когда я теперь вижу мои работы в открытом сборнике трудов или в монографиях, это дает мне большое удовлетворение, даже радость, т. к. я вижу, что и я делаю какой-то скромный вклад в нашу советскую науку, своим трудом приношу какую-то реальную пользу, да еще во всегда увлекавшим меня зоологическом профиле (Ю.Софиев работал в Институте Зоологии АН Казахстана художником, участвовал в научных

экспедициях, оформлял монографии ученых — Н.Ч.)

И поэтому работаю я с подлинным увлечением и стремлюсь все время расширить свои навыки и знания.

Есть хорошая монгольская поговорка:

«Учись, даже если умрешь завтра».

В какой-то мере я следовал ей всю жизнь. Жажда приобретать новые знания, новые впечатления были мне присущи всегда. И всегда бывало известное внутреннее удовлетворение, хотя в знании я никогда не умел извлекать из этого выгоду материальные блага. Не умею и по сейчас. Но не в этом дело. Повторяю, я очень много нашел на родине, но в этой новой жизни отсутствует одна вещь — личное счастье, так как мы привыкли его понимать. И, может быть, теперь, когда пришла старость, особенно ощущается холод одиночества (Юрию Софиеву было в это время 59 лет и впереди у него оставалось еще 16 лет жизни, но возраст от 60 до 63, возраст «мушеля» в Азии, он для мужчины всегда поворотный и опасный, как бы балансирование над пропастью, и кажется, что жизнь уже прожита и кончена, но это только перевал — Н.Ч.).

Ты знаешь меня, Лена, на протяжении более чем четверти века — никогда в жизни я не искал в человеческих отношениях: удобств, пользы и выгоды. Не ищу и не буду искать и теперь.

У меня было много безумных ослеплений в жизни и они были, может быть, безрассудны, лишены здравого смысла, но всегда бескорыстны.

Костры гасли на ветру жизни. Оставался пепел. А я «выныривал» из пепла подобно фениксу. И все это было подлинным и усилило в какой-то мере, и плело мою судьбу, откладывая свой след, и если хочешь, чтобы я был нескромным, скажу прямо: возможно и обогащало меня, мою жизнь, мою судьбу.

Ты скажешь: все это попахивает эгоизмом. Пожалуй, нет — ведь в момент горения я никогда не был эгоистом, напротив, я отдавал все, всего самого себя.

С тобою мы съели не один пуд соли.

У нас была с тобой такая человеческая близость, какая в жизни бывает далеко не у каждого чувства, далеко не у всех супружеских пар.

Может быть не всегда. Может быть, только временами. Но это в значительной степени зависело от нас самих. У нас она складывалась долгими годами, не смотря на все превратности нашей судьбы.

И сейчас возможность счастья ты рушишь собственными руками.

Я звал тебя, по существу говоря, все начать сначала, т. е. жизнь, так, как сам начал, а в нашем возрасте это, конечно, не легко, да и условия совсем другие.

С моим характером, с моей нетребовательностью, с моей привычкой к самым суровым жизненным условиям, с безразличием к уюту, к комфорту — я их никогда не знал в жизни — с моей приспособляемостью к людям (и уживчивостью) — начать новую жизнь, в новых условиях, мне было, вероятно, легче, чем тебе — в этом я отдаю себе отчет.

И если бы мы были вместе, я уверен, что и устроить нам нашу новую жизнь было бы в тысячу раз легче и ты очень скоро привыкла бы к новым условиям, как привык к ним я.

**3.**

26 января 1959 г.

Прочитал «I ete n'en fruitpas» Emmanuel d'Astier

Прекрасная книга! Полная очарования и подлинной человечности.

«Понятен нам и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений».

Прожив 30 лет во Франции, я всегда оставался русским, но любил и люблю Францию и французов, и уверен, что целый ряд товарищей и меня вспоминает там добрым словом.

Эта умная и тонкая книга, очень своеобразно построенная, оживила воспоминания, всплыли в памяти люди и дни.

Захотелось «позвонить по мысленному телефону».

Alio! Dulose!
Alio! Jacho!
Alio! Polo!
Alio! Eherese!
Alio! Maurtce!
Alio! Georges!
Salut chers amis!
Alio! Maris! Commet tu va?
Est — ce que tu es heureuse? Toi?
Ec que tu souvions «maison Choque» ct le petit bistro au coin du rue N qnon?
Auberqes de la jennesse», amis de la Nature!»
«Sur le Pont d'Ariqnon nons donsrus tonten ronol!», а я стою на нем, на его последнем пролете, над обрывом в Рону и Лена меня

фотографирует. Тикает будильник. 1,15. Удивительная тишина.

Поселок спит. Угомонились собаки.

Лежат глубокие снега. И совсем рядом вечно призрачные горы. Очень хороша жизнь. Очень не хочется уходить из нее. Но что же делать с этим диким несоответствием — с нестареющей душой и со склерозирующими сердечными сосудами, с дряхлеющей сердечной тканью!

Я возвращеньем, в дом судьбе ответил.
Но слишком поздно к дому подошел.
Я слишком много трудных лет провел
В скитаньях по домам и по планете.

A propos, завтра, вернее сегодня, в 2 часа будем хоронить Костю Парамонова, ему не было и 50 лет, а рак истерзал печень. Momento mori.

Помнить приходится, надо только, чтобы это жить не мешало. До последнего момента.

После вскрытия выяснилось, что у Парамонова был не рак, ехинокок в печени.

«В силу неодолимого страха перед таинственной сущностью другого, перед чем-то противообычным и житейски ненадежным в его натуре, чему она не смела и не могла подыскать имени и нашла лишь позднее в его же собственном покаянном жалобном признании: «Выродок без цели и покоя», как странно, что этот выродок мог быть таким славным и открытым, таким простодушным…»

Томас Манн, «Лота в Веймаре».

В застенчивый сентябрьский закат
Платаны и осины по каналам
Над Францией чуть слышно шелестят —
Все с жадностью душа моя вобрала.

(Неразборчивая карандашная запись стихов, много раз зачеркнутых, исправленных — Н.Ч.)

**4.**

Читаю Томаса Манна. Приходят мысли о нашей современной советской литературе. Великое ее преимущество то, что она призвана отражать совершенно новую страницу жизни в истории человечества — эпоху социализма. Новое бытие неизбежно должно породить и новый облик человека.

На нашу долю выпал, конечно, только переходный период. Невольно, еще и еще, приходит на память мысль Сталина, что человеческое, общественное, сознание отстает от уже установившихся новых форм жизни, это приходится наблюдать каждый день. Вырастают, бесспорно, и новые, характерные для нашего времени, противоречия.

Но с другой стороны, нельзя не признать, что у нас необычайно беден и примитивен психологический образ человека, не только нового, но и вообще. Хочется прибавить — по ряду причин. Сложный, живой психологический образ у Леонова, у Шолохова, у Олеши, у К.Паустовского и др. Эренбург великолепен в публицистике и все-таки, уже в силу своей настоящей, большой культуры, менее схематичен, конечно, гораздо более сильнее и в романе, чем великое множество наших средних литераторов… Нечего и говорить, еще хуже обстоит дело, за исключением нескольких имен, с нашей «средней» поэзией.

И я думаю, необычайно важно и полезно, для развития, для расширения кругозора нашего писателя то, что у нас расширено издательство переводной литературы. И еще хорошо, что стали появляться и наши второстепенные «старики» — Эртель, Слепцов, Горин и др.

На днях приобрел Бестужева-Марлинского, я его, откровенно говоря, никогда не читал, даже в юности. А прочитать забавно. Сегодня увидел в ларьке даже В.Немировича-Данченко. Кстати, включена пьеса «Цена жизни» — далекое детское воспоминание: Незлобинекая группа в летнем, курортном Старорусском театре.

… Сегодня Вспомнились мне Пиренеи,
Бискайского залива грозный шум,
Среди движенья образов и дум,
Далекий образ предо мною реет…

1.

Мария! Кудри черные как смоль!
В них синева морская отразилась.
Колеблет память сладостную боль,
Запечатлев навек, любую малость.
Под гул волны я слушал голос твой
Гортанный голос, низкий и горячий.
Потом сияла ночь. Шумел прибой.
Цвели магнолии на белой даче…
И вновь неумолимый зов дорог.
Звенели рельсы или за кормою
Вода бурлила, иль шумел поток
На дне (неразборчиво, может быть, «канала»?), где-то подо мной!
Я многим это сердце отдавал.
Тебя затмить они могли, быть может,
Но никогда я женщин не встречал,
Хоть отдаленно на тебя похожих.

2.

Твой южный край, где дремлют Пиренеи,
Мария! Я навеки полюбил.
Где видно с гор, как океан синеет,
Где эти кудри теплый ветер бил.

За преданность в глазах, полузакрытых,
За теплый шелк доверчивых колен,
За привкус губ, покорных и (неразборчиво),
За неожиданный, блаженных плен —

Спасибо и прощай! Опять свобода
Неугомонную волнует кровь.
Но жадной памятью я сохраню на годы
Свою короткую, ревнивую любовь.

Стал писать я не только посредственные, но просто плохие стихи. Вероятно по ряду, уже личных причин. Думается, что лучшие вещи были написаны в годы 35–47—е. И не могу вылезти из пятистопного ямба. Звучит органически, ритм раздумий. Рифма у меня была всегда бедной. Теперь стала еще беднее, но я

и сознательно не придавал этому большого значения. Самое верное с моей точки зрения в поэзии — интонация и то, что мы называем «магией поэзии», магией слова, она вспыхивает и в короткой песне: «Едут с товарами в путь из Касимова \ Муромским лесом купцы», и у великих поэтов: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу \ И звезда с звездою говорит…». Перекличка парохода пароходом на реке у Блока.

Да, я родился с жадною душой
К виденьям мира.
Мне судьбою щедрой
Дарован мир пространственно-большой.
Я слушал атлантический прибой,
Внимал молчанию сибирских кедров.

Как густо чертит детская рука
Карандашом по маленькой Европе.
Я эту карту так же исчеркал
Пешком, велосипедом, auto-stop-ом.

…Динарских Альп лесистую гряду
Струя колеблет в синеве Скадара…
Из памяти года не украдут
Виденье несказанное — Катарра!

Над Адриатикой кусты мимоз…
Гортанный гул восточного базара…
Волнующий овал, что я унёс
В мою судьбу с полотен Ренуара…

В застенчивый сентябрьский закат
Платаны и осины по каналам
Над Францией, что дрёмно шелестят, —
Всё с жадностью душа моя вбирала.

А яблони в Нормандии в цвету!
Снега в Швейцарии!
Снега в Тироле!
И в эту вязь видений я вплету
Родного Севера ржаное поле…

И я смотрел с взволнованным вниманьем
В тот утренний необычайный час,

Когда диск солнца скрыт ещё от глаз,
Как загораются снега Тянь-Шаня!

И я вдыхал, ружьё сорвав с плеча,
Тот острый запах зверя и полыни!
А у палатки слушал по ночам
Великое безмолвие пустыни…

И все слова на разных языках
В порыве дружеских рукопожатий,
Людскую теплоту в людских сердцах
И простодушное: (неразборчиво) братья!

Я видел мир не в кабинете чинном
И не из книг я образы копил —
Мои слова хранят песок и глина,
Асфальт дорог,
Гранит,
Прибрежный ил.

6 марта, 1959 г.

**5.**
**апрель 1959 г.**

Ликующее торжество жизни не может быть пошлостью.

Наткнулся на старые фотографии. Лицо Марианны! (Галльской, Ю.Софиев был серьезно влюблен в нее — Н.Ч.). Начало стихотворения не могу припомнить.

…Я только и помню:
Уплывала платформа
И в пятне световом фонаря
Лицо твое!
Печальное, как осень,
Любимое, прекрасное лицо!

Завтра вечером поезд скорый.
Завтра, кажется, будет среда.
Встанут в окнах озера и горы.
Стук колес «навсегда», «навсегда»!

Неужели же все это было,
Тот, другой, твое сердце сжег!
А ведь было, только и было,
Что однажды сказала: «дружок»!

Да однажды в порыве губы
Прикоснулись к горячему лбу.
В этой жизни прекрасной и грубой
Не мы выбираем судьбу.

Все мне видится, все мне снится
Твое дорогое лицо.
Золотым, ободком круглится.
На пальце, твоем кольцо…

Завтра вечером поезд скорый.
Завтра вечер такой, как всегда!
Встанут в окнах, озера и горы,
Стук колес: «навсегда», «навсегда»!

Монтажи, 1925 г.

**НАТАША ГАБАР**

Когда я впервые увидел на одном старинном портрете лицо леди Гамильтон — оно мне показалось невыразимо прелестным, но леди Гамильтон была не англичанкой, а итальянской прачкой, а Стендаль уверял, что нет женщин совершенней по красоте, чем итальянки. В Ницце, а может быть, в Ментоне, я лежал на пляже. К берегу сбежали две девчонки-итальянки, они быстро сбросили ситцевые, достаточно замаранные платьица и я был поражен античной чистотой линий. Тела их были прекрасны.

И еще другое лицо: Наташа Габар. 1927 год. Севр.

Я у Ирины (Кнорринг, будущая жена Ю.Софиева, известная поэтесса русского зарубежья — Н.Ч.). Пришла Наташа. Со своими огромными, очень толстыми, тяжелыми косами. Вечер вместе. Она, кажется, в старшем классе гимназии. Очень тонкое, точеное и необычайно живое лицо. Борис Афанасьевич Подгорный, эрувильский отшельник (в прошлом московский преуспевающий адвокат, купил имение в Эрувиле, где любил принимать русских эмигрантов на лето — Н.Ч.), как-то сказал ей:

— У Вас лицо, изумительно выточенное, редкой «английской»

красоты. Ваше лицо не похоже ни на русские, ни на французские лица.

Джон Стоун — медик из Лондона, мой приятель по «Auberqe de la jennensse», с которым мы «сделали» tour de Bretaqne, говорил мне: «5 % английских женщин изумительные, бесподобные красавицы, 10 % так-сяк, кое-как приемлемы, но 85 % — отвратительные лошади! Совершенно лошадиные морды!»

Наташа по праву могла бы занять место в числе 5 %.

Ирина как-то сказала мне: «Наташка уже очень многое испытала».

В этот вечер я завладел ее вниманием. Я пошел проводить ее до трамвая.

— Вы женитесь, Юрий?

— Да, скоро.

И она на меня метнула взглядом, от которого вдруг замирает, до черт знает каких глубин, наше мужское существо.

Я вернулся. Ирка была грустна. Встревожена. Я увидел на глазах слезы.

— Что с тобой, родная?

— Единственной женщины, которой я боюсь, Юрий, это Наташка.

Наташка была ее подруга еще по Бизерте, вероятно года на два моложе Ирины. Я рассмеялся:

— Какая чепуха!

— Нет, нет, я просто почувствовала, ты на нее действуешь, как магнит. И что-то, какие-то магнитные токи пронизывают вас обоих.

Много позднее, когда Наташа стала madam Gabard — Женя Габар был молодым, здоровым «русским французом» (французская семья из России), приятной наружности — провожая Наташу от нас домой — нужно было ехать куда-то в пригород Парижа — поздно ночью, уже недалеко от ее дома, я впервые привлеки к себе и она с какой-то порывистой охотой, с каким-то давним желанием, сама приникла к моим губам.

Поцелуй был чувственный, откровенный, отнюдь не «чистый, романтичный, отвлеченный поцелуй».

Наши колени сошлись, и продвигая колено, я почувствовал через тонкую ткань женскую теплоту ее ног. Наташа была вызывающе бесстыдна в своем поцелуе. Приникла ко мне всем телом, и явно, и искусно. Доводила свое возбуждение до апогея; прожигая меня эротической взволнованностью, мучительно прекрасной и омерзительной несколько мгновений спустя. И где

же грань между сладостной взволнованностью и грубым животным вожделением?

Между прекрасным и пошлостью, между неизгладимым сиянием иступленного восхищения и грязью?

У Бунина в «Темных аллеях» или в «Митиной любви», или еще где-то — не помню — есть изумительно вдохновенные строки, посвященные «женским ногам». Ну, и что же? — лицемерный пуринтатизм гневно возмущается: грязь! пошлость! разврат! И т. д. и т. п.

Ни то, ни другое, ни третье, если подойти к этому вне всей толщи наслоений многовековых верований и обусловленных ими моральных понятий.

Больше всего здесь поработало христианство со своим идиотским представлением о грехе. Со своей скопческой, анти жизненной устремленностью.

В Лувре, рядом две фигуры: бледное, измученное, болезненное лицо средневекового аскета и полный бурной жизни, ликующий Вакх «Возрождения».

Христианство и светлый, солнечный эллинизм.

Ликующее торжество жизни не может быть пошлым.

***

С Наташей у меня не было ни связи, ни любви. У меня — любование ее красотой; искренняя симпатия и дружеское отношение.

Мы встречались очень редко. Еще до войны она устроилась — зная много европейских языков — в секретариат Лиги Наций и уехала в Женеву. Семья оставалась в Париже и она время от времени наезжала в Париж. Она приходила к нам. Я у них никогда не бывал. Наши встречи были эпизодичны. После смерти Ирины, однажды, во время оккупации, мы столкнулись внизу, в коридоре нашего дома на rue de Chateau. У меня жили старики. Наташа с Женей шли к нам, а я выходил с Тоней Платоненко, советской девушкой, скрывавшейся от немцев у меня, мы шли по делам Сопротивления, я доставал ей фальшивый паспорт.

Мы столкнулись. Я извинился и сказал, что я скоро вернусь. Они поднялись к старикам. Я задержался и в этот день Наташу не застал у себя. У них не было связи, но на протяжении всей моей парижской жизни, как только мы сталкивались, «какие-то магнитные токи связывали нас».

У нее были дети. Аришке было уже лет 16, но красота Наташи стала еще ярче. И вот я смотрю на ее фотографии. Вот она до замужества, еще девочкой, вот последнее фото —

сделанное Кобяковым, и на всех фотографиях ее прелестное живое лицо — совсем не фотогеничное.

**30/IV**

В стакане воды на моем столе два желтых тюльпана. Я сорвал их на берегу Большой Алмаатинки. Один именно такой, каким должен быть тюльпан, и может быть потому — банален.

Другой: какая-то выброшенная заостренность лепестков, с невыразимой прелестью — фраппирующей, восхищающей, покоряющей и куда-то несущей — линии.

Три удлиненных. Три покороче. Он похож на большую, сияющую в горном чистом воздухе, звезду.

И какое волнующее наслаждение созерцать эту красоту. Особенно своеобразную, с уклонением от нормы и с каким-то особенным сочетанием линий.

Вот так и в женщинах.

**6.**
**3\V**

Из письма Рае (Раиса Миллер, многолетняя корреспондентка Ю.Софиева в Париже, их связывала нежная дружба, а со стороны Раисы Миллер и любовь к поэту, и даже одно время она хотела переехать совсем в СССР, чтобы связать свою жизнь с Юрием Борисовичем, но он не решился на этот брак — Н.Ч.)

…Ну, и нет в моей теперешней жизни и личного счастья. Ты сама знаешь, его я сам не сумел создать в жизни. Я не родился в жизни однолюбом и вовсе не думаю, что сильно и по-настоящему можно любить только один раз! Есть люди — самые обязательные — которые никого в жизни по-настоящему, никогда в жизни, не любили. Я себя к этим людям пока не причисляю.

Нет…жажда света и любви,

В моей душе она неистребима.

Но то большое и ценное, что жизнь и судьба мне давали — я безрассудно растратил. En fan prodiqu?

Растратил при этом, действительно, без запаса душевных сил. И помнишь рубинское — перекати-поле…

И вот это большое, бесценное и настоящее в жизни было…

В мою судьбу вошли женщины с бесценным… даром любви (Так было и в мужской дружбе).

Римма, Нина, Ирина, Ты, Елена…

Совершенно незаслуженно, слишком щедро меня любившие,

как бы вопреки всему.

Филлипов мне как-то сказал: «Ты, Юрий, демон, страшный демон». Слишком театрально! Слишком романтично! Я достаточно ироничен, чтобы принимать это всерьез. Но и я любил, все забывая, никогда не взвешивая, не рассчитывая, всегда бескорыстно, отдаваясь всецело чувству, совершенно заливавшему меня, в какой-то мере теряя разум и голову.

Нет! Только так! «Навеки», «до конца»!
Пусть даже завтра будет по-другому.
Так — чтобы каждой черточкой лица…
Так — чтобы все сияло по-иному.

И так — чтобы всего себя, отдать.
(Иначе мелко все и все ничтожно).
И так — чтоб мучиться, и так — чтоб ждать…
Нет, для меня, иначе невозможно.

И действительно было невозможно. Я просто шалел от переполненности чувством. Я почти становился лунатиком.

И никогда это не было грубым вожделением. Исключением была, пожалуй, Елена (Елена Лютц — Н.Ч.). В особенности вначале. И это было взаимно. Здесь две наши натуры, столь различные по характеру, неудержимо притягивались друг к другу. Если верить Асинингеру, это было, физиологически, почти идеальное дополнение друг к другу.

Этот человек, с трудным характером, очень исковерканным Виктором (Виктор Мамченко, поэт и друг Ю.Софиева — Н.Ч.) духовно, тянулся ко мне, и все мне прощал. Простил и Соню, окружал меня трогательной заботой и патологической ревностью. «Никогда я тебя не выпущу из моей жизни». Она отвоевала меня от Тебя.

Иногда психологически она мне казалась совершенно чужой, почти враждебной, но стоило нам опять сойтись в жизни и мы оба все забывали. И только в последние годы мы оба почувствовали, что связаны сильным человеческим чувством. Но вот я ушел:

Вот якоря сверкнули мокрой сталью
И за кормой уже бурлит вода.
С надеждою, тревогой и печалью
Встает последний жизненный этап.

Всю мою жизнь я был как бы заворожен «вечным зовом дорог».

И в трудной и в счастливой доле
Я слушай вечный зов дорог.

Я все шел и шел, гонимый всепоглощающей жаждой жизни, видениями мира, страстной любовью к земле, к вселенной, «чтобы в последней написать строке: \ — Земную жизнь любить не перестану».

Не перестану никогда любить
Мой мир вещественный и ощутимый.

И вот яркие костры в моей судьбе. Я обогревался у этих костров, я бы замерз без них в дороге, но я все же шел и шел.

Помнишь, Рая, остров Рэ около Ла Рашели? Мне было очень хорошо с тобой, и помнишь, как меня тянула даль?

…Соленым, ветром, морем, солнцем полный,
Я шел на дальний мыс, открытый волнам…

У Л.Андреева в «Саше Жигулеве» есть изумительные строки о дороге. Я, пожалуй, терпеть не могу Андреева за чопорную искусственность, за театральность, за риторику, но эта вещь мне очень дорога, очень созвучна. Я совсем недавно узнал, Игорь (сын Ю.Софиева — Н.Ч.) мне прочитал короткие записки о его странствиях по Франции, что эту взволнованную радость дорог я передал и сыну.

Помнишь, как ты соблазняла меня домиком, снятым для нормального, «по-человечески» отдыха, с прогулками и т. д., а я с высунутым языком (в 48 лет!) метался на велосипеде по чудесным дорогам Франции и был счастлив!

Стендаль хотел «умереть мечтая». Кстати, так и умер: шел по улице (может быть, и мечтая), упал и умер. Г.Федотов (философ — Н.Ч.) умер над книгой. А я, видимо, действительно подохну в пути (он умер в Доме престарелых, в Алма-Ате, с трубкой в боку после тяжелой операции — Н.Ч.).

Ирина (Кнорринг, жена Ю.Софиева — Н.Ч.) смеялась в свое время: «Ты, вероятно, и умирать будешь на велосипеде».

Но, увы, велосипед мой пылится в бездействии! Стенокардия одолела его! Но я упрямо и безрассудно мечтаю призвать на помощь технику — моторчик. Но для этого нужно выкроить 560 рублей.

**МОЯ ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ**

Римма, Нина, Ирина, Рая, Елена…

Елену нужно вынести за скобки, о ней как бы особый разговор.

Римма Андреевна Пояркова — моя юношеская любовь, может быть, одно из юношеских моих увлечений, хотя несомненно одно из самых сильных. Но как неожиданно расцвели для меня изумительная щедрость «и богатство чувства у этой женщины, спустя 8 лет, после того, как судьба развела нас навеки.

Все эти женщины принесли мне в незаслуженный дар прекрасное, настоящее и большое чувство, испытанное временем.

С юностью связано еще одно имя — Ольга Ивановская. И все — таки, с моей стороны, только чувство к Ирине никогда не вызывало у меня мучительных сомнений в своей подлинности.

Это была самая настоящая, самая прочная, при всем недостойном моем поведении (взволнованность коротких эротических встреч), выдержавшая все испытания, самая трагическая любовь моей жизни.

Только Ирина и была моей настоящей женой, матерью моего сына, и несмотря ни на что, и вопреки всему, мы всегда оставались друг для друга самыми близкими людьми на свете.

Прошло 16 лет после ее смерти, кстати, столько же, сколько я с ней прожил, и уже 16 лет не существует этот человек, я-то ведь ни в какие там бессмертия верить не могу, по-прежнему для меня самый родной, самый близкий и любимый.

Были горе, горечь и обиды,
Много дней я вспоминаю вновь,
Но теперь нам из далека, видно,
Что сильней всего была любовь!

**7. 15 / V**

Похороны Ани Горюновой.

В 39 лет умерла от рака.

Страшное лицо, обтянутое желтой кожей. Провалившиеся глазницы и в них… по древнему русскому первобытному обычаю положены медные пятаки. Ничего общего с лицом живой Ани.

Шли за гробом с Галиной Васильевной Ушаковой.

— Как странно, у меня всегда возникает вопрос, что происходит, почему такая несхожесть мертвого и живого лица у одного и того же человека. Ничего общего. Куда девается «душа»?

Я припомнил «Жака Баруа», и замкнувшись, сказал:

— Остается как бы футляр.

Всякий раз меня это поражает: быть может, он материален, этот «дух».

Г.В. — старший научный сотрудник, умная и талантливая женщина, современная советская женщина, член партии и вот…

«Я сидел возле ложа усопшего и не мог оторвать глаз от окаменевших черт его лица; я старался отыскать сходство с прежним sposhe, но обнаружил какое-то существенное различие, в причине которого я не мог разобраться.

Я думал. С чем же это лицо сравнить. «Это тело — говорила! себе — подобно пустому футляру». Пустому! То было для меня откровением: вот лежит тело, но уже ничто. Почему? Потому что оно лишилось того, что делало его одушевленным. Наступил страшный час разъединения; то, что превращало это тело в человека, в личность, исчезло, ушло куда-то!» «Жак Баруа» Роже Мартен дю Гар.

Какое забавное совпадение ощущений у людей столь различных и по времени, и по среде.

Надеюсь, что это совпадение ощущений не приведет к совпадению выводов!

Для Баруа — «насколько прежде мне казалась необъяснимой идея бессмертия души, настолько теперь мнё кажутся нелепыми все возражения ее противников».

Для Галины Васильевны —?

И вместе с тем, это страшное превращение человека, личности в труп, в футляр, в прах, переход жизни, бытия в

небытие, в равной мере, для меня по крайней мере, не исчерпывается ни утверждением бессмертия или существования души — для одних, или простым распадом материальных частиц, разрушающих организованное единство — для других…

Вдруг мне вспомнился рассказ Бунина «Русак», кажется. Человек видит … убитого русака. О том же. Те же мысли. Те же ощущения. Та же тайна жизни и смерти.

Надо будет найти этот рассказ.

Мы пытаемся объяснить явление, не меняя его сущности. Когда-то мне казалось весьма убедительным это ограничение человеческого сознания, которому дано познавать явления и не дано познать сущности. Этот пессимизм — было время — когда— то меня увлекал. А может быть просто успокаивал? По лености мысли?

Ну, а как же на самом деле?

Материалистическая философия — оптимистична. Она утверждает, что мир познаваем человеческим сознанием; только еще не познал до конца. И нужно сознаться, что это «еще» весьма обширно.

Но всякий мистицизм мне чужд» И главное, для меня не убедителен.

Весь вопрос, или почти весь, в том, может ли человек до «конца» исчерпать это «еще».

Являясь частью природы, мироздания, не ограничено ли человеческое сознание, так сказать, «органически»?

**8. 22 /V**

«Гиперболоид инженера Гарина». В общем-то, ерунда, порой забавно. Во всяком случае, хуже «Аэлиты». Но талант А.Толстого искрится и в этой вещи. Кое-что о Париже, о Средиземном море.

«Сеулу, с капитанского мостика, необъятным казался солнечный свет, пылающий на стеклянно— рябом море…

Узкий корпус яхты с приподнятым бушпритом летел среди ветерков в этом водянистом свете…

… У перил над молочно-лазурной рябью…»

Впрочем, возможно, вовсе не Толстой повинен в том, что я со щемящей пронзительностью, почти физически, ощутил море, именно Средиземное море, а память, моя собственная и моя пронзительно-взволнованная страсть-любовь к морю.

И я вновь «пережил» Корсику.

И стоя у борта, смотрела ты,

Как из воды вставали перед нами,
Вдали, под утренними облаками,
Желанной Корсики скалистые хребты.

**9. 26/V**

«Но, может быть, это решение не закрывать двери было подсказано и другим чувством: я не умею, не страдая, обидеть человека, даже врага».

«Молчание моря», Вернер.

Я очень люблю в Вернере эту подлинную, благородную глубокую человечность.

Наипрекраснейшее — в человеческих душах.

Способность к бескорыстной человечности, разве не это отличает нас от животных?

«Судьба привела меня в Шартр. О, какое волнение охватывает вас, когда над спелыми хлебами, в голубой, далекой дымке возникает этот призрачный собор! Я старался вообразить себе чувства людей, что некогда стекались к нему пешком, верхом на телегах… Я разделял эти чувства, я любил этих людей, и как мне хотелось стать их братом…»

Silence de la mere Vercors

Впервые я увидел Шартр, подъезжая к нему на велосипеде, кажется, со стороны, тоже изумительного городка, Прованса. Я въехал на холм и, действительно, меня охватило не малое волнение! Дорога сбегала с холма и вела прямо к Шартру. До городу было около 12 километров.

И передо мной «над спелыми хлебами», «в голубой далекой дымке возник этот призрачный собор»!

Кущи деревьев прятали город и над ними возвышалась голубовато-серая громада Шартрского собора.

Незабываемая картина!

И сейчас, почти четверть века спустя, она у меня перед глазами, будто только вчера я слез с пыльного велосипеда и стоял на краю дороги, потрясенный глубоким волнением. И я помню, что я тоже старался оживить, взволнованный исторической эмоцией, картину жизни далекого прошлого.

О.Савич, написавший вступительную статью к Вернеру, вероятно, просто дурак.

**10. 28/V**

Букет желтого шиповника. Освещенный моей настольной лампой. Зелень и бутоны. Нельзя наглядеться!

Не знаю, может ли красота (прекрасное) спасти мир, но созерцание ее делает совершенно немыслимым человеческую гнусность, жестокость, несправедливость, низость, ущемление свободы и человеческого достоинства.

А Нерон?

### 11. 29/V. БЕЛАЯ АКАЦИЯ

Цветет белая акация. Цветет буйно. Наполняет воздух своим пряным сладковатым ароматом.

«Белой акации гроздья душистые
Вновь ароматом полны.
Снова разносится песнь соловьиная
В тихом сиянье, в сиянье луны…»

Никаких соловьев! А луна, как-то с цветением акации не связана.

Когда появляется луна — я сижу за столом над книгой или тетрадью. Акации около моего дома нет, но я ставлю несколько ветвей в стакане на мой стол. Но днем воздух насыщен ее ароматом. Она цветет у нас на стационаре (Институт зоологии — Н.Ч.).

И, именно, этот аромат смутно волнует меня все время, не потому, что я очень люблю акацию, а потому, что он воскрешает во мне целую эпоху моей жизни.

И все-таки, она цветет не так буйно, не так потрясающе, как цвела в первый раз в моей жизни, на Кубане, в Екатеринодаре (Краснодар) 40 лет тому назад.

И в этом запахе, душном и резком, звенит моя юность, трудная, суровая, и в общем, искалеченная, но все же чистая и вдохновенная. И возникает образ девушки. Очень светлый образ и очень далекий. И возникает — не четким даже образом, а смутным музыкальным видением — звучанием. Если бы я ее встретил сейчас, я мог бы пройти мимо, не узнав когда-то любимые черты.

И рядом — образ друга, тоже очень далекий, друга ранней юности, друга сурового, совсем на меня не похожего, и все эти видения, как бы обрываются, рушится с ними всякая связь,

потому что между ними и мной, живым, реальным, — целая жизнь и безбрежный океан совсем другого мира, поглотившего мою жизнь. И теперь, когда я из него вырвался, и как бы вернулся к истокам — невозможно установить реальную ощутимую связь, преемственность между самим собой, мной, тем 19-летним юношей и мной теперешним. И запах белой акации не является связующим звеном, он возвращает меня тем дням, по-прежнему в отрыве от реальной ощутимой жизни.

Ольга — Борис — я.

Только, пожалуй, точнее, было бы:

Ольга — я — Борис.

Судьба меня поставила между.

***

Борис Бурьянов был моим школьным товарищем. Три учебных года, 14–15, 15–16, 16–17 (лет), мы сидели с ним на одной парте в Нижегородском кадетском корпусе. Это был сильный крупный юноша со светлыми густыми волосами и очень широким волчьим лбом. Борис вообще походил на волка. Он был резок и серьезен до угрюмости, не отличался ни изящными манерами, ни светским воспитанием. Учился он хорошо и ровно, прочно из года в год занимая место второго ученика. Много читал. И видимо много думал. В свободные часы, на прогулках или в роте любил шагать, с чуть опущенной головой, весь поглощенный своими мыслями. У него не было других товарищей; кроме меня. На это были особые причины.

Кадетские корпуса были закрытыми (…) учебными заведениями и пополнялись детьми по преимуществу военнослужащих. Этой среде были присущи сословные предрассудки. В основной массе, это были, не бог весть какие аристократы, чаще всего по своей сословной принадлежности это были средние, мелкие, а то и личные дворяне, но во всяком случае только в волжских корпусах допускался очень незначительный (кажется, 2 %) процент детей из купеческого сословия. Их принимали в качестве «своекоштных», т. е. по тому времени за весьма не малую плату, — 490 рублей в год.

Презрительная кличка «купец» обычно прилипала к таким парням.

Борис был сыном купца-лабазника.

Отец его занимался мукомольным делом. Семья была вполне интеллигентная. Если отец и сохранял кое-какое обличье купеческого сословия, то мать была обычной интеллигенткой. Детей было четверо — двое сыновей и две дочери. Все дети были здоровые и красивые.

Семья жила в одной из зенитных крепостей и отец был поставщиком гарнизона. Жила видимо в большом достатке и дом был открытым и гостеприимным. Знакомство велось с офицерскими семьями гарнизона. Дочери учились в гимназии, а обоих сыновей, Бориса и Глеба, видимо под влиянием матери, решено было поместить в Кадетский корпус.

В этом был, несомненно, некоторый снобизм, т. к. военная карьера самого Бориса не увлекала и он с отроческих лет собирался стать инженером и уже в старших классах решил, по окончанию Корпуса, не идти в военное училище, а выйти на сторону и поступить в Политехнический институт.

В Корпусе Бориса гнусно травили кличкой «купец». Борис отвечал сдержанным молчанием, полном достоинства. Трогать его боялись, потому что он был сильным юношей. Но спорта не любил, и на гимнастике не отличался. Держался в стороне от товарищей, не принимая участия в проказах и играх. В свободное время он постоянно читал. Или шагал в одиночестве, наполненный своими думами.

В пятом классе по болезни я остался на второй год и Борис меня догнал. Нас посадили на одну парту.

Меня глубоко возмущало отношение товарищей к Борису. Он был на голову выше их; и по уму, и по способностям, и по внутреннему содержанию, и по своим моральным качествам, а безмозглые идиоты, кичась своим, не бог весть каким, дворянством, тыкали ему «низким» происхождением.

С Борисом мы быстро сдружились.

Я учился не плохо — был в первом пятке. Но был достаточно ленив и беспечен. Тоже, по-своему, как и Борис, вечно наполнен, пожалуй, в. противоположность Борису, не столько думами, сколько мечтами и необузданным воображением.

Борис мне покровительствовал и пытался меня воспитывать и, главное, приучить к порядку. В моей парте был настоящий ералаш. И я любил постоянно переделывать в ней распорядок книг и тетрадей. Это давало мне ощущение новизны. Борис был аккуратен до педантичности.

Я же педантизм ненавидел.

Борис любил математику и был равнодушен к поэзии.

Я обожал поэзию и был совершенно равнодушен к математике. Но страстью моей были естественные науки и география, ибо я бредил путешествиями.

Но нас сближало то, что мы принадлежали по своим воззрениям к «либерально-прогрессивным» кадетам.

Борис был несомненно радикальнее меня, зрелее и развитее. Он впервые посоветовал прочесть и дал мне книги по социализму

(Бебеля). Но почва была еще совсем не подготовлена. Зерно в то время упало на камень, т. к. я еще всецело находился под влиянием семьи и религиозного воспитания бабушки и матери.

Весь мой «прогрессизм» был направлен против сословных предрассудков, против узости и безобразий военной среды, против грубого обращения с солдатами и весь мой пафос и весь мой пыл был устремлен к человечности, к гуманизму. А ненависть — к жестокости, лжи, фальши.

В моем детстве не было еще ни дымных газовых камер для удушения людей, этого изобретения, достойного германское гения! Не было изощренных, технически оснащенных, орудий пыток, превзошедших Средневековье.

Я органически, страстно ненавидел жестокость и бесчеловечность. Разные проявления жестокости приводили меня в исступленное бешенство. Не только по отношению к человеку, но и к животному. Животных, зверей, птиц я любил с самых ранних лет и эта любовь вместе с тем никогда не могла победить во мне, тоже органической, с самых детских лет проявлявшейся, охотничьей страсти.

Все это тонуло в почти экзальтированной любви к природе, доходящей до восхищения.

Как изменился мир на протяжении моей жизни!

Вот одна из тяжелых картин моего детства, потрясавшие все мое существо, картин столь частых в то время на улицах наших городов: человек исступленно хлещет кнутом по глазам упавшую лошадь. Лошадь делает отчаянные усилия, чтобы подняться, но запряженная в тяжелый воз, она снова и снова скользит и падает, а человек с бешенными глазами хлещет и хлещет ее кнутом. Гнев сжигал все мое существо. Мне хотелось вырвать кнут и так же исступленно хлестать человека — изверга.

Вместо того, чтобы распрячь лошадь и помочь ей встать, человек практически бессмысленно и отвратительно хлестал ее по глазам.

Или забавы уличных мальчишек: облить живую крысу керосином и поджечь ее, чтобы под дикий торжествующий хохот насладиться ее мучительными корчами.

Совсем недавно я нашел у Верхарна описание, которое было мне свойственно всю жизнь:

«Я не умел, не страдая, обидеть человека, даже врага».

Может быть, потому из меня и не вышел настоящий борец, прямолинейно-принципиальный. На любом прямолинейно-принципиальном пути для мыслящего и чувствующего человека всегда стоит много «но», «с одной стороны», «с другой стороны»…

Таково свойство моего характера, моей натуры.

И с тех же отроческих дней, наблюдая издевки товарищей над Борисом, надо мной самим, над любым мальчиком чем— либо, малейшим проявлением индивидуальности, или пристрастием к размышлениям, к задумчивости, отличавшимся от общей массы — почувствовал глубокую внутреннюю вражду к

«Краснощеким афинским парням,
Хохотавшим над Еврипидом».

Сколько раз я подвергал сомнению мое мироощущение:

Падая от бедствий и усталости,
Никогда не отрекайся ты
От последней к человеку жалости
И от простодушной теплоты.
Вопреки всему!
… Слушай, только ради человечности
Стоит строить, жертвовать и жить.

И все-таки, всегда, пожалуй, вопреки всему, к нему возвращался.

**2/VI**

Вчера я написал, как изменился мир на протяжении моей жизни.

Эта ремарка относилась к тому, что больше не увидишь на улицах наших городов дикого избиения животных.

А сегодня Галина Владимировна мне рассказала следующий «эпизод». Мирный двор одного из наших алматинских домов. На солнце растянулась кошка и кормит котят. Вдруг входит соседка с топором в руках. Хватает кошку, стряхивает с нее котят, прижимает кошку к камню и рубит топором ее голову. И бросает изумленным обитателям двора:

— Она, гадюка, сожрала моего цыпленка!

Я сейчас вспомнил, когда я жил у Уваровых, на частной квартире, однажды Мария Игнатьевна — сестра хозяйки — обратилась ко мне с просьбой застрелить соседскую кошку. Кошка так же сожрала ее цыпленка. Я уклонился от подобной экзекуции. Тогда М.И. поймала кота, устроив ему ловушку в сарае, и вооружившись топором, размозжила ему голову. Может быть, это в обиходе у здешних домохозяек?

Ну, а разве мама как-то не рассказала мне, не без удовольствия, горестно изумив меня до глубины души — что у них был какой-то замечательный пес, то ли овчарка, то ли дог, которым налету разрывал соседских кошек, забиравшихся в их сад.

Может быть, мы не видели на улицах таких расправ с лошадьми, а наши шоферы все-таки не Ксеркси и заартачившаяся машина не наказывается подобно Гелеспонту.

Не имитируя Монтеня — que sars ji?

И рядом с топорами и кошками, в порядке сосуществования: | только что? В канву моего рассказа вошла Оля. Чудесная девушка, похожая на белую лилию. Вошла и получила завернутую в бумагу коробку.

— В коробке воробей с перебитой лапкой. — Оля работает в аптеке. Она ему оказала первую помощь: забинтовала лапку, накормила и несет его домой.

Мне не свойственна маниловщина и сюсюкающая сентиментальность, но

…Как хорошо бывает жить на свете,
Когда средь нужных и полезных, дел,
Мы бережем, внимательные дети,
Сочувствие к орлу, к цветам, к воде
И нашу близость к голубой планете.

***

Было еще одно существенное различие в наших характерах — девушки очень занимали мое воображение. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что с 7 лет я был «перманентно» влюблен. Причем это была весьма идеальная и чистая влюбленность, как-то совсем не связанная с вожделением. И, увы, но это весьма присуще моей среде, вожделение у нас вызывали женщины «низшего» сословия — горничные, девчонки-няньки и т. д.

Впрочем, никаких «жертв» на моей совести не было. Для Бориса, как мне казалось, и судя по его поведению, женщины совершенно не существовали. Он не любил никаких наших кадетских балов, не танцевал, не заводил никаких знакомств и решительно ни за кем не ухаживал. Отзывался о женщинах пренебрежительно:

— Глупые индюшки!

В отпуск он не ходил. Театры, как мне помнится, тоже не

любил. Каждое воскресенье мы, кадеты старшей роты, ходили в театр, в оперу, иногда в цирк и на концерты.

Во время войны (1914 года — Н.Ч.), а наша дружба и протекала именно в этот период, мать моя жила в Нижнем (Новгороде — Н.Ч.). Но так и не удалось уговорить Бориса приходить к нам в отпуск. Он грубовато отвечал:

— Что мне там делать? Только терять время!

В старших классах кадеты, не имевшие семей или знакомых, словом, не ходившие с субботы на воскресенье в отпуск, — пользовались правом после обеда в воскресенье уходить в город до 10 часов вечера. Но и этим правом Борис почти никогда не пользовался. В денежном отношении Борис не был стеснен. Но по каким-то причинам, помнится мне, даже на рождественские и пасхальные, и летние каникулы Борис иногда не уезжал домой, а оставался: зимой — в корпусе, летом — в наших кадетских лагерях.

Борис был необычайно сдержан, до скрытности, и о своих семейных отношениях никогда не говорил. Возможно даже, что у него была не мать, а мачеха, и, мне кажется, матери или мачехи он не любил.

Лагери эти были чудесные. В Балахово, в сосновом бору, недалеко от лесной реки, притока Волги, название которой у меня, увы, стерлось в памяти.

Семья Бориса в начале войны, уходя от фронта, из западного края переехала в Екатеринодар (Краснодар) на Кубань. И вот, опуская здесь все события до 5 мая 1919 года, именно в этот день, из Ростова, где я пролежал два месяца с пятью приступами возвратного (тифа — Н.Ч.) и не выходя из госпиталя перенес и свиной тиф; подобный бледной тени, я появился в Екатеринодаре, приехав на поправку к моему отцу. Отец жил на квартире в доме на окраине города, почти у самой Кубани. Дом стоял посередине сада, отгороженного от улицы высоким забором. Могучие старые черешни, другие плодовые деревья и густые заросли сирени почти скрывали его от глаз.

Все меня радовала и я, истощенный страшной болезнью, возвращался к молодой жизни: и наливающиеся соком, мясистые, неведомые мне на севере, лекарственные черешни, и нежная буйная сирень, и заливающая город сладостным ароматом, цветущая белая акация. Все для меня было ново. Волнующее очарование юга щедро наполняло все мое существо.

И вот, «в один прекрасный вечер» на пороге дома появился Борис. Он узнал о моем приезде от общих знакомых. Ну, естественно, мы бросились друг к другу в объятия. Я потащил Бориса в дом.

— Нет, сегодня не могу. Я только что узнал о твоем приезде. Пришел тебя увидеть и сговориться на завтра.

Я с радостью смотрел на друга. Борис возмужал, но остался таким же — плотно сложенным, чуть угловатым, со своим упрямо наклоненным волчьим лбом. Полным сил и здоровья.

— Что же ты делаешь?

— Учусь, в Политехническом институте. На третьем курсе. — И как-то скосив глаза в сторону: — Ты меня прости, я к тебе на минуту. Я не один.

— Так тащи сюда того, с кем ты!

Нет. Не надо. Я с женщиной.

Борис с женщиной!

Я даже растерялся немного — настолько это было для меня необычным: Борис с женщиной.

Я пришел к Борису и познакомился с его семьей. Мать — интересная, хорошо сохранившаяся женщина. Отец — с русой купеческой бородой, не особенно улыбчивый, видимо, всецело поглощенный своей деятельностью, деловой человек. И две очень красивые сестры. Надя, старшая, такая же крепкая, как Борис, бойкая, уверенная в себе, насмешливо-ироничная. Катя — младшая, девушка-подросток лет шестнадцати, более «деликатного» сложения, гибкая, стройная, с очень выразительный живыми глазами. Она мне сразу понравилась.

Обе развитые и обе не глупые.

Самым застенчивым в этом обществе оказался я. И Надя не без удовольствия и лукавства взяла меня под обстрел. Видимо, наслаждаясь моим внутренним замешательством. Мучительно застенчивый с детства, я за эти годы войны совершенно отвык от общества, да и никогда не любил его шумного веселья.

Надя сейчас же прилепила ко мне ярлыки «задумчивого мечтателя» и «поэта».

— Вам не хватает «кудрей до плеч»! — издевательски сказала она мне. И это была правда, так как после тифа голова моя была коротко острижена.

У меня, несомненно, был весьма глупый вид и я, видимо, производил впечатление «юноши не от мира сего».

После вечернего чая Борис буркнул:

— Брось этих индюшек! — и вызвался меня проводить.

Когда мы вышли на улицу, Борис сказал не без таинственности:

Зайдем в одно место, — и повел меня по незнакомым улицам; молча, не вдаваясь в объяснения.

Мы вошли в палисадник и поднялись по ступенькам крыльца

к двери. Борис позвонил. Было поздно. В доме был потушен свет. Через некоторое время зажглось окно и по ступеням лестницы застучали каблуки. Борис сказал:

— Подожди минуту.

Я отошел к калитке. Борис вел вполголоса переговоры через закрытую дверь. Мне стало ясно, что мы пришли поздно, и потому явно неудачно.

Борис стал было спускаться со ступенек, но, видимо, из-за двери ему что-то сказали и он окликнул меня. Я подошел. Сквозь узкую щель чуть приоткрытой двери протянулась худая и длинная обнаженная женская рука, с тонкими и длинными «музыкальными» пальцами. По-видимому, за дверью стояла женщина, вставшая с постели. Она накинула халат и сошла вниз. Женщина сказала одно слово: Юра. Но это было сказано так, как будто мы были знакомы с детства. Я взял руку и поцеловал ее. Дверь закрылась.

С тех пор прошло 42 года и, однако, я вижу эту почти немую сцену во всех ее мельчайших подробностях. И мне кажется, что я слышу всю сложную гамму теплого грудного голоса женщины, сказавшей: Юра.

Борис мне так ничего толком и не объяснил. Борис был скуп на слова, а я считал, что приставать к неразговорчивому человеку с расспросами — просто неприлично.

Борис только сказал:

— Ольга живет в доме у тетки. Старуха рано ложится спать. Мы немного опоздали. Пойдем в среду. Приходи ко мне к восьми часам, к чаю.

За чайным столом я застал старших Бурьяновых и Катю. Через открытые двери в глубине соседней комнаты я увидел письменный стол, освещенный настольной лампой. За столом сидели две барышни, а за их стульями стоял Борис. Светлые, коротко остриженные, легкие вьющиеся волосы. Очень тонкое и очень красивое лицо. Сидящая, она мне показалась высокой и тонкой.

— Здравствуйте, Юра, извините нас, мы сейчас кончим, — Борис вышел из комнаты, подошел ко мне, поздоровался и сказал:

— Видишь, мучаюсь с этими глупыми индюшками. Изволь-ка подготовить их к аттестату зрелости, — сказал он иронически, но добродушно.

Я знал, что Надя в этом году кончала гимназию. Видимо, подруга была ее одноклассницей.

— Господин профессор! — позвала Надя.

— Ну, что там? — грубовато-насмешливо отозвался Борис и

пошел к девушкам.

Я занялся чаепитием и разговорами со старшими Бурьяновыми. Я не сказал бы, чтобы Бурьянова-мать очаровала меня. Я сразу заметил холодок, существовавший между ней и мужем. Бурьянов-отец вскоре встал из-за стола, извинился и ушел к себе в кабинет, сдержанный, озабоченный, деловой человек.

Времена были нелегкие и тревожные. Шла гражданская война. Никто не был уверен в завтрашнем дне.

Наконец подруги кончили заниматься и вышли в столовую.

— Знакомьтесь, — сказала Надя, — Оля Ивановская.

Передо мной стояла действительно высокая и тонкая девушка. Черты лица у нее были отточены. Большие прекрасные серые глаза смотрели внимательно и очень дружелюбно. В них не было ни тени смущения. Я обратил внимание на тонкие подвижные ноздри, на правильном, чуть заостренном носу. Рот мне показался немного большим, но губы были очерчены очень красиво.

Я про себя подумал: «Трепетная лань!» И еще: Ольга Ивановская явно из другой среды, чем Бурьяновы — это видно по очень естественной свободе движений, манере держаться, манере говорить. Во всем сказывалось хорошее воспитание.

Ольга отказалась от чая, что-то сказала Борису, как-то таинственно и чудесно улыбнулась мне и заспешила домой. Надя, было, завела со мной какой-то умный литературный разговор, но Борис буркнул мне:

— Юра, пошли.

Борис повел меня уже к знакомой двери. Позвонил. Опять послышался стук каблуков, спешащих по лестнице. Дверь распахнулась. На пороге стояла Ольга.

— Так вот кто тут звонит!

Ольга улыбалась.

Мы прошли прихожую, столовую с большим круглым столом посередине и вошли в небольшую светлую комнату с двумя окнами, выходившими в сад. Две кровати. Небольшой письменный стол. Этажерка с нотами, этажерка с книгами. Пианино. Окна были открыты. Ночной сад был таинственно-темным, по южному теплым. Цвела акация.

— Извините меня, — сказала Оля, — прошлый раз я Вас не смогла принять, тетя уже легла спать.

— Просить прощения надо нам с Борисом за наше ночное вторжение.

— Подумаешь, какие фигли-мигли, щ насмешливо сказал Борис. — Одиннадцать часов — детское время.

— Он ужасный бурбон, — сказала Оля, — да Вы же его

знаете!

Они шутливо пикировались, но в суровой грубоватости Бориса светились теплота и нежность. Таким вот я его видел в первый раз.

Кто-то прошел через столовую и в комнату вошла очень крупная молодая женщина. Она была красива и так пропорционально сложена, что ее чересчур крупный рост не бросался в глаза. Комната сразу наполнилась веселым живым смехом, теснотой, оживлением.

Боже мой, в комнате женщина с двумя мужчинами, а в доме мертвая тишина!

— Здравствуйте, мрачный бирюк! — сказала она добродушно Борису.

— Здравствуйте! — и тряхнув мою руку сильным и энергичным движением, назвала себя: — Женя! Я вам не буду мешать. Я только на минутку. Я очень спешу. — она открыла ящик стола. Порылась в нем, что-то взяла и также неожиданно исчезла, как и появилась. Ольга ушла с подругой. Женя была молодой актрисой.

— Дева-борец! — сказал Борис.

— Ты ничего не понимаешь в женской красоте, — парировала вернувшаяся в комнату Ольга.

— Неужели Вы не находите, Юра, — продолжала она, — что Женя очень красивая женщина.

— Ну, не хотел бы я иметь такую жену, — не унимался Борис.

— Дурень, — ласково сказала Ольга.

— Кто же из Вас занимается музыкой? — спросил я.

— Музыкой занимаюсь я, — ответила Ольга.

— Она не только пианистка, но и недурно поет, — похвалился Борис. Мне стало неловко за это «она».

— Не обращайте на него внимания, — примирительно сказала Ольга. — Кроме того, он ничего не понимает в музыке. Его стихия математика и техника. А Вы — Вы любите музыку? Хотите послушать?

Ольга чуть тряхнула кудрями и села за пианино.

— Я Вам сыграю Грига, а потом, что захотите. — Ее тонкие длинные пальцы забегали по клавишам. Играла Ольга хорошо. Я попросил ее сыграть «Баркаролу».

Боже мой! Ольга не барабанила по клавишам! Это был настоящий музыкант. Сладостная взволнованность и терпкая грусти пронизали меня всего. И я впервые позавидовал Борису.

Он слушал спокойно, мне даже показалось, безразлично, однако — он был горд за Ольгу.

Мы шли по ночным улицам города. Горели одинокие фонари. Прохожих почти не было. Вероятно в центре, на главной улице шло еще шумное гуляние. Густая толпа молодежи по вечерам слонялась по тротуарам туда и обратно. Бесконечное множество военных.

Мы шли по пустынным, тихим улочкам мимо провинциальных домиков с большими садами. Окна домов были закрыты ставнями, кое-где сквозь их щели черноту южной ночи прорезывали узкие полосы света. Кое-где еще звучала одинокая рояль.

Долгое время мы шли молча. Я был глубоко взволнован — всем: Ольгой, южной майской ночью, цветущей акацией, смутными и блещущими обещаниями жизни.

— Ты обо всем догадывался? — спросил Борис.

— Догадывался обо всем, — ответил я.

— Вот, брат, только не знаю, что вообще будет…

Эх, кончить бы Политехнический, стать инженером, начать работать. Она умная, талантливая, только, подчас, пугает она меня своей какой-то темной глубиной. И кажусь я ей, вероятно, слишком резвым, слишком земным, скроенным из геометрических линий и математических формул. А она какая-то вся трепетная, воздушная, порой неуловимая.

Эх, брат, и вдруг эта чепуха, прости меня, эта страшная чепуха. Чушь!

Вот ты ушел в армию. Как почти все наши. Когда фронт был близко, когда было много раненых — я работал санитаром. А теперь учусь, учусь, учусь. Должно же это когда-нибудь кончиться и начнется настоящая жизнь, когда можно будет начать работать, строить, созидать, устраивать свою жизнь — прочно и по серьезному, самостоятельно. Ты веришь в свое дело, Юра?

— Борис, я слишком много видел мерзкого и отвратительного. Я знаю, где Неправда, но не знаю, где Правда.

Если бы (ты) знал, сколько я уже видел мерзостей, диких зверств, страшных людей, беспощадную человеческую злобу и ненависть, узость и тупоумие. Кто бы не победил, из этих лет сложат легенду, героический миф, начало пути восхождения, но моя душа потрясена ужасом и возмущением, отвращением и гневом. Неужели это делается во имя любви к родине, свободе, к человеку, светлому будущему? Нет, во имя ненависти, во имя мести, во имя дикой тупой злобы. И потому величие духа, которое проявляется в героических, подчас бесподобных воинских подвигах, в личной храбрости, в мужестве переносимых испытаний — ничем не оправдано. Во имя чего?

Кирилловцы начали с —

«Мы былого не заменим,
Царь нам не кумир.
Лишь одну мечту лелеем
Дать России мир».

***

— Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую.

***

Вскормили нас и вспоили
Отчизны родные поля.
И мы беззаветно любили
Тебя, святой Руси, земля.

Студенты России великой
Свято помнят заветы отцов…

Все предано, все изменено и перевернуто в ходе войны, и вижу только ненависть, ненависть и ненависть, дикую бесчеловечную и всепоглощающую.

Во что ты хочешь, чтобы я верил? Может быть, я из-за деревьев не вижу леса? — Не думаю. Повторяю, я знаю, где Неправда, но не знаю, где Правда.

Их идеалы мне непонятны, мне кажется, они предают самое дорогое, впитанное мною с молоком матери, выстроенное воспитанием, усвоенном на примере отцов, дедов, продают: любовь, верность родине, служение своему народу. Отбрасывают все это во имя мировой революции. А у меня живет в душе:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,

Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви!

Но у меня нет ненависти к ним, я исчерпал всю свою ненависть к этим «своим», я ничего не вижу в них кроме мерзкой черной реакции. И я ненавижу эту черную сволочь, русскую Вандею.

Ты помнишь, мы ненавидели этих людей с тобой вместе в Корпусе. Помнишь, как пели в классе после февральских дней:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе.
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Теперь все опошлено. Их ненависть к февральской революции — так же беспощадна, как и к большевикам.

Они твердят о России, но о какой России?

А большинство вообще ни о какой России не думает, им достаточно одной ненависти.

Все хлюпнулось в грязь.

Я не говорю уж о лошадиной глупости корнетов — «ея» и «его».

Я видел, как шомполами пороли крестьян, я видел горящие деревни, испуганный ревущий скот, брошенный в стойлах, карательные отряды, возглавляемые помещиками, и просто скопище кретинов и мерзавцев, озверелых убийц и вешателей.

Я слишком много видел, Борис.

Видел я и трупы, изуродованные красными, с вырезанными на плечах погонами. С гвоздями, забитыми на местах звездочек, с отрезанными половыми органами, груды расстрелянных.

Зуб за зуб, око за око.

Война на уничтожение, с истреблением пленных. Ужасный, беспощадный оскал гражданской войны. Резня фанатиков.

Я чувствую, что еще очень мало знаю, у меня весьма смутные представления об истории, мне очень трудно разобраться в событиях, осмыслить их и мне приходится жить эмоциями, а жизнь со школьной скамьи бросила меня в самую гущу этих событий и показала мне очень страшные вещи.

И вместе с тем, у меня нет ненависти к врагу, не думай, что я

какой-то христосик, но когда я вижу пленных, которых гонят в одном белье под холодным осенним дождем, когда с дикой жестокостью добиваются, кто среди них комиссар и коммунисты, чтобы расстрелять или повесить их первыми — стыд за человека, ставшего зверем, и возмущение сжигают меня, гнев и сочувствие и жалость к побежденным, и такая душевная подавленность, такой, гнет охватывают меня, а выхода я не вижу.

У меня очень смутное представление об их идеалах, но ясное сознание, что ров, вырытый историей между нами, непроходим.

Для них я «барчук», чужой, враг по своему классовому происхождению, меня пугает в равной мере и их беспощадная жестокость, и их ненависть. Ожесточение гражданской войны ставит под сомнение все человеческое.

А во всем остальном я остался, пожалуй, прежним. И все тем же одержим — бегством от людей в Природу. Хочется уйти в лес, на берег синего озера, в тайгу. Бродить по этому зеленому царству. К войне у меня отвращение. Не думай. Я не трус. В честном открытом бою друзья находят, что я веду себя достойно.

И знаешь, что меня утешает?

Мир, вечно юный и вечно прекрасный, постоянное соприкосновение с природой.

Не кровь и ненависть, а эти звезды,
Покуда утешительная тишь,
Солдатской песни грусть. Полынный воздух
Ночных степей. Вкруг озера камыш.

Как хочется побродить по родным просторам с ружьем, только направленным не против человека.

Помнишь, как я мечтал спуститься на лодке по Чусовой, Белой, Каме, Волге до астраханских плавней.

На дне переметной сумы вожу изумительные стихи Гумилева.

Может быть, я и есть

«Тот безумный охотник.
Что, взойдя на нагую скалу,
В диком счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу».

— Эх, — обычным своим издевательским тоном сказал форме, — доморощенный Руссо, тебе, я вижу, по-прежнему хочется встать на четвереньки и убежать в лес! Этим всерьез нельзя жить! Чушь! Глупая романтика! Эх, ты, «толстый нос»! — Это было любимое, еще школьное, выражение Бориса, когда он хотел сказать, что я порю глупость.

— Ну, не сердись! Вот нам с тобой по 19 лет, а до чего трудно просматривается впереди эта самая жизнь.

В это время мы вышли на мою улицу и вскоре подошли к моей калитке.

— Эх, Юра, в грубые времена мы с тобой живем, а может быть, в великие? Или ни черта мы с тобой еще не понимаем?

А я рад, что мы с тобой встретились, — и Борис обнял меня.

***

Молодые Бурьяновы пригласили меня покататься на лодке по Кубани.

Борис с Ольгой. Надя с Гришей — великовозрастным гимназистом выпускного класса.

Гриша был красивый еврей, сын аптекаря. Самоуверенный, развитый юноша.

— Кончу учиться, — сказала Надя, — выйду за него замуж.

Я как-то спросил о нем Бориса.

— Да, кажется, жених! Надя у нас человек практичный, будет женой аптекаря.

Катя, покапризничала, но решила поехать тоже.

Взяли две лодки.

— Вы с кем? — спросила Катя.

— Поедет с нами! — сказал Борис.

— А Катя?

— Пускай садится тоже.

Надя села за весла:

— Люблю грести!

Гриша за руль.

Я, было, хотел сесть тоже за весла, но Борис попросил:

— Дай, сяду я.

Мы с Катей сели на носу лодки. Ольга взяла рукоятку руля на корме. Лодка заскользила по воде. Катя опустила руку и повела ее бороздой.

— Мешаешь движению, — буркнул Борис. Катя еще глубже опустила руку в воду.

— Я тебя выброшу, индюшка, не мешай! — Катя шалила, но с каким-то странным для девочки надрывом.

Разговор у нас не клеился. Борис молчал. Молчала и Ольга. Я

пытался развеселить Катю разговорами. И сам мучительно чувствовал, что болтовня была натянутой, серой, неостроумной и скучной. И Катя не шла мне на помощь.

Я ловил на себе взгляд Ольги и мне казалось, что она чувствует мою неловкость, и от этого еще больше смущался.

На нас наплывал остров, заросший деревьями и кустарником.

— На острове очень много змей, — сказала Катя, — он и называется Змеиным. Я на него сходить не буду.

— А я хочу сойти на берег, — сказала Ольга, — Юра, Вы пойдете со мной?

— С удовольствием!

Лодка Нади и Гриши ушла вперед. Они помахали нам и стали огибать остров. Борис подвел лодку к удобному месту. Я выпрыгнул на берег и протянул руку Ольге.

— Я посижу, почитаю, — и Борис вынул книгу из кармана пиджака.

— Вот это здорово! А я? — воскликнула Катя.

— Ты же боишься змей. Ну, и посидишь.

Катя надула губы. Но Ольга, не отпуская моей руки, сказала:

— Пойдем, пойдем, — и потянув меня, побежала по тропинке.

Тропинка была узкая, она вилась среди кустарника и вскоре вывела нас на открытое место. Мы пошли рядом.

— Осторожно, Юра, здесь и в самом деле много змей!

— Авось не укусят, вот только неловко перёд Катей.

— Бросьте думать об этой взбалмошной девчонке весело сказала Ольга.

— Я вижу, что вы не любите светской болтовни…

Я, было, попытался сказать, что за эти годы отвык от общества, да и в силу своего характера мне очень трудно побороть смущение и неловкость.

— Я Вас очень давно знаю, Юра. Не удивляйтесь, Борис очень много о Вас рассказывал, о школьной дружбе, из всех его кадетских товарищей. Вы единственный человек, с которым он очень глубоко связан. И знаете, верно рассказывал. Я Вас сразу узнала. Вот почему в ту ночь, когда Вы пришли, я руку Вам дала, уже как старому другу. Вы очень близкий человек Борису, будете и мне.

Он мне рассказал и о вашем недавнем ночном разговоре. А для меня вы не герои, чистые мальчишки, которые бросили все и идете на смерть.

— Герои, — усмехнулся я, — ну это сильно сказано. Я видел очень бесстрашных людей и все-таки думаю, даже в самые трудные моменты в человеке живет надежда, вера, ощущение, что

он будет жить.

Идти на смерть, с осознанием, что будет другой исход, исключен — для этого, вероятно, нужна очень большая сила духа. Я этого не пережил и не знаю, что буду испытывать, если меня поставят к стенке.

В самые опасные моменты меня никогда не покидала уверенность в торжестве жизни. Вероятно, я очень люблю жизнь. Потому я не чувствую «величия смерти», она мне кажется всегда безобразной, нелепой, немыслимой, унизительной для человека. И потом, Оля, я думаю, что я не тот герой, о подвигах которого вы говорите.

— Змея! — крикнула Оля и отпрянула назад.

В шаге от нас, свернувшись кольцом, с высоко поднятой головой, в угрожающей позе, лежала гадюка. Злобные глаза ее были устремлены на нас. Она мгновенно развернула кольцо и уползла в сторону.

Ольга несколько мгновений стояла, прижавшись ко мне.

— Пойдемте отсюда!

И мы повернули назад, к лодке.

(Из тетради без номера с названием: «Черновые материалы» и эпиграфом — «Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезнет, — одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь», Конст. Паустовский. Снова идет рассказ «Белая акация», только кое с какими добавлениями. — Н. Ч.).

**Отец**

…Приехал я из Ростова-на-Дону, выписавшись из госпиталя, где пролежал почти два месяца. За эти два месяца я переболел приступами возвратами тифа, а затем, не выходя из госпиталя, перенес и свиной тиф. Я выжил.

Поезд нес меня, впервые в жизни, через кубанские станицы, белые от цветущей акации.

Страшно худой, с матово-белым лицом, еле держась на ногах, я стоял у окна и с жадностью вглядывался в новые для меня видения мира.

Отец в этот период служил в артиллерийском снабжении.

На окраине города, почти у самой Кубани, по середине сада, отгороженного, от улицы высоким забором, стоял дом. Могучие старые черешни, другие плодовые деревья и густые кусты сирени почти скрывали его от глаз. Отец занимал комнату вместе с четырьмя сослуживцами, такими же артиллерийскими

полковниками, как и ой сам. Комната была большая, светлая, с окнами, выходящими в сад. В ней стояло пять походных кроватей, «гинтеров», стол и большое трюмо. Мне поставили шестую походную кровать. В соседнем доме квартировали семейные офицеры, тоже сослуживцы отца. Их жены организовывали нечто вроде «офицерского собрания», или точнее, «pansion de familie», в котором и столовались все пять полковников.

Отец поручил меня дамам, с просьбой «откормить», а во всем остальном предоставил самому себе. Одной из хозяек этого пансиона была жена капитана Рыкалова.

Это была молодая женщина, бесспорно, красивая, но как мне показалось, достаточно глупая и легкомысленная. У мужа ее было нездоровое, желтовато-бледное лицо и выражало оно постоянное сдержанное раздражение.

Я скоро заметил, что у отца с Екатериной Николаевной существуют отношения более интимные, чем простое знакомство.

Отец был небольшого роста, но был сухощав и строен, у него было очень мужественное, благородное лицо горца. Он был брюнетом, но у него были чудесные синие глаза.

Всю свою жизнь он очень нравился женщинам.

В этот период ему было сорок с небольшим, но выглядел он очень молодо, и потому казался совсем молодым полковником с беленьким георгиевским крестом на гимнастерке и с георгиевским темляком на золотом оружии.

Я скоро убедился, что не ошибся насчет интимных отношений отца с Рыкаловой.

Как-то днем, дверь в нашу комнату была открыта. Она выходила в прихожую, двери других комнат были распахнуты в сад. Все ее обитатели, кроме меня, были на службе. Я лежал на кровати с книгой.

Я услышал острожные легкие шаги и в прихожей кто-то тихо произнес:

— Боря!

Я не успел пошевелиться, как в комнату впорхнула Екатерина Николаевна. Увидев меня, она страшно смутилась:

— Ах, вы здесь, Юра! Я думала, что никого нет и пришла посмотреть в трюмо на мое новое платье.

Я вскочил с кровати, тоже не менее смущенный. На ней, действительно, было прелестное новое легкое летнее платье. Бедра у нее были высокие, ноги очень стройные, высокой, но не большой была и грудь. Она повертелась перед зеркалом, поблагодарила меня и исчезла.

В этот период мы не были с отцом еще по-настоящему близки

— это пришло позже. В детстве я его скорее боялся, он мне казался чересчур строгим и сухим. И вот в «один прекрасный вечер» на пороге дома появился Борис.

Он узнал о моем приезде от общих знакомых. Ну, естественно, мы бросились друг другу в объятия, хотя два года тому назад расстались с Борисом с тяжелым чувством. Наша дружба неоднократно подвергалась испытанию и виной была вспышка моей безрассудной эмоциональности.

Здесь снова мне придется возвращаться к кадетским годам.

Февральскую революцию мы приняли с Борисом восторженно. Возбуждение учащейся молодежи доходило до экзальтации. Весна природы, весна жизни, весна свободы слились в один ликующий праздник. Однако далеко не все наши сверстники разделяли это ликование. Корпус был казенным заведением и воспитание в нем зиждилось на казенной идеологии: за веру, царя и отечество. Кроме того, корпус был военным и закрытым заведением. Громадное большинство в военной среде эту идеологию исповедовало вполне искренне. С ней была связана традиция военной славы. Из поколения в поколение эти чувства впитывались с молоком матери. Это «служение царю и отечеству» подкреплялось и окриком — «не рассуждать!».

Однако уже после 1905 года эта идеология начала трещать по швам. Среди наиболее образованного, читающего кадрового офицерства появились люди, настроенные не только либерально, но и революционно. Чем ближе приближалась Россия к революции, тем эти настроения становились сильнее.

Я мог то наблюдать в моей собственной семье, в широком смысле этого слова.

**Родионовы**

Дядя Коля (Николай Николаевич Родионов) был сверстником отца и его школьным товарищем по Псковскому кадетскому корпусу (Н.Н.Родионов — брат матери Юрия Софиева— Н.Ч.). Накануне войны 14 года оба они были капитанами артиллерии. Если отец, вообще, был далек от политики и всецело отдавал себя своему любимому артиллерийскому делу — был он совершенно равнодушен к религии и не склонен был произносить и каких бы то ни было пышных сентенций по поводу монархических чувств, во всяком случае, в семье мы, дети, этого никогда не слышали — то дядя Коля был совершенно иным человеком.

Еще будучи молодым офицером и женившись — против воли бабушки — на Вере Николаевне Сазоновой, он попал в

студенческую среду ее родственников и очень живо воспринял революционные идеи.

Он не стал революционером-профессионалом, не ушел из армии, и продолжал служить. Как большинство Родионовых, он был высоким статным красавцем, умным и смелым в выражении своих взглядов. И за ним установилась кличка «красного», «социалиста». Это не мешало ему служить и нормально продвигаться по служебной лестнице строевого офицера. Но это определяло его отношение к солдатам. Это отношение было хотя и требовательным, но гуманным и солдаты его любили.

Во время войны, когда я уже стал подростков, я был постоянным свидетелем не только горячих, но и резких, и жестких споров за столом у моего деда в Руссе.

Дядя Коля приезжал с фронта и беспощадно спорил, главным образом, с бабушкой, т. е. со своей матерью. Бабка моя была женщиной весьма не глупой, но со всеми недостатками «старорежимной барыни». Была она столбовой дворянкой Тверской губернии, но, после смерти отца, из обедневшей семьи. Кончила она Петербургский Николаевский сиротский институт благородных девиц, вывозили ее со сверстницами выпускного класса в каретах на придворные балы. Она много читала, на трех языках, и до старости сохранила эту привычку. Была она очень религиозна и взгляды ее были крайне правыми. Нужно сознаться, что не претила ей даже погромная газетка доктора Дубровина «Русское знамя». Революцию и революционеров, этих страшных «безбожников» ненавидела лютой ненавистью. А сына своего Коленьку любила, видимо, очень. Хотя женщина она была строгая, сдержанная, всегда подтянутая и чувств своих особенно выражать не любила. Мать мою она, по-моему, не любила.

Не трудно понять трагедию бабки, когда она увидела, что из ее умного красавца Коленьки вдруг получился — безбожник, социалист, революционер. Враг царя и веры православной.

А дядя Коля — молодой артиллерийский полковник — за столом кричал:

— Погодите, покончим с немцами, повернем штыки на Петроград! — и с глубоким возмущением рассказывал, какие безобразия творятся на верхах, в каком положении, благодаря глупости и преступлениям царя и правительства, находится фронт.

Были это 15–16 годы. Войска оставались без боеприпасов и продовольствия, а в тылу творилась вакханалия.

— Всю эту придворную камарилью во главе с царем — сметем с лица земли, — гремел дядя Коля. Именовал он себя социалистом, но, думаю, ни в какой партии не состоял.

Примыкал ли он по своим взглядам к эс-эрам, меньшевикам или большевикам — разобраться мне в ту пору было совершенно невозможно, потому что об этих делах не имел я ни малейшего представления. Но, во всяком случае, в дальнейших действиях своих дядя Коля был последователен. Он принял не только Февральскую революцию, но принял и Октябрьскую.

На фронте солдаты охотно выбирали его председателем фронтовых комитетов — видел я эти групповые фотографии — был он один из немногочисленных старших кадровых офицеров, отдавших свои силы, опыт и знания для создания Красной Армии.

И во время гражданской войны заведовал он артиллерийским снабжением всего Восточного фронта против Колчака.

«Погорел» он, как теперь говорят, с отстранением Троцкого, уже после гражданской войны.

Дядя ушел из армии, поселился в Москве и, кажется, работал бухгалтером. Когда после его смерти я встретился в Москве с вдовой его сына Михаила, она мне кое-что успела рассказать о последних днях его жизни. Она меня уверяла, что у него был тяжелый характер — жили они в одной комнате — тетя Вера уже умерла — дядя и Миша с женой. Молодые спали за занавеской, а дядя Коля, сидя на диване «всю ночь», читал и, следовательно, «всю ночь» жег свет. Молодых это, конечно, мало устраивало.

И еще она мне сказала:

— Любил он говорить, что много сил и трудов положил для установления и укрепления Советской власти.

## Тетрадь III, 1960 г.

**1.**

Общеизвестна своеобразная «полемика» Тютчева с Цицероном.

Но само по себе стихотворение столь великолепно, что я позволю себе прочитать.

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»

И Тютчев отвечает:

Так! но, прощаясь с римской славой,
С Капиталийской высоты
Во всем величье видел ты,
Закат звезды ее кровавой!..

И заключает:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;

Он их высоких зрелищ, зритель,
Он в их, совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Сам Тютчев прожил довольно благополучную и мирную жизнь, достаточно далеко «от бурь гражданских и тревоги», хотя мальчиком был свидетелем Отечественной войны 1812 года, а незадолго до смерти — Парижской Коммуны.

На долю поколения, которое пришло в мир на рубеже XIX и XX вв., выпала очень трудная юность. К этому поколению принадлежит Лев Ал. Майданович (известный казахстанский ученый— Н.Ч.).

Оно-то в полной мере «посетило сей мир в его минуты роковые», и думается, несколько объелось на божественном пиру — столько на его голову свалилось ««высоких зрелищ».

Это поколение в 17–18 лет было свидетелем величайшей социальной революции, в «10 дней потрясшей мир».

Но в то же время на головы их с катастрофическим грохотом рухнул старый мир.

И в этом грохоте, пыли и обломках, я прямо скажу, людям политически не подготовленным и не принадлежащим к победоносно выходившему на авансцену истории рабочему

классу или крестьянству — делавшему эту «свою» революцию, было весьма нелегко разобраться в происходящих событиях и выбрать правильный путь.

Многие пошли по линии наименьшего сопротивления, т. е. их сознание продолжало определяться той средой, в которой они выросли и к которой принадлежали — другими словами, бытием своего класса.

И немудрено, что гибель своего класса, гибель старого мира, они готовы были принять за гибель России вообще.

Немудрено, что среди мусора и «обломков самовластья» они не смогли разглядеть того, что почти за целое столетие разглядел во мгле истории гений Пушкина:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья.

В результате всего этого известное количество русских людей оказалось за пределами Родины.

Конечно, не следует принимать в расчет тех «недорезанных буржуев», которые спасали свою шкуру и туго набитый кошель.

Для этих людей, обычно, «своей страной» является страна, в банках которой лежит их основной, «текущий счет».

Но историческая объективность позволяет нам теперь признать, что и в дореволюционные времена, среди так называемого служилого люда было не мало «России верных сынов». Плохо ли, хорошо ли, но эти люди из поколения в поколение помогали строить русское государство, расширять и оборонять его рубежи.

Эти люди воспитывались в понятиях служения и любви к родине. Откуда бы иначе взялись не только Суворов и Ушаков, Кутузов и Нахимов, но и безвестные герои Шипки и Измаила, сопок Манчжурии, какой-нибудь Борейша с батареи Электрического Утеса в Порт-Артуре?..

Сын военного моряка и сам моряк в молодости, Лев Ал. Майданович принадлежит именно к этому служилому слою.

Люди из этой среды, в равной мере, как и из среды интеллигенции, выброшенные шквалом истории за рубеж, оказались в достаточно трагическом положении.

И нужно сказать, что очень скоро изменившееся бытие стало

просветлять и определять их новое сознание.

…Во всех их бедствиях и скитаниях им всюду сопутствовала тоска по родине и взгляд их был устремлен к родному дому…

(Отрывок письма к Раисе Миллер в Париж — Н.Ч.).

…Вот и пришла та самая одинокая старость, о которой ты часто говорила! И, конечно, ты тысячу раз права, что виноват во всем я! Но кроме одного. Я вовсе не думал никогда, что удобства и интересная работа ценнее в жизни, чем человеческие отношения. И ты отлично знаешь, что я менее всего в жизни искал удобств и никогда мне не сопутствовало и материальное благополучие. Мы не копили в жизни жалкий скарб. И если сказать правду, от этого никогда не чувствовал себя несчастным, потому что отсутствие этих двух вещей не лишало меня других, с моей точки зрения, более ценных, больших радостей жизни. Но, родная моя Рая, я думаю, ты знаешь, что возвращение на родину тоже ни в коей мере не было поисками удобств и материального благополучия. Я ведь ехал, совершенно не зная, что я буду делать, какую работу я найду — я только знал, что это не будет литературная работа — я ехал на родину, потому что было логическим завершением всего моего жизненного пути, результатом раздумий, исканий, сформулировавшихся из жизненного опыта убеждений.

И, конечно, большое счастье, что на родине я нашел самого себя, т. е. нашел работу, которая соответствует моему призванию, и она стала творческим трудом для меня. А творческий труд это не только назначение человека, но большая радость. Но труд, конечно, не исключает и не заменяет в жизни человека личное счастье…

(Телеграмма от Глюма, который поздравляет Ю. Б. с 42-й годовщиной Советской армии — 23/11,1960 г.).

**2. 9/V**

…Теперь о Леве (родной брат Ю.Б.Софиева, Лев Оскарович Бек-Софиев, ученый биолог, который остался во Франции, — Н.Ч.). Прежде всего ирония не всегда дочь разума. И я не знаю, почему в нем вызывает иронию хотя бы то обстоятельство, что я могу работать в той области, к которой тяготел с детства (зоология), и что моя работа получает высокую оценку, что большим трудом и стараниями многому научился? (Однако специального образования у Ю.Б.Софиева не было, он учился

русской филологии, сначала в Белграде, затем в Париже — Н.Ч.).

Что касается смерти Макса (Максимилиан Бек-Софиев, младший брат Ю.Б.Софиева, погиб в сталинских лагерях на Колыме в 1945 году — Н.Ч.), я думаю (и Лев должен это знать лучше меня), что я в этом виноват в меньше, чем, скажем, сама мама. С ее характером и способностью ссориться и портить отношения со всеми окружавшими ее людьми. Моя вина с отцом заключается в том — и я в этом всегда себе отдавал отчет — что мы оказались за границей. И этим была создана нездоровая атмосфера в семье. Я не хочу ни в чем обвинять покойную маму, но, объективно, думаю, что ее властный характер и верования тоже оказали известное влияние на детей. Когда-то мама и Лева обвиняли меня и в смерти отца, и в том, что женился (Лев Бек-Софиев не женился и жил с матерью до самой ее кончины, только потом вступил в брак, будучи уже в преклонном возрасте, детей не имел — Н.Ч.), будто бы я должен был жить все время с отцом. Все это настолько абсурдно, что об этом говорить. Но основная причина всех этих обвинений лежит в глубоких различиях наших верований и убеждений, вытекших из различия натур и жизненного опыта.

Кроме того, религиозная фанатка, мать никогда не могла мне простить моего безбожия и моих симпатий к евреям.

Слов нет, судьба семьи сложилась очень трагично. Но и в этом нет ничей исключительного. Наоборот, довольно банальная вещь, потому что это всецело обусловлено исключительностью самого времени (эпохой, историческим моментом). В этом нет даже ничего нового — так было в эпоху религиозных войн в Европе, так было в эпоху французской революции, так неизбежно случалось и в эпоху нашей Социальной революции, словом, так было всегда, когда рушилось старое и зарождалось новое. Под натиском этих начал распадались и семьи, потому что ни принадлежность к одной семье, или к той или иной среде, не обеспечивает единства верований и убеждений, ни одинакового осмысления и оценки происходящих событий. И если человек перерастает свою среду, она теряет над ним свою власть.

Еще нелепее, милая Рая (Раиса Миллер, это черновик письма к ней в Париж — Н.Ч.), определять свое отношение к историческим событиям и оценивать их с позиции только личных обид и личных или семейных трагедий — это слепота и недомыслие. Ведь это можно вернуться к такой дикости, как родовая кровная месть.

Для мыслящего человека — это будет трагедией его личной судьбы, но не может быть причиной его идейных убеждений. К идейным убеждениям человек приходит через жизненный опыт,

путем осмысливания социальной действительности, исторического процесса, жизни, его отношения к человеку. Одни эмоции без участия головы в этом деле порождают настроения, а не убеждения — кстати, у меня, откровенно говоря, Левин туристский поход к наполеоновским местам вовсе не вызывал иронии, а очень меня огорчал.

Вся беда заключается в том, что они безнадежно отстали от действительности, живут прошлым, они унесли с собой воспоминания о действительно трудовых, тяжелых, даже страшных временах и по этим воспоминаниям пытаются судить о нашем сегодняшнем дне.

Но те времена прошли давным-давно и мы верим, что навсегда. Они были осуждены официально и всенародно, еще глубже осуждены они самим народом.

Наша действительность ушла далеко вперед и не похожа на вчерашний день.

Было время, когда Лева упрекал меня в незнании нашей действительности — что же, в то время, может быть, козыри были в его руках, но теперь они перешли ко мне. Мы не скрываем наших недостатков, у нас их еще много. Ты сама можешь прочитать о них в любой нашей газете. Но главное остается главным. Мы строим новую, небывалую, лучшую жизнь — строим трудно (при этом труднее всего переделать человека) — она вырастает и улучшается на наших глазах. И потому я глубоко верю в правоту нашего дела и правоту выбранного мною пути. И никакая ирония не убьет эту веру.

Я знаю, что и Лев, и его друзья воображают себя Герценами! Но это горестное и смешное недоразумение! Герцен смотрел вперед, а они смотрят назад. Хотят или не хотят этого, однако, льют воду на чужую мельницу и работают на тот гнусный мир, судьбы которого — факт остается фактом — вершит денежный мешок и в своих интересах.

Я знаю, пройдет еще несколько лет и от всей этой мышиной беготни останется один «пшик», как остался от старой эмиграции, покойничек скончался естественной смертью, никакого воздействия на историю не оказав.

А человеческие жизни и судьбы оказались растраченными в бесплодной пустоте. А так как судьба Левы мне не может быть безразлична, все это и вызывает у меня не иронию, хотя и для нее очень много данных, а очень грустное и горькое чувство.

…Я никогда не был равнодушным «свидетелем истории», но не был и борцом, а скорее был созерцателем. Да и вся моя жизнь — это раздумья и восхищение миром…

**3. 9/V**

«У меня нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть двум-трем лицам и спрятать их в ящик письменного стола, да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь» (Некрасов, Воспоминания Панаевой).

…И у меня сейчас нет ни одного человека, которому бы у меня явилось желание прочитать стихи…

(Газетные вырезки — «Сообщение ТАСС» и «К звездам!» — о победах в космосе — Н.Ч.)

15 мая 1960 г. воскресенье.

Formidalle!

Сегодня в Советском Союзе запущен и вышел на орбиту первый воздушный корабль — корабль-спутник. Весом в 4,5 тонны. В нем герметичная кабина, предназначенная для человека. Корабль сегодня прошел над Москвой, Парижем, Ленинградом, Нью-Йорком на расстоянии 370 километров от Земли. Корабль несет вымпел Советского Союза.

Потрясающая вещь!

1952 г. в Париже я писал в стихотворении «Рука»:

Не мы с тобой, но, может быть, мой правнук,
Исследователь смелый и пилот,
Рукой, все тою же рукой державной
Корабль воздушный к звездам поведет!

«Может быть, мой правнук».

И вот после моего возвращения на родину, т. е. за эти 4 года Советский Союз запустил 1,2,3 искусственных спутника Земли, первую искусственную Планету, ракету на Луну, ракету, обогнувшую Луну и сфотографировавшую ее обратную сторону, и, наконец, первый звездный корабль!

Теперь я глубоко убежден, что если я проживу еще год, то стану свидетелем первого полета человека в Космос. Совершенно потрясающе!

Похоже на то, что завтра на открытии совещания 4-х в Париже Хрущев вручит участникам модель нашего звездного корабля.

Я не националист, а хочется сказать:

— На-те, выкусите!

Эх, сейчас только бы жить да жить!

16 мая.

Вечером зашел к своим, прокорректировать фр. письмо для В.В. Шевченко.

Игорь уехал в командировку.

Поразительная история! В семье абсолютное неведение о событиях последних дней. Ни о космическом корабле, ни об открытии совещания 4-х в Париже. Старуха вообще ничего не ведает. Ей простительно — она отделена от мира стеной физической глухоты. Ольгу, видимо, ничего из этих событий, ничего не интересует (Ольга Вышневская, первая жена Игоря Софиева, тоже из семьи русских эмигрантов в Париже, вернувшихся на родину, — Н.Ч.). Не олимпийское спокойствие, а равнодушие. Лева, которому почти 16, всецело поглощен «третьим разрядом» велосипедного гонщика и блещет 7-ю двойками в последней четверти (Лев Вышневский, сын Ольги, рожденный от немецкого оккупанта в Париже, — Н.Ч.), подлинный восторг у него, кажется, вызывают только дикие зарубежные джазы. Да чему он может научиться в атмосфере этого «святого семейства». Какие стремления, какие интересы у него могут пробудиться?

Бабье судаченье о трудностях нашего быта, о недостатках нашей жизни и строя, к которому, увы, не прочь присоединиться и Н.П., тоже не создает здоровой атмосферы для воспитания детей. Не создают ее и те отношения, которые существуют между Игорем, Ольгой и Т.Д.(Татьяна Дмитриевна Вышневская, мать Ольги — Н.Ч.).

Я всякий раз расстраиваюсь, когда навещаю мое «святое семейство». Всякий раз задаю себе вопрос: чем люди живут? Какими интересами? Допустим, Ольга взялась за ум и сейчас учится. Сдает экзамены. Игорь что-то читает и что-то думает. Но меня пугает его выбор товарищей. Этот Султан не вызывает у меня восторга. Может, он и талантливый керамик, но и, кажется, не менее талантливый пропойца. Впрочем, я его слишком мало знаю. Больше всего меня огорчает, что Игорь не учится. Не растет. Целеустремленно не строит себя и свою жизнь. У меня создается впечатление — работа, которую он делает, не увлекает, не захватывает его. Ничего творческого он в нее не вкладывает, т. е. становится человеком «20-го числа» — чиновником. Семейная жизнь оборачивается у него трагической пустотой. Все это образует «некий вакуум», весьма опасный, потому что он может

привести к духовному маразму, либо к нездоровой богемной атмосфере, чреватой весьма нездоровыми настроениями.

***

Думается, что мы особенно сильно стали нажимать на педаль в предвидении абсолютной безнадежности позиции Запада, в особенности в вопросе о Германии и Западном Берлине. Здесь тупик.

Возможно, только время разрешит эту проблему — потому что от реальности никуда не уйдешь. Два германских государства это факт. И тут не скажешь: «тем хуже для факта». Либо им нужно признать этот факт и строить реальную политику, исходя из него (совершенно независимо от оценки, как произошли эти государства), либо война. Но нужно надеяться, что охотников войны не так уж много во всем мире. Эти дикие фанатики явные безумцы и самоубийцы.

Если уж так предпочитают «атомную смерть коммунизму», то пусть уж выбирают другой способ смерти и в индивидуальном порядке.

(Рисунок пером горного пейзажа — Н.Ч.).

**4. 12/VI**

Менее всего мне нравятся у М.Пришвина (большого художника слова) его «весьма», а то и «чересчур мудрые» афоризмы. Есть в них и надуманность, и нарочитость, и какое-то не совсем скромное самолюбование. Никак не отделаешься от чувства — «смотрите, какой я мудрый, какой я хороший».

А вот это мне понравилось: «Толстовское творчество так близко к органическому целостному процессу творчества жизни, что его произведения кажутся нам почти как сама жизнь. Я бы желал, чтобы современная литература заимствовала у Толстого его близость к самой жизни и через это обрела бы естественную правдивость, подвижность, свободу».

Эту толстовскую «бытийственность» я всегда радостно ощущаю и я невольно ее противопоставлял творчеству Достоевского, где внутреннее состояние человека как бы вырвано, обособлено из этого органического целостного процесса жизни.

А что касается его желания, обращенного к современной литературе — кто бы этого не желал!

Чтобы она обрела бы близость к самой жизни, естественную правдивость, свободу и изжила бы ходульность и полуправду.

(Газетная вырезка «Трагедия Джамилы Бупаша», о том, что

кто-то подложил бомбу в столовую Алжирского университета, ее обезвредили и обвинили в терроризме 22-х летнюю Джамилу Бупаш, над которой в тюрьме издевались, демонстрируя свои фашистские замашки — Н.Ч.).

«(…) господне MCMLX»!
XX век!
Напечатано это в «Monde», а не в «Liberation» или «Huma».

**5.**

(Газетная вырезка «Неизвестные стихи И.А. Бунина, которые были присланы из Парижа вдовой писателя Верой Николаевной, П.Л.Вячеславову, подготовлявшему к печати собрание сочинений Бунина в изд. «Правда». Публикуются: «Сохнут, жарко сохнут травы…», «Что впереди? Счастливый, долгий путь…», «В караване», «Бретань»).

«Правление Литературного Фонда СССР извещает о смерти члена Литфонда Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с.г. на 71 году жизни после тяжелой продолжительной болезни и выражает соболезнование семье покойного» (эта вырезка из газеты наклеена в Дневнике Ю.Б.Софиева — Н.Ч.).

Можно было бы сказать — sic transit qloria mundi, но по отношению к Пастернаку это было бы не верно.

Пастернак все же мог бы сказать Le suis — lj reste.

Araqon отвел ему не мало места в «Letres francaise». Как говорят, на худой конец — останется и в наших изданиях его исключительно блестящий перевод «Фауста»; сборники его стихов.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом. И обоих, спорящих
Широкая рука ландшафта домой,
Вела домой, вела со сборища.

То, что всплыло в памяти. И еще: я не могу, увы, прочитать «Доктора Живаго», но зная Пастернака, мне думается, что эта книга тоже останется и останется, вероятно, сильным и правдивым свидетельством нашей эпохи.

(Газетная вырезка «Бездельники карабкаются на Парнас» Ю.Иващенко, разгром публикаций журнала «Синтаксис», который издавал А. Гинзбург. Тут же вырезка со стихами Вс. Рождественского «Новые стихи»: «Кремль», «В горах», «Деревья» и записка, видимо, в больницу:

«Юрий Борисович!

Очень прошу не вставать и не ходить вниз, мне доктор сказал, что Ваше спасенье в абсолютном покое — лежать, лежать и опять лежать!

Я вероятно зайду к вам в субботу или пятницу. Бутовского не вижу, про книгу он забыл. Увижу, напомню. Пришлите с Танечкой письмо для вашей девы, а то она звонит.

Звонил Н.Н., справлялся о Вас. Дали ему наилучшую информацию. Игорь приедете конце недели.

Поправляйтесь! Галина Владимировна»).

**8/III**

По-прежнему ходить очень трудно. Все время останавливаюсь. Боль.

К 7 часам поехал к Г.В.(Галине Владимировне — Н.Ч.) поздравить с 8 марта. Она меня поцеловала, а я как чурбан. Мне и неловко, и очень жаль ее. В ее отношении ко мне есть что-то Раисино (Миллер — Н.Ч.). Гораздо больше дружбы. Она очень милый человек, бесконечно много для меня делающий. Но если я поддамся, это испортит наши хорошие человеческие отношения. У меня нет к ней никакой страсти, ни влечения. А моя «подлая девка», та давно уже не моя! Заполняет пронзительной горечью и болью все мое существо. Г.В. прижалась ко мне всем своим телом и грудью:

— Юрий Борисович, какой Вы теплый!

Когда я перестану нравиться женщинам?

Поужинали, выпили, по две рюмки водки и брагу. Прочел ей «На могиле Пржевальского». Говорит, «хорошо». Но может ли у нее быть объективное суждение обо мне. Рассказывала о своей жизни, о прошлом.

Очень много на свете несчастных людей. Но она молодая баба — крепкая. Вернулся к 12 ночи.

А перед походом к ней в окно затарабанили — Клавдия Николаевна со Светой:

— Поедемте к нам! — и идиотски, в духе Кл. Ник рассказы о Надежде Стапановне — Ах, зачем я показала Вам ее! — и т. д.

— Клавдия Николаевна! Бросьте.

— Нет, нет, я вижу, «из этого» (?) ничего не выйдет. Это я виновата, зачем я послала ее в больницу к Вам.

— Клавдия Николаевна, бросим эту чушь!

Ехать отказалась наотрез. Попросила написать письмо Н.С. Я поздравил и приписал, если она хочет — «буду рад ее видеть». И тут же подумал: пускай (..) «на зло Тае».

Все это довольно гнусно.

На сон читал «Города и годы» Арагона. Хорошая книга.

Неприятные головные боли в левой стороне головы — новое явление. Опять много курю.

Со вторника нужно работать. Больше неудобно. Третью зарплату получаю полностью. Но темы нет. Нужно платить за квартиру — большой долг. А 250 рублей отдал Тае. На дорогу и часть на билет. Купил ей еду: яйца, котлеты, колбасу и т. д. По крайней мере, доедет сытая. И с карманными деньгами.

Мои деньги были у Галины Васильевны, но она намеренно не хотела мне их давать (400 рублей) до отъезда Таи. Я сказал, что занял.(100 рублей у Димы, 150 у Ник. Ник.).

— Я думала, что Вам негде будет занимать!

Сколько, я не сказал. Но очень рад, что Тайку обеспечил всем необходимым. Со стороны это и глупо, и непонятно.

О, как на склоне наших лет!..

Заплатил за это короткое счастье март-апрель 1957, но какое! — ценой моей сердечной болезни.

Ну и что ж?

(газетная вырезка из «Правды» за 20 октября 1947 г. № 278, 10669), «О пьесе “Хлеб наш насущный” писателя Н.Вирта, о делах и людях колхозной деревни, о борьбе за хлеб» — Н.Ч.).

## ТЕТРАДЬ IV

**1. 1956 г.**

А.А. Слудский посоветовал мне послать в журнал «Охота и охот. Хозяйство» описания добавочного и прицельного приспособления.

А затем написать об охоте во Франции.

Ни то, ни другое не пошло.

(Два ответа из журнала «Охота и охотничье хозяйство» с отказом: «Мы, к сожалению, не сможем использовать Вашу рукопись “Спортивная охота во Франции”. Для сведения посылаем копию рецензии профессора Дементьева на Вашу статью…»; «Предлагаемое Вами для опубликования “добавочное приспособление” не является новинкой. К тому же, в настоящее время, новые промысловые ружья снабжаются оптическим прибором, что совершеннее…» и т. д. — 18/VI 1957 г., 5/VII 1956 г. — Н.Ч.).

(тут же письмо из издательства «Физкультура и Спорт», от 22 марта 1960 г., члена редколлегии Николая Павловича Смирнова:

«Уважаемый Юрий Борисович!

Одно из ваших стихотворений («Мать мне пела Лермонтова в детстве…») будет напечатано в № 15-ом сборника «Охотничьи просторы», который в этом месяце сдается в производство.

Второе стихотворение — «Лыжная прогулка» — на мой взгляд, несколько слабее в смысле его внутренней поэтической сути.

Очерк «В камышах реки Чу» я передаю на заключение редколлегии, — думаю, он представит интерес для нашего раздела «Природа и охота».

Пользуясь случаем, хотел бы спросить: не Ваши ли стихи («Чем сердце жило?..») читал я в «Русском сборнике» (№ 1, Париж, 1946 г.).

Видимо, Ваши, поскольку о Вашем приезде мне говорил как-то покойный Н.Я. Рощин, с которым я, в течение нескольких лет, находился в дружественных отношениях (нас сблизила, гл. образом, любовь к И.А.Бунину, творчеством которого я занимаюсь всю жизнь).

Присылайте стихи.

С пожеланием здоровья, успехов и творческих радостей.

Чл. редколлегии «Охотничьи просторы» / Н. Смирнов/

(Потом у Ю.Софиева с Н. Смирновым завяжется переписка —

Н.Ч.).

**2.**

(Газетная вырезка со статьей «Оживают древние миры» Г.Сметанникова — 18/ IV 1959 г., о Льве Александровиче Майдановиче, сотруднике Института Зоологии АН Каз. ССР, кандидате биологических наук — Н.Ч.).

«По профессии Лев Александрович — маляр».

Кстати, это правда, но (helas) только наполовину, т. к. молодости Л.А. был морским офицером, т. е. имел и среднее, и специальное образование, другими словами, был образованным интеллигентным человеком, все это было отлично известно автору, но, увы, Л.А. был эмигрантом и вернулся на родину вскоре после меня. Как большинство трудовой эмиграции во Франции Лев Алекс. занимался физическим трудом. И был действительно отличным маляром.

Начал А.А. еще в Париже с работы над оловянными солдатиками, одевая их в точную историческую форму. Увлекался не естественной наукой, а историей и создал ряд (еще в Париже) великолепных диорам на исторические темы (русская история), но здесь нигде не мог найти им применения.

**3. Сентябрь 1960 г.**

Виктор Мамченко сообщил, что в Париже в № 44 «Грани» напечатано нечто вроде антологии зарубежной поэзий (впоследствии она выйдет отдельной книгой), где помещены стихи 86-ти поэтов (от Гиппиус через Марину Цветаеву до современной в том числе Иринины (Кнорринг — Н.Ч.): «Мы мало прожили свете…», «Будет больно. Не страшно, а странно…» и «Я люблю заводные игрушки…».

Мои стихи: «Что же я тебе отвечу, милый?..» «Как трудно жить с растерянным сознаньем…», «Этот день был солнечен и ярок…», «Тот городок в апреле…» и «Шумели сосны в эту ночь прощанья…».

Меня это весьма удивило, но с другой стороны, ничего не поделаешь: из зарубежной поэзии, конечно, нас не выкинешь.

Два первые мои стихотворения взяты из книги моей «Годы и камни», у кого-то она значит есть, три других были напечатаны в газете «Советский Патриот» в 1946 г.

В общей сложности это 4-я антология зарубежной поэзии: «Якорь» 1934, «Эстафета» 1947, «На Западе» 1955 и эта 1960. Но я не могу вспомнить стихи, помещенные в этих антологиях, кроме «Эстафеты».

Анна Семеновна Присманова прислала третью свою, последнюю книгу «Вера» (Вера Фигнер). А сейчас пришло известие о ее кончине.

Аня была очень своенравным и талантливым несомненно поэтом. Очень жалко Сашу Гингера — потеря жены вероятно очень большое, для него горе.

Виктор (Мамченко — Н.Ч.) вырвал из «Граней» стихи (антология) и послал мне, но они не дошли. Увы! Дошли книги «Roman inechvee» Арагона, Мамченко «Певчий час», Присмановой «Вера», Н.В. Кодрянской «А.М.Ремизов».

Высланные же мне книги С. Прегель и В. Корвина-Пиотровского — не дошли.

Рая (Миллер — Н.Ч.) сообщила, что в «Возрождении» появилась статья Ник. Станюковича, к статье поставлено в качестве эпиграфа моя строка из старых стихов:

А нашей юности стыдиться
У нас с тобой причины нет.

Не понимаю, зачем ему это понадобилось?

Со Станюком мы давно разошлись. Мы всегда были далеки по своим противоположным политическим убеждениям, а после войны стали врагами.

Но в период «Союза молодых поэтов», несмотря на политические расхождения, по-человечески, мы с Ириной и в особенности он к нам — относились хорошо и дружески, несмотря на резкие споры и ругань.

Когда я увидел книгу «Тропой архаров» Кирилла В. Станюковича (ученый геоботаник), я сразу понял, что это брат Николая. Я купил книгу и через Раю послал ее Николаю. Много позже Рая сообщила, что книгу Станюкович не взял, т. к. у него уже была эта книга. И даже не поблагодарил. Урок. Горбатого могила исправит. Видимо, я не умею в человеческих отношениях быть строго и прямолинейно принципиальным. Недостаток?

27/XII

Отправил «Озеро Иссык-Куль» Ясиновскому в «Туристские тропы».

Когда пойдет, неведомо. Хотя с присылкой торопил.

4/I

Отправил «В советской деревне» в Р.Н. («Русские новости», Париж — Н.Ч.). С письмом В.А. Могилевскому.

(Квитанция денежного перевода на 20 рублей 16 копеек — Н.Ч.).

Мой первый литературный гонорар в отечественном издании «Охотничьи просторы», № 15. Альманаха еще не видел.

(Записка от Аркадия Александровича Слудского — Н.Ч.)

«Дорогой Юрий Борисович!

Передайте, пожалуйста, получателю настоящей записки книгу Руденко об раскопках курганов и, если можно, фотографии рисунков из этой книги.

Приезжайте к нам. Вся семья будет рада Вас видеть.

С приветом и уважением.

9/1-61 г.»

Получил поздравление с Новым Годом от Пфеффера. Открытку отдал А.А.Слудскому. (Пфеффер жил в Париже — Н.Ч.).

18/II

Письмо И.Г.Эренбургу, на адрес «Лит. Газеты».

Наконец-то отослал долг Ладинскому, 200 рублей ст. деньгами.

(Квитанция перевода Ладинскому в Москву, — Н.Ч.)«

**4.**

(Телеграмма от некоей Тамары с днем рождения — Н.Ч.).

(Письмо от сына, Игоря — Н.Ч.).

«Дорогой папа!

Пользуюсь случаем, что у тебя скоро будут не то рождение, не то именины, чтобы написать тебе несколько слов.

Во-первых, поздравляю тебя (не знаю только, с чем — наверное, рождение?).

Получил дней пять тому назад письмо от дедушки и Алеши, из которых узнал, что дедушка сломал себе ключицу. Для старика это, конечно, большое потрясение, не говоря уже о том, что срастаться она будет очень долго. Невольно задумываюсь о том факте, что дедушке теперь будет очень трудно жить одному. Надеюсь, что хоть у тебя здоровье сейчас хорошее!

Еще один факт меня очень обеспокоил — письмо Алеши; если ты последнее время заходил к дедушке, то он, наверное, о нем тебе говорил. Я вообще очень много думал о всем этом

запутанном и тяжелом, и нелепом положении, которое мне вначале казалось совершенно безвыходным. Теперь же мне кое-что стало совершенно ясным, особенно, что касается моих отношений к Оле и Алеше, и я чувствую, что эти связи слишком глубоки и крепкие и порвать их мне очень трудно, почти что невозможно. Надо сказать, что это я впервые здесь так остро почувствовал, даже сам себе удивился! Эти чувства очень субъективны и односторонние, но что бы то ни было, мне очень трудно будет создать вторую семью, особенно сейчас…»

**5.**

Черновик письма к Алеше Эйснеру. Письмо осталось «гласом вопиющего в пустыне», а автор в роли Максима Максимыча (кстати, одного из любимых моих героев).

Дорогой мой Алексей!

Еще раз Дюма оказался прав, а твой скептицизм — посрамлен. Более двадцати лет я искал твой след, и, как видишь, мои поиски увенчались успехом. Бесконечно рад, что ты существуешь и malyre faute судя по «Новому миру» и свидетельству Наташи (Столяровой — Н.Ч.) процветаешь.

Кое-какие слухи о тебе бродили все время. Старуха Елена Николаевна рассказывала мне, что ты подвизался в качестве бригадира, где-то у нас в Казахстане, эти слухи дошли от какого-то испанца, вернувшегося во Францию, написавшего какую-то книгу — я ее не читал — и, не упоминая твое имя, упомянул в ней о тебе, вернее мы решили, что это о тебе. Кстати — из потонувшего мира, если Стендаль хотел умереть, мечтая (возможно, что мечтая и умер — упал на улице мертвым), то Георгий Петрович умер, читая, над книгой (что-то стендалевское — tount proportron qarde, конечно! — произошло и с Оцупом — вышел на улицу ночью и его нашли мертвым). Рожан (?) женился на Нине и родил Таню — из него получился художник-иллюстратор. Я бесконечно рад, что судьба заочно столкнула меня, уже через почти 30 лет (опять прав Дюма!), с чудесной Наташей Столяровой, в те годы мы, к сожалению, не были с ней коротко знакомы, но она мне «издали» так нравилась, что ее образ на всю жизнь остался живым, ярким и свежим. И эта эпистолярная встреча меня очень взволновала. И, подумай, при каких обстоятельствах — близится 70-летие Эренбурга. Всего этого могло никогда не случиться, т. к. я никогда (…) не писал никаких восторженных «откликов читателя» в адрес знаменитых писателей. Но на этот раз я очень рад, что «цепная реакция» довела меня наконец до тебя. Надеюсь, что ты fen fout de meme

мне ответишь и расскажешь о себе. В короткое время сопротивленцы (?) встречался с Тоней Клепининой (она разошлась с мужем), но в период «Советского Патриота» — она отошла от нас и советского паспорта не взяла. Володя Подгорный во время Сопротивления был связистом, но потом с ним произошла какая-то темная история. Еще в «маки» он женился на французской крестьянке, впоследствии народил шестерых детей, паспорта не взял, запил горькую и у меня есть все основания думать, так запутался из боязни высылки, что (…), меня чуть не прибил, словом, после Сопротивления стал служить, ради страха иудейского, официальной Франции!

Егор солдатом проделал drole de qerre, перетащился за море к де Голлю, освобождать Францию, которая, видимо, для него окончательно стала родной.

Прости, что невольно вспомнил о прежних давних днях, с которыми ты связан в моей памяти, тебе, конечно, это мало интересно, т. к. твоя сложная и бурная жизнь давно ушла на очередную орбиту.

Я должен был уехать в 1947 году, но так как я работал в административном отделе «Союза советских граждан» и Богомолов и консул советовали не спешить (пожалуй, совет оказался добрым), то в конечном счете вернулся я на родину в ноябре 1955 г. Алма-Ату я выбрал сам в Париже, (…) в Москве, у Ильи Голенищева-Кутузова. Встреча была совершенно неожиданная. Некто его запрятал на 5 лет в тюрьму, за просоветскую деятельность. Затем он приехал в Москву и работает ст. научн. сотруд. (Институт Мировой Литературы).

Я по приезде в Алма-Ату сейчас же устроился в Институте Зоологии Академии Наук, в качестве художника — научного иллюстратора. Коллектив принял меня исключительно доброжелательно и тепло. Работой своей очень увлечен — многому научился. Езжу в экспедиции — меня на этот счет — хлебом не корми. С 1960 г. взяли меня в сотрудники альманаха «Охотничьи просторы» и «Туристские тропы». Н.П.Смирнов завязал со мной милую переписку, толкнул мой стишок в «Охотничьи просторы» (к сожалению, вместо «О Ерошке рассказал Толстой…» напечатали «О Европе»!!!). «Туристские тропы» приняли очерк о «Иссык-Куле». Но времени для литературной работы у меня мало. Рисую, брат, все — от глистов и простейших до «допотопных», и к собственному удивлению не без успеха. Коллектив помпезно отпраздновал мой 60-ти летний «юбилей» с двумя академиками и сотней ученых друзей.

Вообще жадность моя к жизни и жизнелюбие не имеют границ, теперь бы жить да жить, но, увы, сердце, хотя и вовсе не

просит покоя, стало настолько поганым, что связывает меня по рукам и ногам.

Ну, вот, Алексей, очень нежно тебя обнимаю с несбыточной надеждой, что ты понудишь к письму свои руки.

Искренне тебя любящий Юрий».

## Тетрадь V, 1961–1962 год

**1.**

А в стихах никто мне не указ.
А в стихах я: «есмь аз»

Пусть толпятся вещие химеры,
Пусть душа томится и поет,
Без оглядки и без меры,
Пусть одной свободою живет.

Май 1961 г.

* * *

Опять горят любимые созвучья
И в воздухе деревенская весна.
И соловьи,
И горькое возмездье
За преданное счастье,
Ночь без сна.
С какою жадностью
И как самозабвенно
Встречал я жизнь
И поднимал на щит.
И вот от близкой гибели,
От тлена
Уже ничто теперь не защитит.

Ты слушаешь, как в сумраке весеннем
Чужая юность любит и поёт.
Так отчего же ты в таком смятенье,
Всё разлюбивший,
Всё предавший

Мот?

(река) Или, май, 1961.

***

Ну и что же, что годы —
Если сердцем юным
Ты трепещешь, как листья.
Под весенним дождем?

Если синим апрелем
— Вечером лунным —
Два счастливых лунатика
Бродят вдвоем.

Соловьями поет весна об утрате.
Не кляни.
Не кайся
И не жалей!
Девушка простая
На позднем закате
Озарила тебя
Любовью своей.

***

Боже мой!
И для меня настанет
Этот страшный
Омертвелый час?
Станет плоским мир.
Как на экране,

И:
tout passe,
tout casse,
tout lasse.
Не верю!

* * *

Она была похожа… впрочем.
Она была похожа только на себя.
В зарослях лоха —
Пушистого очень —
Пел соловей,
Свою трель дробя.

Я ломал цветущие ветви,
Царапая руки в кровь.
……
А сердце пело и пело вновь.

Мир был чудесен,
Женщина была красива,
Соловьиные песни.
Над водою склонялась ива,
Расцветала сиреневая мгла.
И только одно обстоятельство
Было просто трагично…
Дослушайте, «ваше сиятельство».
Трагично или комично —
Жизнь-то прошла!

**29 \V.**

* * *

Дикий душистый горошек,
Сиреневый клевер,
И простая ромашка
У меня на столе.
Я всегда любил цветы,
Полевые, садовые, всякие.
И какою детскою радостью,
И каким простодушным восторгом
Наполняли они меня.

На подоконнике кошка
Настороженно смотрит в ночь,
В ночной таинственный сад,
Что в весенней мгле.

Я всегда любил зверей
И они мне платили тем же:
— Преданность, ласка, доверие —
И какою детскою радостью,
И какой теплотой радушной,
И нежностью
Наполняли меня.

***

А на юге взошёл «Антарес».
Он меняет цвета:
Зелёный, рубиновый, синий.
Я всегда любил звёзды.

На всю жизнь я запомнил
Чудесную радость:
Амбразура стены
Тамплиеров древнего замка,
И над чёрным хребтом Пиреней
Синею ночью
Для меня впервые взошла
Южная «Фомальгаут» (?).

Я всегда любил звёзды.
И какою детскою радостью,
И каким простодушным восторгом
Наполняли они меня.

***

Я всегда любил жить.
И все, что любил,
Согревало и наполняло меня
Живым человеческим Темплом.

Я всегда любил людей.
Цветы, звезды, звери, люди…
А Юрий Гагарин?
А корабль на Венеру?
А пытки в Алжире?

И французская падаль «para»?
А горячее солнце свободы над Африкой?
А мир, мир, мир
И проклятье войне и оружию?
Всякой войне и всегда!
А свобода и человечность?

Нет, это тоже всю жизнь наполняло меня
Надеждой и гневом (восторгом и яростью),
Верой и верностью.

**27/V 61 г. ночь.**

И все-таки,
Вопреки всему,
Никогда я не был фанатиком
И не был борцом.

Сколько в этом вопросе полуправды и противоречий…

* * *

Из письма Виктору (Мамченко в Париж — Н.Ч.).

Нелепа и дика мысль, в наши дни ставшая до тошнотворности банальной, но, увы, не утратившая своей актуальности: — кучка безумцев с бешенными сердцами, но с дьявольским холодным разумом, по своей прихоти, в некий день, может сжечь в атомном пламени все, что природа создавала миллиарды лет, а человек — непомерным трудом.

С давних лет, среди обычной будничной суеты, вдруг, меня охватывал порыв бессильной ярости, когда я «внезапно вспоминал», что в нашем человеческом обществе существуют и благоденствуют весьма высокочтимые джентльмены в штатских мундирах, которые спокойно, со всей серьезностью, научно разрабатывают способы массового уничтожения людей. А на досуге слушают Баха, Бетховена, Моцарта; любят живопись или стихи.

Эта неразумная наивная ярость против всякой войны дороже мне разумной и серьезной аргументации вертлявого порядка

Вопреки всему.

Казалось бы — опыта много
И жизненный путь немал.

Казалось — к концу дороги
Не плохо людей узнал.

А веришь почти что так же,
Как в двадцать иль в тридцать лет.
Только еще гаже
Полуправда, и да, и нет.

***

«Мира восторг беспредельный»
Сквозь беды и годы пронес.
В общем — от колыбели
И до седых, волос.

Снились в скитаньях номаду —
Песни любви трубадуров,
Шелест листвы и прохлада
В зеленом саду Эпикура.

***

На простой некрашеной полке
Стоят они рядом:
«Historia calamitatum mearum»
И добавим — бессмертной любви — Абеляра,
«Исповедь» Руссо
И
«Житие Аввакума».

Почему же лучшим
Дарована бездна бедствий,
А падали
Благополучие?

***

Глубокая ночная тишина.
Вдали огни мерцающие —

Город.
Жизнь выпита почти до дна,
Так неожиданно и скоро!

А жажды я совсем не утолил.
И все стою, с бадьею у колодца.
Так молодо, так сильно сердце бьётся.
И, кажется: ещё совсем не жил.

Июнь, 20

***

Опять цветы и грозы,
«И звезд ночных, полет».
Но жизнь, уже без позы,
Как ручеек течет.

И лето сушит влагу
И обнажает дно,
Но словом сжечь бумагу
Поэту не дано.

***

Кажутся очень близкими
Снежные эти вершины.
Неужели боишься риска?
Или путь слишком трудный и длинный?

Альпинисты напружили спины.
Трепещут осины в логу…
Дошел же и я, Ирина,
До твоего «не могу!».

**27/VI**

Из письма Раисе Николаевне (Миллер — Н.Ч.).

… Между прочим, в Москве Ник. Ник. (Кнорринг— Н.Ч.), через Наталью Ивановну Столярову передал три Ирининых книги

Анне Ахматовой. Она сейчас в Москве. Очень больна. Все же захотела принять Ник. Ник. Сказала ему: «Если бы стихи Вашей дочери не произвели бы на меня глубокого впечатления, я бы не стала тревожить Вас своим приглашением».

Обещала познакомить со стихами Ирины ряд московских и ленинградских писателей.

Я тебе говорил, что Ник. Ник. написал книгу об Ирине. Написана она в очень интимном, «семейном духе» и больше годится для «семейного архива», чем для широкого круга читателей и, тем более, наших советских.

Так как творчество Ирины слишком интимно переплетено с ее личной судьбой и т. к. Ник. Ник. вложил в книгу и свое, сугубо субъективное, любовью (…) к Ирине — не сумев или не захотев связать эту судьбу с судьбами времени — получился «трагический человеческий документ», очень узко интимного характера.

Я верю, что если бы Ирина дожила до возвращения (в те годы, когда об этом поднимался вопрос — возвращаться она не хотела: «Отдам Игоря Юрию, пускай уезжает с ним в Россию, а сама кончу жизнь самоубийством» (дневник Ирины) на родину — судьба бы ее творчества была бы иной.

Кажется, она умело и очень живо отзывается и на современные ей события, они ее глубоко волновали — «Сакко и Ванцетти», «Линдберг и Чемберлен».

«А в тюрьме выводят на расстрел
Самых, лучших, и непримиримых»

(1942 г.)

— Где-то стенанье сирен
В мерзлом, и мутном тумане.
Шум авионов во мгле,
Пушечный дым по земле
И корабли в океане…
— Господи, дай же покой
Всем твоим сгорбленным людям,
Мирно идущим ко сну,
Мерно идущим ко дну,
Вставшим у темных орудий.

(1940 г.)

Это и есть сублимация подлинного гуманизма.

Я выбрал наугад, а ведь это у нее значительная часть творчества. Ник. Ник. не сумел этого ни показать, ни, по-моему, заметить. Сам слишком как-то далек от живой жизни и все его внимание сосредоточено на прошлом и на личном. Это одна из характерных черт его характера — слабого и растерянного человека — не эгоцентризм, а «старческий эгоизм», он был ему свойствен уже с момента нашего знакомства.

В конце концов, у всех нас, людей одинаковой судьбы, конечно, в какой-то мере, жизни загублены; прошли ли они впустую — этого я не знаю. Может быть, в самом поражении — есть внутренняя победа. Одна из любимых тем Хемингуэя (какая нелепая гибель! Если это действительно аксидан?).

Что стоила бы наша жизнь, если бы в итоге всех бедствий, начиная с юности, мы пришли бы не к возвращению на родину, не к участию в строительстве новой жизни, а к какому-нибудь мещанскому эмигрантскому благополучию, как те, кто стали хозяевами либо (…) русских кабаков, со «specialite de la maison», либо гастрономических лавочек, или, что не лучше, свое национальное «первородство», свою принадлежность к русской культуре променяли на nationalite francase или любая другая, превратившись из Сепуржинского в cher Sepour, из Андрея Войцеховского в cher Andre Voy, в порядке — «за чечевичную похлебку».

Вот почему в этой внешней победе людей с «выдающимися подбородками» (в свое время покойный Игорь Платонович Демидов этим людям посвятил ряд умильно-сентиментальных статей в «Последних новостях», а какой-то шутник называл их «людьми с выдающимися челюстями») квадратными челюстями, доплывшими до такого благополучия, я усматриваю «человеческое поражение».

Или, подобно фр. эмиграции, «ничего не поняли бы и ничего не забыли, ничему не научились», окаменели бы в своих предубеждениях и мертвых взглядах давным-давно исчезнувшей среды, когда-то породившей нас; как те эмигрантские зубры, которых ты имеешь возможность лицезреть в Париже.

И жизнь прошла бы мимо нас, и мы прошли бы мимо нее или, вернее, не прошли бы, а «сиднем просидели бы на месте».

И если чем-то и определена наша жизнь, то — мучительным беспокойством, упрямыми поисками верного пути, который и

привел нас на родину, где все вещи, в конце концов, более или менее, встали на свои места.

Трагедия заключается в том, что жизнь к этому времени почти прошла и по-настоящему творчески проявить себя — уже нет ни сил, ни времени. Такова судьба и Ладинского. Ведь даже и его книги не более чем переработанные эмигрантские издания: «XV легион», «Голубь над Понтом», «Анна Ярославна» — она, кажется, сдана в печать, тоже была написана там.

***

Я не был и теперь уже не стану
Бойцом упорствующим, и слепым,
Хотя до дней последних не устану
Петь человечность и не верить злым.

Увы, слова прекрасные по сути
Зловещую отбрасывают тень,
Осаживаются, в сознанье мутью,
Туманят мутью будущего день.

Тревожит сердце, что еще немало
И правды приблизительной, и лжи…
За искренность!
За чистое начало!
Я, вопреки всему, оружию не служил.

1960 г.

***

Бутылкой, выброшенною за борт,
Скиталась жизнь моя по океанам,
Внимательный не привлекая взор,
Но полнилась и солнцем, и туманом.

Её щадили бури много раз!
И ветер бедствий гнал её по свету.
Ещё в младенческий далёкий час
Судьба вручила тяжкий дар поэта.

Среди великих бед и певчих слов
Я прожил жизнь.

Как? — С толком иль без толка?..
И на песке у отчих берегов
Она лежит сверкающим осколком.

октябрь, больница, 1961.

***

Трепещут тополя в осенней синеве.
И облака — густые хлопья ваты —
Медлительно идут и тенью по траве
Сбегают вниз по солнечному скату.

Летят над сжатыми полями журавли
И в небе крик протяжный и прощальный.
О чём кричат? — о днях первоначальных,
(здесь вначале было: «что будит сны»).
О жизни, о судьбе, о людях, что ушли?..

больница.

Что будит сны — косноязычно, тупое звучание.

*На рыбалке*

Медлительное облаков движенье.
В осенней просини несёт река
Мир тишины и зябких отражений,
Заколебавшихся у поплавка.

Взлетев! Резко чертит удочка кривую,
Сверкнув на солнце мокрой чешуёй,
Расплачивается за роковую
Свою ошибку окунь небольшой.

И кто-то, подошедший незаметно,
Приветливо мне «здравствуйте» сказал.
«Как клёв?»
И я,
С приветствием ответным

Ему я место рядом указал.

И выпустил табачный дым сквозь губы,
О рыбной ловле, жизни и судьбе
Беседует с тобою дружелюбно
Ещё вчера совсем чужой тебе.

*На охоте*

Камыш и побуревшая осока,
А под ногою ржавая вода.
В осеннем небе, чистом и глубоком,
Зажглась несмело первая звезда.

И небосклон заря спалив дотла,
Рассеяла сиреневою пылью…
Охваченный волнением всесильным,
Я вскидываю два стальных ствола.

Тревожный крик взлетевшего бекаса.
Свинцом горячим раненый в крыло,
Он падает. Спешу по почве вязкой…
Как птичье сердце бьётся тяжело!

И на ладони, в буром оперенье,
Комочек тёплый… А в душе моей
Как непохожи эти два мгновенья
В противоборствующей сущности своей.

**9/X**

Сегодня из «Рыболов-Спортсмен» получил рецензию на мое стихотворение некоего Н. Коваля, члена редколлегии альманаха. Стихи ему передал Н.П.Смирнов.

«Уважаемый товарищ Софиев!

Стихи ваши написаны на нужную тему — рыбалка сближает людей, — и мы охотно напечатали бы их при Вашем согласии на некоторые поправки. Как-то не очень вяжется с осенью глагол «сияет». Поищите другой или дайте с ним определение осени. Во

второй строке слишком много действий, перечисляемых (и только) одно за другим — нельзя ли ту же картину выразить другими словами, убрав перечисление?

В третьей строфе непонятно: кто кому указал на место рядом — нехваткой местоимения. В четвертой — употребление глагола «беседует» требует указания — с кем? «Чужой тебе» — еще достаточно, чтобы понять, кто собеседник. Даже повторение местоимения здесь было бы простительно: «Беседует с тобою дружелюбно / Еще вчера совсем чужой тебе» — но в этой (…) уйдет слово «тепло», а это жаль. Подумайте!

С уважением, член редколлегии (…) «Ф. — С.», Н. Коваль.

**2. 25/VIII 61 г.**

А письмо отправлено 6/X 60 г.!

Любопытно, что основная и единственная, видимо, оценка стихотворения заключается в том, что «они написаны на нужную тему».

Я решительно не вижу, почему плохо последовательное перечисление действий во второй строфе?

И, наконец, неужели непонятно, что происходит в 3 и 4 строфах. Кто с кем беседует. Ведь по стихотворению довольно ясно видно, что в нем имеются всего лишь два персонажа, я и подошедший. Правда, еще окунь. И может быть, он беседует с подошедшим? И мне не кажется, что уточнение, расжевывание здесь необходимо. Возможно, что я и ошибаюсь.

С приветственным ответом

Ему на место окунь указал.

В данном случае все это больше комично, чем трагично, но вообще-то говоря — «труден подвиг русского поэта / И судьба недобрая ведет»…

А, пожалуй, все-таки грустно, что Максимилиан Волошин стал совсем забытым поэтом.

…Любопытна судьба двух поэтов.

На заре революции Гумилев был расстрелян, но не смотря на официальный запрет любители поэзии его знают и любят, и вовсе не только старики — я не знаю, как он просачивается — а М.Волошин «благополучно» умер после революции у себя в Крыму, в Коктебеле. Он был, на мой взгляд, не хуже, а выше Гумилева, и по обожженности и по оригинальности, и, пожалуй, не смотря на свои «Демоны глухонемые», менее книжен и напыщен, чем Гумилев, а вот, по крайней мере, в настоящий момент канул в Лету. Окончательно ли?

В мой белградский период я его очень любил, впрочем, так же, как и Гумилева.

Старик Сергей Яблоновский (Потресов) рассказывал забавный случай. В свое время он разъезжал по России (до революции) с лекциями на литературные темы. На одной лекции он обрушился на группу молодых поэтов (к ней принадлежал и Волошин), упрекая их в недостаточном знании иностранной литературы и еще в каких-то смертных грехах, в частности упомянул и имя Волошина.

Когда он кончил, попросил слово Волошин, присутствующий на лекции.

Волошин был небольшого роста, но с огромной головой и она казалась еще больше от буйной шевелюры. С необычайно гордым видом он вышел на сцену и высокомерно продекламировал:

Однажды на палец фивийского сфинкса
Вполз муравей…

И сошел со сцены.

«Муравей» Яблоновский добавлял, что в последствии острота их полемики изжила себя и он вполне дружески встречался с «фивийским сфинксом» Волошиным.

**3.**

*Ла Рошель*

«Порт Ла Рошель» — с ветрами спорит
Века чугунная плита.
Две белых башни, что на взморье
Стоят на страже у порта.

Здесь каждый дом и каждый камень
И кровь, и беды затаил.
Здесь мера — гугенота пламень
Кинжал в дубовый стол вонзил.

— «Мы будем биться! Биться на смерть!»
Рукой коснулся я стола.
В дни исторических ненастий
Безумцев храбрость не спасла.

Развязный гид толпе туристов
Безбожно врёт об именах
Нотабилей или магистров,
Чей здесь хранится бренный прах…

И мы с тобой бродили тоже
По этим улицам ночным,
И ветры времени изгложут
И наши тени, наши сны.

А там, за каменной стеною,
Шумит прибоем океан,
Чудесной манит синевою,
Виденьями далёких стран.

Стоит овеянная былью,
Легендами глухих веков.
И к ней летят цветные крылья
Рыбачьих вольных парусов.

Ла Рошель

С необычайной остротой возникло видение Ла Рошели. И между прочим — обнаженное во время отлива дно внутреннего порта, со всякой рухлядью, сброшенной с бортов кораблей, и среди нее множество огромных мертвых araiqmees de mere.

И захотелось устриц и крабов с Musckolie! Но все это навеки невероятно и недостижимо!

Милая Франция!

Нельзя не любить эту страну (с необычайно тонкой и изумительной интеллигенцией, подчас претенциозную и смелую в своем мещанстве и все-таки бесконечно милую, и все-таки со следами настоящего величия).

В сентябрьский застенчивым закат
Осины и платаны у канала
Над Францией, что мирно шелестят…

С Ла Рошеля все началось с Раей (Миллер — Н.Ч.). В

маленьком отеле у вокзала.

По Ля Рошель бродили с Леной (Лютц— Н.Ч.). Чудесные дыни… И «исторические эмоции» на каждом шагу.

С Раей вспоминали в Ла Рошеле Ладинского (Антонин Ладинскй, поэт, писатель, ставший известным советским романистом, который писал на исторические темы — Н.Ч.). В своей статье он все расписывал цветные паруса, но на этот раз мы никак не могли их обнаружить, и Рая убеждала, что Ладинский их выдумал. Нет, это, естественно, couleur locale Ла Рошель.

И к ней летят цветные крылья
Рыбачьих вольных парусов!

Вероятно, в жизни я не столько слушал, сколько смотрел. Мне, видимо, свойственно «видение» мира, и потому его виденья всегда чаровали и меня, возможно, я родился художником и художником-пейзажистом, всю жизнь меня пленяли краски, но если у меня и были кой-какие способности к рисованию (они складывались в отрочестве), то анемия воли и лень сразу загнали их глубоко в землю. Звучание пришло гораздо позднее. Но к музыке, пожалуй, я всю жизнь остался глух. Хотя совсем не безразличен.

Мир я вбирал не столько «слухом и умом», сколько глазами и сердцем.

В живописи я люблю виденья жизни, но равнодушен к литературщине.

Всякое подлинное видение жизни — идейно, потому что оно наполнено созерцанием, вызывает не только наслаждение прекрасным, но и будит мысль, вызывает раздумья, будит мечту. Но мою собственную мечту, самое дорогое, затаенное, зовущее и волнующее.

Всякая заданная идейность, иллюстративность — мертвы.

Я равнодушен к «передвижникам» — живопись у них подсобна. Мертва она у Шишкина и у Айвазовского. Так ли это?

Но люблю Левитана, Куинджи, Врубеля, Нестерова, Коровина, Малявина, Бакста и многих других. И, конечно, французских импрессионистов. Да, живя в Алма-Ате, уж не завернешь, идя с работы, в Лувр! (…)

Мне трудно понять всего Пикассо. Я очень люблю его линейные рисунки. Изумительную, полную жизни, линию. Минимум средств — максимум выразительности. Его реалистические вещи — кстати, не портрет жены, а девушка и

юноша (не то испанского, не то еврейского типа), но его одновременное совмещение профиля и анфаса, и многие другие.

Пожалуй, и керамику — понимаю не очень. Она меня оставляет равнодушным. Что-то не верится, что так можно видеть мир, впрочем, так его можно мыслить.

***

Возможно, что мир я воспринимаю глазами и сердцем, но претворяется это видение в звучание, ибо в стихах у меня всегда основное — «магия слов», «магия поэзии». Через «магию слов» воспринимаю я и стихи. «Магия поэзии» — волшебное сочетание звуков:

Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит.

Или неведомого автора:

Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы. (!)

К этому я возвращаюсь постоянно.

**4. 14 / XII**

Спор Игоря (сын Ю.Софиева — Н.Ч.) с Матюшенкой (?) о Некрасове.

Игорь:

— Некрасова любить, потому что он доступен всем, за его гражданскую тематику? Но это не настоящая поэзия! и т. д.

Я спросил Игоря:

— Как, по-твоему, Блок понимал поэзию?

— Ну, конечно!

— Так вот Блок очень любил Некрасова.

У спора этого, о Некрасове — борода до колен. Эстеты и снобы XX века видели (и снобистски отрицали) его гражданскую тематику (при чем здесь, мол, поэзия?! Это публицистика!) и не видели подлинного поэта.

Причастен к этому делу и Вл. Соловьев:

Святыню муз, шумящим балаганом
Он заменил и обманул глупцов.

И я прочитал Игорю:

Внимая ужасам войны…

Здесь богатство «основной словесной ткани», «магия поэзии» и только глухому, только ни черта в поэзии не понимающему это неясно.

Потом прочитал Тютчева:

Часов однообразный бой.
……
Металла голос погребальный
Порой оплакивают нас.

***

Как океан объемлет шар земной,

* * *

Есть в светлости осенних вечеров…

* * *

Песок сыпучий на колени…

***

О чем ты воешь, ветр ночной

***

О, как убийственно мы любим…

***

О, вещая душа моя!

***

Есть в осени первоначальной

***

От жизни той, что бушевала здесь

***

О, как на склоне наших лет…!!!

А сколько времени этот великий поэт во всех учебниках русской литературы шел под рубрикой: «Второстепенные поэты»?

**5.16/ XII**

«Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика».

Ф. Достоевский

Читаю «Воспоминания Аполлона Григорьева и воспоминания о нем». Замечательная книга! К стыду моему, Ап. Григорьева знаю очень плохо.

***

«Выглядеть — иметь тот или иной вид. Хорошо в.» (Словарь русского языка Ожегова).

Это слово всегда вызывало у меня какое-то странное ощущение, ассоциируясь с еврейским жаргоном: «Как Ви выглядываете?»

Д.С. Мережковский вообще отрицал его. Георгий Адамович при этом пожимал плечами.

Справка: германизм «выглядит» (sieht aus) вошел в русский язык и литературу только в середине XIX века и получил начало от петербургских немцев.

Не прошлое, а будущее вместе
С тобой в те дни швырнули мы в камин.
И ветер осени гремел, на крышах, жестью,
Выл как бы душам нашим…

Со щедростью слепой и неразумной
Развеяли два счастья на ветру.
И есть ли смысл в той полуправде умной,

Что в поздний час пришлась нам ко двору?

Судьба нам предназначила в удел
Мучительный, счастливый плен Эрота.
Я каждый миг сносил как пчелы в соты,
В них мед воспоминаний загустел.

Так одиночество оплакиваем, мы,
Наш долг по беспощаднейшему счету…

***

И над судьбой роковою
Звездные ночи горят.

А. Блок.

Шумит вода, бурлящая в камнях.
Сияют звезды над моей палаткой.
И голубая Вега в небесах
Горит над жизнью и судьбою шаткой.

Ночные мысли медленно текут.
Ночные мысли паутину ткут.
Ночные мысли пробегают годы.
Под этим тонким полотняным сводом.

Но вопреки всему опять пожаром
Пылает жизнь. И в шуме поздних гроз
Под нимбом золотых густых волос
Волнующий овал, что я унёс
В мою судьбу с полотен Ренуара.

Ты мне явилась, как благая весть
О том, что радостью не оскудела
Вот эта жизнь. Хоть с ней утрат не счесть,
Хоть сердце бедами переболело.

Сияй, моя вечерняя звезда,
Дарованная щедрою судьбою,
Чтоб озарить последние года

Большой, прекрасной радостью земною.

Ущелье в горах Киргизского Алатау, 1957 г.

***

Е.

За расточительность в какой-то час
Мы платим поздней горькою заботой.
Наш долг по беспощаднейшему счёту
Жизнь одиночеством взимает с нас.

Судьба нам предназначила в удел
Мучительный, счастливый плен Эрота.
Я каждый миг сносил, как пчёлы в соты,
Чтоб мёд воспоминаний загустел.

Со щедростью слепой и неразумной
Развеяли мы счастье на ветру.
И есть ли смысл в той полуправде умной,
Что в поздний час пришлась нам ко двору?

Январь 1962 г.

(Эти стихи, вероятно, посвящены Елене Лютц, в дальнейшем посвящение было почему-то и стихи печатались без него — Н.Ч.).

**6.**

Вот так и жизнь — суровая, простая —
Лишь озаренная сияньем слов.
Как синий дым восходит, ввысь и тает
В безмолвии осенних, вечеров.

18/ II 62 г.

Из письма Виктору (Мамченко, в Париж — Н.Ч.)

… Вообще как-то загрустил я в последнее время с литературными делами моими. Стал собирать свои стихи. Кое-что начисто забыл, ну, а то, что переписал в тетради — обречено лежать под спудом и бесследно исчезнуть со мной вместе или тотчас же после меня.

Без следа! Без надежды на отклик и встречу.

Помнишь рассказ Андреева (Леонида) о писателе, умирающем от расширения сердца и о его книге, которая пошла на обертку селедок. Но, ведь, она все-таки прошла через типографский станок! Я плачу за свою беспечность. Все не хотел спешить, не хотел торопиться. Успею, мол! Ты умнее и счастливее меня — у тебя 5 книг!

А мне, ведь, и читать-то некому. Просить, никто не проект, а сам никогда не навязывался.

Часто возвращаются ко мне виденные мною «видения мира».

…Прохладный вечер ясен и глубок.
Синеет дым над островерхой крышей.
Большие птицы, знающие срок,
Летит на юг. Протяжный крик их слышен.

Когда-нибудь, устав от перемен,
Затягиваясь крепкой папиросой,
Я вспомню плющ, средневековых стен
И синий дым над этой крышей острой.

Простой закат, зубчатый небосклон
И городок с вечерними огнями,
И заунывный сумеречный звон
«Ангелюса» над сонными веками.

И еще

…Синий дым над острою крышей,
В том же зале топят камин.
Так же четко и резко слышен
Каждый звук вечерних долин.

***

Осенним холодным пламенем
Охвачено небо кругом…
Крест над озером — мшистый, каменный,
Стертая надпись на нем.

***

И над темной зеленью сада
Потухнет осенний закат…

Все это конкретные образы навсегда, живые и запечатленные в памяти. В частности это — Chatelu renard (?). Эти видения милой Франции на всю жизнь заполнили душу, но все же не вытеснили из нее целый сонм и других видений.

И вот последнее, самое короткое мое стихотворение:

Вот так и жизнь. Суровая, простая,
Лишь озарённая сияньем слов,
Как синий дым восходит ввысь и тает
В безмолвии осенних вечеров.

Иногда, и часто очень, гложет сомнение — и впрямь — все написанное ничего не стоящая чепуха, никакая жизнь в них не отражена.

Но вот на днях в руки попались сборники наших алма-атинских столпов — Кривощекова, Снегина. Товарищи не только признанные, но и руководящие — у кормила и в Союзе писателей, и в редакции «Простора». После чтения подумалось: у простачка, естественно, все легко и просто. Но через какую глубину и сложность должен пройти подлинный поэт, чтобы выстрадать и заслужить право на подлинную, глубинную, прозрачную простоту.

Кто же из них тронут вечностью? Кому нужна вся эта жалкая белиберда?

И чтобы проверить себя, снял с полки Блока, Ахматову, Тютчева, Лермонтова, Багрицкого, Светлова, Анненского и между

прочим Тебя.

И сказал: нет, брат, врешь! Не обманешь! Поэзия есть поэзия и она нужна человеку, как воздух.

А Кривощекова и Снегина и иже с ними, имя им легион — извините!

Вероятно, глубокое мое несчастье, при всей моей страшной неуемной жадности к жизни, к современности, скажу без жеманства, с моей верой в добро, в доброту, в человека (ух, как это трудно!) и его будущее, с моей настырной жаждой человечности — не умею я публицистически (с маху) реагировать на жизнь, на современность. Ничего не выходит, хотя очень чувствую — извини за высокий стиль — величавую и трагическую (очень, очень) поступь наших дней. И, вероятно (дай Бог), никогда не преодолею отвращения к казенным словам и к скользкой полуправде. Вот почему мне всегда казалось, что искусство, чтобы быть подлинным искусством, должно быть предельно правдивым, честным и искренним. Точнее — таким должен быть художник.

Ну, и как аксиома — свободным от всяких нянек.

Это банальный образ, но действительно нужно писать не чернилами, а собственной кровью.

Есть у меня в жизни, теперь, еще одна большая и светлая радость — наши советские ребята. Я не особенно люблю совсем маленьких детей — это еще всего лишь человеческие детеныши, существа почти безумные, часто со злыми и хитрыми инстинктами. Мне не свойственно ни сюсюканье, ни умиленье при их созерцании. Есть трудный, какой-то переходный возраст от 14 до 17 примерно, здесь грязь жизни уже начинает прилипать, а то и притягивает к себе — самоуверенность, порой наглость, цинизм, рукоблудие, повышенный интерес к похабщине и т. д.

Но есть прелестный возраст 9-12 лет. Это те прекрасно чистые, прозрачные цветы, которые с такой жадностью тянутся к солнцу, к свету, к добру. Вероятно, никогда не бывают так ярки, так впечатляющи восприятия, уже социальные, разумные, мира и бытия, как в этом возрасте.

И как взрослые ответственны за этот возраст. Как легко на всю жизнь искалечить ребенка грубостью, глупостью и т. д., толкнуть его к злому и низкому или наоборот прочным фундаментом заложить в него прекрасное.

Помнишь, Достоевского — князь Мышкин. Вопрос с Достоевским, конечно, очень сложный. Но как хорошо показано, как Мышкин со своей детской и чистой душой пробудил в

детских душах доброе и высокое. (Нужно перечитать). И я почему-то глубоко верю, что если в эти, раскрытые миру сердца, заложат доброе и высокое — оно прорастет и пустит в человеке глубокие корни. И знаешь, Виктор, я думаю, что это делают и должны делать поэты. Не зря же эта толстая тетрадь, переписанная крупным, старательным детским почерком — полетела сегодня в мое окно. Ведь в нее было переписано любимое. Значит, это прекрасное уже тронуло, уже овладело детской душой. Да, ты еще не знаешь, что это за тетрадь? На днях был, вероятно, самый трогательный день моего рождения. Вот уж около двух недель я дома — врачи уложили в постель. Никто, конечно, из родственников (включая и сына) не вспомнил об этой дате. Я и не напоминал. Но утром в мою, открытую всю зиму, форточку полетел пакет. Большая общая тетрадь и на ней наклеена открытка — заяц несет огромный букет, за ним летят птицы и насекомые и надпись: «С днем рождения!»

На первой странице нарисованы цветными карандашами букет цветов и написано: «Дорогой Юрий Борисович, поздравляем с днем рождения, желаем счастья и отличного здоровья». Потом пометка: «Тайна под открыткой». Под открыткой оказалось письмо и указание авторов подарка: «Наташа и Катя». В конверте крупным детским почерком переписаны:

Произведения А.С.Пушкина

«Зимнее утро» и т. д. и т. п. — целая тетрадь (Тетрадь эта сохранилась в архиве Ю.Софиева, а Наташа и Катя были соседками по бараку на улице Сухамбаева, где жил в то время Юрий Борисович — Н.Ч.).

Потом прибежала Зойка, чудесная девушка — моя соседка. Это очень милая семья — Иван и Маруся. Он плотник — четверо ребят. Зойка 9-летняя. Старшая!

Принесла пакет, на котором нацарапано корявым почерком с двумя ошибками (очень спешила) — «С днем рождением, Юрий Борисович от Зои». Носовой платок и маленький флакончик духов.

Под вечер явился Андрюша (тоже соседский мальчик). На красивой тарелке с красивыми маками фарфоровая чашка с портретом Джамбула и все это завалено свежими домашними choux a creme.

Ввалилась делегация от 6 «В» класса — четыре девочки, и вручили торжественно альбом.

Пришли Женя Катьева, дочка нашей дворничихи, и заставила принять портсигар и кашне, тщательно завернутые в серебряную и цветную фольгу.

От всего этого становится очень тепло на сердце и

одиночество отступает куда-то на задний план. Может быть, все это оттого, что моя семейная жизнь не сложилась. После смерти Ирины стал я странником «по душам и планете».

С развалом семьи Игоря нарушилась всякая связь с собственным моим внуком — Алешей. Он всецело в орбите Ольги (Ольга Вышневская, первая жена Игоря Софиева — Н.Ч.) и бабушки. Да и по многим причинам я не был у них частым гостем. Даже к прадеду Алеша перестал ходить, хотя живет под боком. Для Николая Николаевича (Кнорринга — Н.Ч.) это, конечно, глубочайшее огорчение. Хотя вся его безумная любовь к Ирине перешла и сосредоточена на Игоре.

Последнее неразумное и нелепое поведение Игоря (его умопомрачительная последняя связь) — не может не мучить старика. О себе не говорю!

Таковы-то дела.

Кстати, я вовсе не думаю, что у нас не существует проблема молодежи. Настоящие трудности начинаются позже, с 15–17 лет. И эта проблема очень сложна и серьезна.

И эти «к сожалению еще», «ничтожная часть» и т. д. совсем не соответствует серьезности и глубине этой проблемы. Но это другой вопрос.

Ну, а о домашних (семейных) горестях писать не хочу. Тут всего много, и глупости, и грязи…

(Наклеена записка, написанная на коричневой оберточной бумаге корявым детским почерком: «С днем раждением Юрий Барисович. От Зои», и рукой Ю.Б. — 20/ II, 1962 г. — Н.Ч.).

**7.**

«Если никакая доктрина не может наделить художника талантом, то погубить талант она вполне способна. Вера в свое творчество — вот что должно быть убеждением художника и единственный его путь к успеху — труд, если природа вдохнула в его душу священный огонь».

Бальзак, «Человеческая комедия».

Читаю его с неизъяснимым наслаждением. Дюбуртье! (Дюбурже?) До чего это бессмертно и до чего современно.

**8.**

Эрато нежная…

И. Голенищев-Кутузов

Лирической поэзии река! —
Как «Млечный путь» на августовском кебе,
Как жизнь — непостижимо глубока,
Жизнь —
вопреки всему! —
«не о едином хлебе».

**23/III — 25/ III, воскресенье**

Провел у Боевых (семья друзей Ю.Софиева — Н.Ч.). Какой душевный отдых после домашней Игоревой «сложности» и «глубины»…

…И вот проведешь день у Боевых и оправдываются давние строки:

Было в этой жизни наконец
Столько нестерпимого сиянья.
Человеческих больших сердец.

И как-то умоешься этой чистотой…

Вечером смотрел «Битва в пути». Роман лучше картины.

Перед сном читал Есенина — «магия поэзии» в чистейшем виде!

Стихи Ирины Николаевны Голенищевой-Кутузовой, посвященные мне.

1924 г. Белград, Югославия.

(Карандашный автограф И.Н.Голенищевой-Кутузовой, переписанный затем Ю. Софиевым — Н.Ч.).

***

посв. Юрию Бек-Софиеву

В хрустальной чаше цвели три розы,
Три розы алые, как кровь,
Прекрасные, как летние грозы,
И пламенны, как первая любовь.

А дни текли и розы увядали
В хрустальной чаше у меня,

И слезы крупные на лепестках дрожали
И головы склонялись в блеске дня.

Но день настал, и властною рукою
Ты розы детские моей души сорвал.
И гордый, вольный и не тронутый слезою,
И лепестки отвергнул и измял.

1924 г., 12/8, Ирина Голенищева-Кутузова, Белград.

Ирине было тогда 16–17 лет. Она была в меня влюблена и очень ревновала к Тане Аничковой, по совести говоря, никаких «роз я не мял».

Была она славная девочка и в мои студенческие годы кончала женский институт «благородных девиц» в Югославии.

**9.**

(Письмо Елене Лютц в Медон, — Н.Ч.)

Родная моя Лена!

Вернулся из экспедиции и нашел твое горькое письмо. Всей душой разделяю с тобой твое горе. По личному опыту знаю, что значит потерять близких. И впечатления эти остаются неизгладимыми на всю жизнь. И почему-то всегда — укором на совести!

Со смертью отца прошло почти 30 лет! А вот, иногда, зажмуриваешь глаза от жгучей боли. Жива для меня и смерть Ирины, так же как жива во мне и живая память об Ирине.

Не теряет своей остроты и трагедия наших отношений с моей матерью.

Это то, что при твоем характере (глубоко и прочно переживать) будет тебе еще тяжелее, чем мне. Но, родная моя, ведь надо жить и «малодушно не бежать страданий» — так мне думалось после смерти Ирины. Конечно, сейчас так думать гораздо труднее.

Откровенно говоря, «надо жить» — звучит как-то неумно и неубедительно. Почему «надо»? Надо, чтобы человек хотел жить… вопреки всему.

Я всегда хотел жить, вопреки всем испытаниям, видимо, потому, что у меня был всегда избыток эгоистической, неистребимой жажды жизни.

И всегда жил надеждой. Ух, и сил было столько, что казалось нелепостью возможное их иссякание. А разговоры об одиночестве

— были одним кокетством.

И вот, недавно, в экспедиции возвращался я из большой экскурсии в наш лагерь. Один. Очень устал. Устал не здоровой физической усталостью, а тяжелой усталостью больного, надорванного сердца. Epuisement. Вокруг однообразная, сожженная засухой пустыня. Монотонные холмы, почти не тронутые даже полынью. Пыльная ниточка дороги. Одинокая человеческая фигура. Ни единого человеческого голоса.

И как мне свойственно — зазвенит чья-нибудь строка (пожалуй, чаще всего Тютчева, Лермонтова, Блока, Ахматовой).

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом, свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги.
Друг мой милый, видишь ли меня…

И складывается свое собственное:

И синей тенью на степной дороге
Ложится одиночество мое…

Оно перестало быть кокетством — стало настоящим…

Вероятно, это самое трудное на последнем этапе наших дорог — наше одиночество. Вынужденное? Неразумное? Заслуженное? На это трудно ответить, да, и не все ли равно?

Однако, мы оба обрекли себя на это тютчевское:

Быть до конца так странно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу…

Из твоих писем я понял и еще одну вещь — как я понимаю очень трагическую для тебя — та работа, которой ты жила и которая давала тебе большое удовлетворение, как-то совсем опостылела для тебя. И что еще важнее, с моей точки зрения, те люди, с которыми ты совместно выполняла эту работу — стали тебе чужими и враждебными.

Ты знаешь, моя работа для хлеба насущного была бессмысленна, отбирала силы и время от работы творческой (В Париже он мыл окна магазинов — Н.Ч.). Но работа эта коренным образом изменилась. Я получил возможность заниматься любимой творческой работой, которая дает мне удовлетворение. Хуже, конечно, дело обстоит с литературой, но это особый и очень сложный вопрос. Ведь и в Париже мне удавалось заниматься ею только урывками — после стекол. Может быть, это и не есть мое основное? Но, вот, что для меня очевидной при самом высоком и справедливом социальном устройстве, т. е. при той «счастливой жизни», когда человек сможет удовлетворять все свои материальные и даже духовные запросы, по-прежнему будет играть необходимую и огромную роль личное счастье человека. Я все-таки думаю, что ни социальные (вполне налаженные) отношения (коллектив), ни даже творческий труд не может дать человеку всю полноту ощущения радости бытия (назовем это счастьем), если он лишен своего личного (большого или маленького — по потребности) счастья — разделенной любви, удачной семейной жизни, и т. д., если на него будут сыпаться жизненные неудачи, утрата любимых и близких, одинокая старость и т. д.

Когда я думаю о всяком счастье (почему-то всегда мне хочется брать это слово в кавычки), я всегда думаю о возможном для человека счастье, т. е. в какой-то мере всегда ущербном, ибо на каждом жизненном пути, прежде всего, лежат утраты.

Уходят родные, любимые, близкие люди. Уходят безвозвратно, без надежды на отклик и встречу, и эти утраты навсегда остаются неизгладимыми.

Осенний запах, вянущих цветов.
Все кончено и все непоправимо.
Так раскрывает смерть неумолимо
Последний смысл простых и страшных слов.

И, наконец:

Звено к звену плетется цепь разлук,
Печальнейших разлук с самим собою.
Жизнь иссякающая, теплотою,
Выскальзывает медленно из рук…

Да и перспектива неотвратимого и полного собственного исчезновения, в особенности, когда оно приближается, тоже не особенно веселит душу.

Есть люди, для меня почти безумные или во всяком случае непонятные — мистики, верящие в личное бессмертие, даже в какое-то нелепейшее воплощение всех и вся во плоти.

Вероятно, это просто особая порода людей.

Какой-нибудь наш бравый агитатор, конечно, с легкостью и со знанием дела окрестил бы их невеждами и дураками, наподобие тому анекдотическому деятелю районного масштаба, о котором в Париже мне рассказал наш советский консул А. Аврамов (в качестве анекдота, конечно).

У церкви на скамеечке сидит старичок, академик Павлов, мимо проходит молодой деятель.

— Что, дед, пришел помолиться богу?

— Да вот, пришел.

— Эх, и темный же ты человек, дед!

Шила в мешке не утаишь — великий физиолог был по-своему душевному складу не чужд религиозности или просто в порядке эстетических восприятий — любил церковную служб). Но не знаю. Можно ли отыскать на свете такого дурака и невежду (вероятно можно!), который бы назвал дураками и невеждами — Вл. Соловьева, С.С.Булгакова, Н.А. Бердяева, В.В. Зеньковского, Г.П. Федотова и иже с ними, словом, весь сонм этих довольно блестящих профессоров, философов и ученых. Кроме Соловьева, я всех их слишком хорошо знал, чтобы заподозрить в неискренности. И однако, для людей моего склада, моего мироощущения, или, скажем, для людей типа Милюкова, т. е. для людей, абсолютно лишенных мистического восприятия мира (причем эту «лишенность» я вовсе не рассматриваю, как некую ущербность!) вся эта религиозная и философская проповедь останется совершенно неубедительной и не в состоянии ни йоту приблизить нас к их «истине», заставить уверовать, что на реальнейших путях человеческой истории Христос «смертью смерть попрал» и что весь смысл и конечная цель человеческой истории — всеобщее воскрешение мертвых не на седьмом небе, а на нашей многострадальной планете Земля.

С младенческих лет ненасытно и жадно я всегда любил жизнь, исступленно и восторженно любил природу, мир, и вероятно потому смерть всегда мне казалась безобразнейшим и немыслимым явлением, глубоко оскорбительным для человека. Никакого величия в ней я не видел.

Конечно, меня не трудно уличить в противоречии — не

выделяя человека из природного мира, я, казалось, должен был бы принимать прежде всего великую целесообразность смерти, отмирание отдельной особи, при относительном бессмертии рода, что целесообразнейшим образом обеспечивает эволюционное развитие жизненного процесса в целом. Бессмертие относительно, потому что и звезды умирают, так что тень от черного ее крыла неизбежно ложится на все живущее.

Может быть, когда мы будем умирать в 150–200 лет, до конца исчерпав все и физические, и душевные силы, не умирать, а уходить из жизни, мирно и тихо засыпая, может быть, изменится и психология у людей, их мироощущение.

А пока грусть и горестные раздумья, как тень сопутствуют всем нашим земным возможным радостям. Ну, будет философствовать.

Родная моя, советовать тебе ничего не могу. Ты знаешь — по свойству моего характера не люблю ни советовать, ни поучать. Так же, как не люблю выслушивать советы и поучения. В этом отношении ты меня тоже знаешь.

Я мог бы тебе сказать: — плюнь на все и приезжай. Может быть, вместе нам будет легче. Но знаю, что ты мне на это ответишь — «Не могу. И ты должен понять». У меня такое ощущение, что ты всю жизнь находилась в цепях (как и все мы в какой-то мере — но это другое), добровольно на себя надетых. И помимо сознания нравственного долга была у тебя и подавленность личной воли (ты знаешь ее причину), которая мешала разорвать и сбросить эти цепи. И эти путы вросли в тебя, стали тобой самой, почти твоей сущностью.

Я часто думаю, что:

Со щедростью слепой и неразумной
Развеяли мы счастье на ветру.
И есть ли смысл в той полуправде умной,
Что в поздний час пришлась нам ко двору?

Вот, моя родная Лена, крепко-крепко тебя обнимаю. Твой Юрий.

12/V 62 г.

**10.**

***

Нет, сердце, молчи, молчи!
Нельзя украшать войну,
Ни ярость, что славят мечи,
Ни мертвенную тишину.

Глазницы пустые шлем
Прикрыл.
Эту повесть не множь,
Чтоб ветер войны не выл.
И ненависть, злобу, ложь
Нельзя украшать ничем.

12/V 62 г.

С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой!

Б. Пастернак

neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva
никому не вреди, но всем сколько можешь помоги.

Почему? — «Разрешение этой задачи дает собственное основание этики, которого, как философского камня, ищут уже тысячелетия». Артур Шопенгауэр («Die beiden Grundprobleme der Sthik).

Quodtibi fieri non vis alteri ne feceris
Чего себе не хочешь — и другому не делай.

Молитва, которой заканчиваются древне-индийские драмы: «Да будут все живые существа свободны от страдания.

Мне всегда было ненавистно христианское любование и смакование страдания — в особенности чужого.

«Порадуемся за нашего брата — Господь послал ему великие испытания».

Я достаточно наблюдал это умильное ханжество с возведением очес к небу и в Белграде (в кружке у Зерновых), и в Париже. На мое ощущение это какое-то предательство самого существенного основания нашей земной этики — сочувствия, симпатии, сострадания к другому.

Я был очень душевно наивен в те белградские годы и это словесное рассусоливание страдания вызывало во мне ощущение какого-то страшного, жестокого душевного холода.

Это не было восприятие страдания, как явления, может быть, совершенно необходимого, для углубления жизненного опыта, а как зарабатывания награды, воздаяния в «будущей вечной жизни».

— Пускай, пускай пострадает, Господь воздаст ему за это в царствии божием.

И эта мыслишка, что безнадежное отчаяние приводит человека к Богу, как к последней надежде, т. е. окончательно жизненно сламывает человека.

Я сам никогда не любил «благополучных» людей, ограниченно самодовольных.

«Istoria Calamitatum mearum» Абеляра,
«Исповедь» Руссо,
«Житие» Аввакума…

Почему лучшим
Дарована бездна бедствий,
А падали Благополучие?

Благослови высокую судьбу —
Мы бедствия и странствия узнали.

***

…Счастлив, кому судьба послала
Такие бедствия и сны.
Счастлив, кого она бросала
В юдоль изгнанья и войны.

Вне всяческих благополучий
Не стал ли мир для нас светлей?
Мы сами проще и мудрей,
А наша жизнь полней и лучше.

… Ты мне сказала, прервавши молчанье:

— Все, кто беду и нужду испытал,
Все, кто был послан судьбою в изгнанье,
Все, кто скитанья судьбою избрал,
Все, кто дорожною (?) пылью дышали,
Ставили парус, садились в седло,
Все, кого солнце дорожное (?) жгло,
Все эти люди нам братьями стали.

Кто-то им щедрою мерою мерил,
Каждого щедро бедой наградил.
В спящей Флоренции Дант Алигьери
Кутался в плащ и коня торопил…

**11.**

…Очень люблю иногда снять с полки «Былое и думы» и перечитать на сон грядущий несколько страниц.

Вчера, как всегда с интересом (…) перечитал «Княжну Екатерину Романовну Дашкову». Ничего не прибавишь к герценской заключительной фразе: «Какая женщина! Какое сильное и богатое существование!»

Пожалуй, самое убедительное, что такая личность могла существовать, могла с таким человеческим достоинством прожить свою не короткую жизнь в России при Елизавете Петровне, при Петре III, при Екатерине, при Павле и при Александре I. В крепостной России при шести монархах! И при каких — включая Петра III и Павла!

Когда: «Потемкин (я при Сегюре ударил какого-то полковника и, спохватившись, сказал послу: «Как же с ними иначе поступать, когда они все выносят»).

И Герцен резко спрашивает: «А как ответил бы Потемкин на его пощечину или на вызов?..»

Говоря о впечатлениях мисс Катрин Вальмонт, Герцен пишет: «В жалком подобострастии, в позорном раболепии нашего общества она очень справедливо находит отражение рабства. Она с изумлением видит в залах и гостиных опять холопов без всякого нравственного чувства собственного достоинства. Ее удивляют гости, которые не смеют садиться и часы целые стоят у дверей, переступая с ноги на ногу, которым кивают головой, чтобы они ушли.

«Проклятие добра и зла смешиваются в России с понятием быть в милости или немилости. Достоинство человека легко определяется по адрес-календарю, и от государя зависит, чтобы

человека безусловно принимали за змею или за осла».

Да, трудненько нам, русским, изживать «родимые пятна»… отечественной истории.

«Культ личности» расцвел на удобренной веками почве. Но зато уж и расцвел махровым цветком. Может быть, потому, что к этому времени были окончательно упразднены те проблемы «рыцарства» (понятие о личной чести), которые иногда проявлялись в «дворянском воспитании» (Дашкова) и дерзкой достойной гордости, которая была присуща народу.

Пугачев, Разин, купец Калашников и т. д., т. д., т. д.

Московский генерал-губернатор объявил ей приказ Павла немедленно ехать назад в деревню и там вспоминать 1762 год (свержение Петра III). Дашкова ответила, «что она никогда не забывала этот год, но что сообразуясь с волею государя, она будет рассуждать о времени, которое равно не оставило ей ни угрызений совести, ни раскаяния…»

Из ее письма к брату Александру:

«Когда Тиран (о Павле) раз ударил свою жертву, то он будет повторять удары до тех пор, пока сокрушит ее окончательно.

Сознание невинности и чувство негодования послужит мне вместо мужества, чтоб перенести невзгоду, до тех пор, пока и вас, мои родные, не захватит его разохотившаяся злоба. В одном будьте уверены, что никакие обстоятельства не заставят меня ничего сделать, ни сказать, чтобы могло меня унизить».

…и сердца горестных замет.

Mais, a quoi fensez vons cher Monsieur?

***

Может быть, это сон.
Может быть, это явь.
Вижу, как жизнь моя
Скатывается под уклон.

Сколько изведано бед,
Невозвратимых потерь!
Где-то волна, как зверь,
Слизывает след.

А у далёкой реки
Так же шумят тополя.
Так же, всему вопреки

Радостно дышит земля.
(В солнечной неге земля).

**12.**

(Письмо, видимо, Н.И. Столяровой в Москву — Н.Ч.).

Милая Наталья Ивановна!

У Вас есть все основания считать меня самой беспардонной свиньей! Я даже не ищу оправданий или смягчающих вину обстоятельств, но просто хочу сказать, что эти последние месяцы (конец зимы и начало весны) были для меня весьма тяжелыми. Я заболел гриппом, потом эта болезнь вызвала осложнение, павшее на сердечную деятельность, это в свою очередь привело к общему упадку сил и ощущению противнейшей постоянной усталости и (что на меня не похоже) к известной моральной подавленности. После работы приходил домой с опущенными руками. Не было сил ни сосредоточиться, ни взять перо в руки. Было еще одно обстоятельство — его-то я и считаю главным — очень напряженная, нервная атмосфера в связи с семейными неполадками сына. Его семейная жизнь разваливалась уже давно и мне казалось совершенно бессмысленным занятием — штопать и латать. В общем, виноваты они оба, хотя оба не плохие люди, только Ольга, уже давно, казалась мне очень опустошенным человеком, и не смотря на внешнюю мягкость au fond человеком с очень холодной душой. Женщина она бесспорно интересная и обладает известным шармом. Но fissure, которая появилась уже давно, привела к окончательному разлому. Сын переехал ко мне. Сложность — дети. Но самое худшее началось позднее и это-то и истрепало мои нервы и сердце вконец.

Вначале он искал забвения, но искал, что называется, под рукой, в случайно окружавшей его поселковой компании — людей совершенно не интеллектуальных. А забвение это выражалось в обыкновенной пьянке и в каком-то нелепом «цыганском» надрыве под гитару, на которой он, к несчастью, бренчит. К несчастью, потому что мальчиком он учился играть на скрипке и не без успеха. Тяжелые эмигрантские обстоятельства с одной стороны (моя вина), недостаток воли с его — в результате скрипка была заброшена. Однако налицо оказалась некоторая музыкальная культура, любовь и понимание музыки. Этим он обязан, в известной степени, деду — Ник. Ник. скрипач. В свое время, в Париже он его таскал по концертам и музыкальная тема была привычной в доме.

Так вот, именно в этой случайной поселковой компании и выкопал он из страшного мещанского болота такой экземпляр, что у меня глаза на лоб полезли.

В пояснение сего обстоятельства он мне заявил, что интеллигентные женщины с их «претензиями» ему надоели — он устал от них.

Если исходить из этого положения, то он вполне преуспел, ибо сия особа не только лишена каких бы то ни было зачатков культуры и интеллигентности, но и начисто самых простых человеческих моральных качеств. Возможно, что человек довольно нелепый и в жизни не очень понимал людей «трезвых» и весьма практичных — например, способных поднимать шумные скандалы из-за нерасчетливо растраченных трех копеек, а затерявшуюся вещь — безаппеляционно объявлять украденною соседом или гостем и т. д. т. д. Прибавьте к этому пошлое обращение к другу и сердце наполненное крысиной злостью и человеческой низостью. Для полноты картины упомяну, что досуг, который, при упомянутом обращении к другу, приобретает довольно обширные размеры, заполняется либо сном, либо бренчанием на гитаре, которое сопровождается подвыванием сдавленным металлическим голосом (к тому же почти лишенным слуха) пошлейших романсов, вроде: «Кокаином серебряной пылью все дороги мои замело».

На этом и закругляется весь «духовный» багаж человека. Мне пришлось наблюдать любопытный психологический феномен — когда человек (не глупый, достаточно культурный, выросший в интеллигентной среде, с известными духовными и умственными запросами) внезапно слепнет, начисто!

Именно это и произошло с моим сыном. Это мой единственный сын и естественно эта его судьба мне далеко не безразлична. Конечно, я его люблю. Мой Игорь — человек, правда, довольно нелепый. Порождение эмигрантской богемы, с душой, отравленной это самой богемой. Но «богема» сама по себе это нелепость. Ее можно, в какой-то мере, оправдать, либо богатством души, либо какой-то «творческой продукцией», и еще:

«Друзья мои, подумайте, какую,
Какую жизнь поднять хотели мы»

Но если «никакой жизни не поднято», если восприятие мира отравляется скептицизмом (я всегда думал, что скептицизм не от ума, а от известной духовной или органической (натура)

обедненности), если к 30-ти с лишним годам еще «ничего не начато», то, пожалуй, без особого риска можно вспомнить Лазаря Кельберина:

«Теперь ясно — Наполеоном не буду…»

А на одной гитаре и на каких-то «сломанных крыльях» далеко не уедешь. Игорь любит стихи, притом настоящие, читает, но — (…).

(На этом тетрадь обрывается — Н.Ч.).

## ТЕТРАДЬ VI (май-октябрь 1962 г.)

**1.**

(Продолжение письма Наталье Столяровой, секретарю писателя Ильи Эренбурга, в Москву — Н.Ч.).

… И вот я в долине реки Чу, недалеко от Баомского ущелья, ведущего к озеру Иссык-Куль. Вдали от всего мира, в районе какой-то овечьей отары. В степи. С моим другом зоологом М.М. Бутовским. Широчайшая долина, замкнутая на севере Кубайскими горами. Апрельская синева. Какие-то необычайные по богатству красок закаты. По ночам великое безмолвие пустыни и звезды, надраенные ангелами, как пуговицы на матросском бушлате. По утрам варю моим товарищам крепкий кофе, потом брожу по 10 км. с ружьем и фотоаппаратом, стреляю дичь, собираю насекомых, варю на костре в лагере пищу, кипячу чай.

Бутовский зоолог по профессии, но художник по призванию. Любитель и знаток искусства, поэзии, литературы, с детства хорошо знающий французский язык, человек большой общей культуры, любитель тонкой и острой шутки, к тому же большой мой друг, так что, когда мы лежим вечерами на наших раскладушках, у нас есть о чем поговорить. Словом, я ожил, получив необходимую мне дозу природы. А вернувшись, узнал радостную весть — святое семейство — Jeune menage (семья его сына Игоря — Н.Ч.) переезжает от меня под отчий кров супруги.

Увы, это будет тяжелым возмездием для Игоря. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, возможно, что сей кров будет тихой гаванью под нежное бренчание гитары.

И вот я опять один.

В открытых окнах мой ночной сад, три года тому назад посаженный «моею собственной рукой». В нем зреют черешни и вишни, краснеет клубника, цветут розы, белеет ромашка, распускаются пионы. Доносятся далекие шумы города и стоят близкие безмолвные горы. И я пишу Вам.

Бесконечное Вам спасибо за присланный отзыв Ахматовой (на стихи Ирины Кнорринг — Н.Ч.). Вы понимаете, как он мне дорог. Моя юность, моя любовь, да и вся моя жизнь пронизаны стихами Ахматовой. Но об этом в другой раз. Это очень большая и очень дорогая для меня тема. И я очень счастлив, хотя я здесь и ни при Чем, что вот лежит на моем столе листочек бумаги, на котором стоит подпись — Анна Ахматова, сделанная ее собственной рукой.

В этом есть какое-то завершение очень долгого и сложного

душевного пути. Спасибо Вам большое. Мне неловко навязывать Анне Андреевне мою благодарность, в этом было бы, пожалуй, что-то от profiter. Но я ей бесконечно благодарен, а ее оценка является как бы оправданием всего Ирининого творчества.

Очень целую Ваши руки.

Дружески Ваш Софиев.

**2.**

Совершенно неожиданно обнаружился Митя Кобяков! (Не очень талантливый поэт, знакомый Ю. Софиева по эмиграции, тоже вернувшийся на родину — Н. Ч.).

Обнаружился в Барнауле. Я очень рад, что он недалеко от меня и может быть откликнется на мое приглашение погостить у меня. У нас будет с ним о чем поговорить. Старик оказался необычайно деятельным: написал уже четыре книги. И, видимо, нашел издателя.

В «Просторе» № 1 помещена его вещь, в № 5 довольно обширные воспоминания о Маяковском, Бунине и т. д. А я живу рядом с редакцией и не умею, как и всю жизнь не умел, устроить свои литературные дела.

Человек он очень нелепый и, конечно, ему, как всегда, трудно с людьми, но необычайно деятельный, «старый Кобяка» много мы с ним съели пудов соли и с ним, как с Мамченко, прошагали по жизни рядом треть века, порой дружески сближаясь, расходясь, если не внешне, то внутренне, но в общем всегда оставались «добрыми друзьями». Кобяку не любили в парижских литературных кругах, был он прирожденным мистификатором и подчас не добрым шутником, но чего нельзя у него отнять — довольно яркой индивидуальности, это человек далеко с «необщим выражением лица».

Парижские друзья меня шельмовали за мою дружбу с Дмитрием, называя меня человеком неразборчивым, но я Митю и его доброе отношение ко мне не предавал. И сейчас буду очень рад его встретить. Эмигрантские святые литературные отцы очень его не жаловали. Вл. Ходасевич с присущей ему злостью ввел термин «кобяковщина», характеризующий весьма отрицательное и малодостойное литературное явление, сведя все его поэтическое творчество — к «неумному и безобразному подражанию Пастернаку», что вовсе не было ни справедливым, ни объективным суждением. Влияние Пастернака на Дмитрия отрицать нельзя, но и каждый из нас развивался под чьим-то влиянием, период ученичества проходил каждый из нас, все дело в преодолении этого влияния и в нахождении своего собственного лица.

Кобяк, действительно, совершал иногда поступки, которые были не в ладу с этикой, не прощали ему и его злой и резкий язык но по существу это, может быть, и не очень умный, не особенно талантливый, но по-хорошему добрый и не плохой человек. За ширмой кривляния и шутовства не каждый это видел, не каждый хотел это увидеть и понять. И в общем, это очень одинокий и не избалованный добрым отношением человек и с весьма, конечно, не легкой жизнью.

**3.**

За эти последние недели произошло несколько не совсем обычных событий.

21 мая, в понедельник, в 2 часа дня в большом конференц-зале Университета Валериан Семенович Баранов защищал докторскую диссертацию. Защита должна была состояться в малом зале, но собралось такое количество народу, что пришлось перейти в большой зал.

В качестве официальных оппонентов выступали трое столичных профессоров: два москвича, К.К. Флеров и Цалкин, и Габуния из Тбилиси. Все это до известной степени светила нашей палеонтологической науки.

В воскресенье их встречал Баранов, а Игорь (который тоже участвовал во встрече) был приставлен к ним в качестве гида и, так сказать, «чиновника особых поручений».

Все это Баранов сделал не без умысла. Нужно было дать им культурного гида и воспитанного интеллигентного собеседника. Баранов не ошибся — Игорь на них произвел весьма хорошее впечатление и мне была высказана масса комплиментов. Кроме того, как сказал Баранов, Габуния «любит говорить на французском». И это удовольствие было ему доставлено. По свидетельству Игоря — говорит он очень неплохо.

Словом, Баранов всячески старался создать благоприятнейшую для своей защиты атмосферу (а кстати и «похвастаться» Игорем). И нужно сказать, преуспел.

Дело в том, что из очень большого количества письменных отзывов, Флеровский был весьма сдержанным и в письме к Баранову он предупредил, что по ряду теоретических вопросов выступит с критикой. В словесном выступлении яд был очень дозирован, но однако «капал» с некоторых слов весьма явно. Из всей речи в целом можно было сделать вывод, что, мол, ценность Баранова, как ученого, не бог весть какая, но заслуга его, как создателя зоологической науки в Казахстане — безусловна.

До него этой науки в Казахстане не существовало. Им же с сотрудниками собран весьма обширный и ценный материал.

На этом в сущности акцентировали и Габуния и Цалкин.

В откровенной беседе с Игорем Габуния сказал: «Как ученый Баранов “слабенький”, но работа, проделанная им по созданию и организации палеонтологической науки в Казахстане — безусловно большая и потому он вполне заслужил свою докторскую степень».

Любопытно, что Баранов защищал по совокупности своих работ — среди этих работ не было ни одной монографии. Внешне это казалось внушительно — около 140 работ. Но из этих 140-ка статей и заметок собственно к зоологической относилось только 18 и то многие из них были написаны в соавторстве с сотрудниками.

«Что же принадлежит Баранову? Для меня это неясно», — говорилось в одном отзыве. Именно этим разбором занялся один рецензент, настроенный весьма враждебно к Баранову. Из всех отзывов это был отзыв не только отрицательный, но и уничтожающий, отрицающий самую возможность присвоения докторской степени Баранову.

***

Габуния спросил Игоря, каков Баранов человек? Почему-то для него это было важно. Игорь ответил, что не смотря на то, что при первом впечатлении Баранов кажется сухарем и педантом — человек он милейший, не лишенный общей культуры, подлинно интеллигентный, с простым, заботливым и внимательным отношением к сотрудникам.

Что до меня, Валериан Семенович мне очень симпатичен, внутренне это несомненно даже застенчивый человек. В вопросе же настоящей большой культуры il est tortale meme un pek borne.

Иногда вдруг проглядывает в нем известная «узость», свойственная многим советским интеллигентам. Как бы некая односторонность. Но, вероятно, «печать века сего».

Может быть, это и есть подлинная принципиальность. Не знаю. Мы, наше поколение, в особенности сложившееся сознательно в Европе, в частности во Франции, а, может быть, в известных кругах эмиграции уже — в конечном счете, еще восходили на дрожжах XIX в., в какой-то мере мы отравлены им, понятием гуманизма, и это понятие несколько различно от понятия гуманизма наших дней. Оно было более общим, менее конкретным выглядело, накрепко было связано с понятием терпимости (или «толерантности», как предпочитал говорить Игорь) с известной, может быть, безответственной широтой.

В его основе лежало понятие человека, человека вообще, как такового. Без эпитета, без определения.

XIX век тоже был веком борьбы, но по сравнению с нашим, все же еще бесконечно мирным веком. Конечно, вопреки всему, ибо и XIX век не пренебрегал человеческой кровью.

Оставим в стороне войны.

…Не плохо поработал на своей гильотине и Наполеон, все же подумав 4 дня, приказал расстрелять на теплом средиземноморском песке египетских берегов 8 тысяч турецких пленных, сдавшихся на честное слово о сохранении им жизни.

Через четыре дня, видимо, так и не найдя ответа на собственный разъяренный вопрос своему генералу: «А чем я их буду кормить?»

Или Герцен на своей парижской квартире, прислушивающийся с подавленной думой и разрывающимся сердцем к отдельным выстрелам и коротким залпам в (…) поверженном Париже — добивают раненых, расстреливают пленных. И бессмертные онемевшие тени на стене Пер Лашеза.

Да и я сам находил в Медонском лесу тяжелые свинцовые пули «Шампо», которых не (…) версальцы, и многое другое — да! Но не тот размах! Далеко куцему до зайца!

И гитлеровские крематории и концлагеря, с сотнями, тысячами людей, и майор американской службы Изерли, нажимающий рычаг над Хиросимой, и пр., пр., пр. — все эти «исторические факты» принадлежат нам. Майор Изерли, кстати, вдруг ставший «совестью века».

«Век девятнадцатый, железный…» Какой же эпитет придумал бы Блок, если дожил бы до наших дней, к веку XX?

По сравнению с нами, какие милые кролики все эти «знаменитые злодеи» истории — Филипп испанский, герцог Альба, Торквемада Иван Кириллович Грозный и прочая иже с ними.

Но еще не поздно — и мы можем попасть в «милые кролики», если после нас найдутся «большие исторические деятели», которые в один черный момент «во имя спасения мира», «во имя спасения человечества», «во имя спасения “свободного мира”», но, в конечном счете, «во имя взаимно всеобщего уничтожения», возьмут да и «нажмут кнопку».

Конечно, сама по себе не безынтересна деталь: после нас или при нас?

Впрочем — что значат несколько исторических секунд, выражаясь канцелярским языком, «при наличии самого факта» самоубийства человечества? Кстати, самоубийство человечества — это поклеп и передержка. Если «нажатие кнопки» совершится — это будет убийство человечества, ибо само «человечество»

вовсе не жаждет самоубийства, а очень хотело бы «мирного и благоденственного жития» на нашей голубой планете.

Убийство произойдет помимо человечества и кнопки и рычаги будут нажимать те же майоры и полковники «во имя воинского долга», «во имя исполнения приказа», во имя, во имя и во имя… И найдется ли среди них Изерли, который пошлет к черту и воинский долг, и исполнение приказ а, не post factum, а перед нажатием кнопки.

Хорошо было бы, если бы, да кабы, все на земле делалось только во имя настоящего и будущего живого человека, а не испепеленного человека и человека (…) как такового. Если бы, да кабы.

И, однако! Конечно, «Человек — это звучит гордо!» И, однако, это горьковское понятие человека опять-таки всецело принадлежит XIX веку. А что касается нас — вправе ли мы, пережив наш весьма горестный опыт и просмотрев один из потрясающих актов «человеческой комедии», не пытаться уточнить понятие человека? Понятие гуманизма? Не пытаться привести в некоторое соответствие понятие об отвлеченном человеке «вообще» (который, по нашим представлениям, обусловленным всеми ценностями духовной культуры, обязательно должен звучать гордо) с понятием о человеке реальном, конкретном, который действует в жизни и истории?

А значит опять придем к поискам эпитета?

Но я начал писать не о гуманизме, а о защите Баранова.

Результат оказался не плохой — 32 голоса «за», 2 «против» — при голосовании. Начались поздравления и лобзания. Затем человек 40 из Института (…) были приглашены на банкет в ресторане гостиницы «Казахстан». Я тоже оказался в числе приглашенных.

Собираться стали к семи часам.

Я сел на скамеечку под деревьями перед рестораном покурить и ко мне тотчас подошел А.Г. Соколов. С его обычным приветствием:

— А, Юрий Борисович! Почтение! — он присел рядом со мной. Я давно наблюдаю у этого человека какую-то очень усталую растерянность. За последнее время эта покорная усталость как-то особенно стала заметной.

Разговор был самый пустой. Мы перекинулись несколькими фразами, покурили и поднялись в ресторан. Приглашенные только-только собирались (…) Я рассказал смешную историю, произошедшую в экспедиции с Бутовским.

Бутовский со своим лаборантом Револьтом залез на чердак

колхозной бани (колхоз «Трудовик») ловить летучих мышей. Пол чердака был покрыт (…) слоем пыли. И вдруг, Револьт к великому своему изумлению заметил, что Бутовский внезапно исчез, оставив после себя, подобно средневековому дьяволу, облако дыма и пыли. Револьт ринулся к этому месту и увидел зияющую дыру. Оказалось, что Бутовский провалился и упал в женское отделение бани.

Я уверял, шутя, будто бы Бутовский свалился с потолка на моющихся женщин. На самом деле в бане никого не было. Она была закрыта. И чтобы высвободить Бутовского, Револьту пришлось бегать по колхозу и искать банщицу, у которой был ключ. Сбежался весь колхоз. И здоровый и невредимый после полета, но мохнатый от пыли и грязи Бутовский торжественно был выведен на свет божий.

Все смеялись. Смеялся и Глебыч (Соколов — Н.Ч.).

За столом мы сидели с Глебычем рядом. Он пил коньяк, но не был оживленным. Председательствовал и вел застольную беседу И.А. Долгушин — человек умный, остроумный и очень находчивый. Он тоже сидел рядом со мной, по другую сторону. Речей было много. Коротких и остроумных — (Цалкин, Габуния, сам Долгушин), длинных и путаных. Под конец, как всегда на подобных банкетах, Долгушин вытянул и меня. Я, было, стал отнекиваться, но Долгушин сказал: «А я Вам подскажу тему — говорили обо всем, скажите о коллективе».

Давая мне слово, Долгушин с веселым юмором предупредил аудиторию, что сейчас будет выступать «представитель другого мира», «капиталистическая акула» и т. д. Судя по тому, как реагировала публика, я сказал не скучно.

Я противопоставил два мира — Запад, где личность задыхается в тупике одиночества, где одиночество одна из основных тем литературы и т. д., и нас, где благодаря коллективу человек постоянно испытывает «чувство локтя», благодаря которому он не чувствует себя безнадежно затерянным в «пустыне жизни», в частности, и работа ученого, она тоже проходит при поддержке (…) коллектива и т. д, т. д.

Теперь я спрашиваю себя, что думал и испытывал Глебыч, слушая мою болтовню? Этот человек сидел рядом со мной, пил коньяк, ел, перебрасывался со мной незначительными фразами и никто из нас не мог предположить, что через два дня он пойдет на могилу своей жены (в день ее рождения), в 19 лет застрелившуюся шесть лет тому назад, и выпьет цианистый калий, предварительно написав на бутылочке свою фамилию и

служебный номер телефона — а в пятницу мы будем его хоронить.

И может быть, не одному из нас придет в голову мысль, что, вот, жил среди нас человек, и никто из нас не заметил, какие думы бродили в его голове, и что жизненные обстоятельства завели его в такой тупик, из которого он не в состоянии был найти выхода — человек слишком устал и человек не старый — 56–57 лет. И не оказалось около него ни коллектива, ни даже настоящей дружеской руки, чтобы поддержать его.

К этой судьбе небезынтересно вернуться — думается, была она сложнее, чем это многим казалось.

**4.**

(Газетная заметка «Вечер памяти Матэ Залка» в ЦДЛ в Москве, где перечисляются выступающие: А.Исбах, А. Караваева, М.Фортус, Л.Славин и другие — Н.Ч.).

**10/VI**

Среди «и другие», возможно, был и Алексей Эйснер, в особенности после недавнего опубликования в «Новом мире» его воспоминаний об Испании.

Алексей, кажется, в чине капитана был в оперативном отделе штаба Лукача (Матэ Залка) в Интербригаде.

На мое письмо Алексей так и не откликнулся (в архиве Ю.Софиева есть переписка с А. Эйснером — Н.Ч.).

Впрочем, на него это похоже. Это очень неорганизованный человек.

Кстати, скольким «богам» истово, но непродолжительно поклонялся этот человек? Безусловно талантливый, порывистый и увлекающийся искренно, но в то же время легкомысленный и неглубокий.

Я очень любил его стихи:

И в запечатанном конверте
Через поселки и поля
Несут слова любви и смерти
Размазанные штемпеля…

Насколько я знаю, он так и не издал в эмиграции (до своего отъезда в 1938 г.) своего сборника. Напечатал небольшое количество стихотворений в левых эмигрантских, главным образом пражских, журналах («Воля России», эсеровский журнал

черновской группы, «Студенческие годы» и т. д.).

В 30-х годах воевал с формализмом в журнале, издававшемся «Союзом возвращения на Родину», полемизировал со столпами вроде Ив. Бунина, резко и едко издевался над Бунинской строкой «в кустарниках трещат коровы», признаваясь, что до этих Бунинских стихов он всегда думал, что коровы мычат, и т. д.

Очень любопытно было бы его встретить теперь.

**5. 11/VI**

«Смастерить механическую куколку и называть ее честным человеком вовсе не трудно; но трудно вдохнуть в нее жизнь и заставить ее говорить по-человечески».

Отзыв Добролюбова о комедии «Чиновник» В.А.Соллогуба.

Об этом хорошо бы помнить многим нашим писателям и в особенности очеркистам, пытающимся в заданную тему втиснуть положительного героя — куколку.

(Записка: «Дорогой Юрий Борисович! Был у вас — не застал. Если позволит здоровье, приезжайте сегодня в 3–4 часа к нам.

Ив. Ант.

16. VI. 62 г. 10, 30.» — Н.Ч.).

Иван Антонович заехал за мной на своей «Победе» в 3 часа. Выяснилось — вчера ему исполнилось 45 лет. Сегодня это событие отмечается в совсем тесном кругу друзей. Мы должны были заехать за Любой и Галиной Дементьевной (?) (преподавательница музыки в Консерватории) и за ее мужем Игорем Павловичем. Любо оказалась в больнице. Г.Д. и И.П. захватили с собой. У Костиковых событие — Маруся-домработница, женщина лет 50-ти, вышла замуж, и по словам Ив. Ант. «теперь сама живет, как помещица». А найти домработницу — это проблема и Райкин ее отразил довольно точно. Так что Сашенька теперь, приходя из секретариата Президиума Академии, занимается домашним хозяйством. Но это не изменило характера лукулловских пиршеств — по слову старого моряка, «харч у Костиковых всегда выброшен в изобилии». Икра из Гурьева, копченый лещ из Арала, буженина — нежнее женских ляжек, хрен, салаты, куриный бульон, курица, коньяки и все это поистине на высоте! И, однако, несмотря на эту гастрономическую роскошь, на все очарование хозяйки — Ал. Серг. Малиновская очаровательная женщина — на прелести Нины, я все же больше люблю беседовать с Ив. Антон. В нашей

теплой мужской компании: он, я, Григорий (…) Багаев, Глебыч — теперь ушедший от нас.

**6. 17/VI**

(Длинная цитата из Шопенгауэра о сострадании как истинной основе христианства — Н.Ч.).

(…) Что мне мило в Шопенгауэре — поскольку я знаю, это единственный европейский философ, включивший в границы своей этики и животных, как бы «младших братьев» человека. Например, по учению Канта «Только человек, как разумное существо, может составлять цель нравственной деятельности».

Тогда как по Шопенгауэру — «Так как сострадание относится ко всему, что страждет, то это основание нравственности имеет и то преимущество, что оно позволяет расширить нравственный принцип настолько, чтобы принять под защиту и животных, к которым все остальные европейские системы морали относятся не извинительно дурно. Мнимое бесправие животных, тот вымысел, что наши действия относительно их не имеют нравственного значения или, говоря языком этой морали, что относительно животных нет обязанностей, — это есть именно возмутительная грубость и варварство, имеющее свой источник в (…). Философское основание для этого варварства заключается в допущении, вопреки всякой очевидности, коренного или субстанционального различия между человеком и животным, что, как известно, с наибольшей решимостью и резкостью было высказано Декартом, как необходимое следствие его заблуждений».

Конечно, Шопенгауэр не единственный.

Эту мировую симпатию, распространяемую на все живые существа, можно найти и у браминов, и у буддистов, и у христианских мистиков — «Брат мой волк» Франциска Ассизского, и как-то она очень близка нам, русским.

Тургеневская «Муму», Чеховская «Каштанка», Есенинское:

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся, на траве,
И зверей, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

И т. д., т. д.

Для меня это является одним из основных элементов моего мироощущения.

…И если сердце против смерти ропщет,
Не хочет исчезать — лишь потому,
Что любит жизнь и ощущает общность
И родственную близость ко всему.

…Как хорошо бывает жить на свете,
Когда средь нужных, и полезных дел,
Мы бережем, внимательные дети,
Сочувствие к орлу, к воде, к цветам
И нашу близость к голубой планете.

Я часто ловлю себя на одном ощущении, — на какой-то особой нежности к деревьям, к цветам. Это чувство сопряжено с каким-то взволнованным ощущением радости бытия, с родственной сопричастностью ко всему живущему.

И потом, можно ли согласиться с Кантом, что только человек есть разумное существо.

Можно ли все «действия» животных относить к рефлексу или слепому инстинкту, абсолютно лишая их разума и, может быть, своеобразной психологии.

И не кажется ли иногда — пристально наблюдая конкретного человека, что он — существо, может быть, и самое разумное (в свете доступных нам знаний), по праву занимающий высшую ступень развития, в длинной цепи от простейших к высшим, но далеко или не всегда самое хорошее из живых существ, населяющих землю.

И еще, когда я говорю:

Быть может, в водоросле синеватой
Зачато мыслящее существо,

То это мое ощущение органической родственности всего живого.

**29/VI**

Неделю на Или. Брали с собой Андрюшу. Рыбалка — неудачная. Но у Андрюши масса новых впечатлений. Жили на базе. Глюм нас кормила, как всегда, очень вкусно. Была смущена тем, что раскладка оказалась дорогой. Кормила 4-х человек.

У меня с горлом и верхними дыхательными путями творится что-то невообразимое. Потерял голос. Страшно кашляю. По утрам задыхаюсь от мокроты.

Спал на раскладушке на воздухе, во дворе базы. Интересное знакомство с Гошей — студентом 4-го курса — будущим энтомологом.

Чудесный юноша. Со всеми данными будущего ученого. У П.И. Мариковского, видимо, хорошее чутье в выборе учеников.

На базе же, кроме Глюм, два аспиранта В.Л. Шевченко — казахи. По сравнению с Гошей — чепуха. Тоже энтомологи, но Фабров (?) из них не получится. Но в ученые вылезут, диссертацию защитят. Карьера не плоха, по этой дороге можно выйти в люди и не к плохому материальному благополучию. Тем более, что для «нац. кадров» все еще делается «скидка» (на что?), снисхождение.

Один из них, Жанат — работает, но с очень тщательной дозировкой. Второго я совсем не знаю. На моих глазах он ни черта не делал. Но очень самоуверенный и трогательно примитивен.

Глюм жалуется:

— Сволочи, «колбиты проклятые» (сама она казашка!), хотя бы убрали за собой.

Я как-то сказал им:

— Ребята, вы бы хотя бы вымыли полы у себя. Грязь разводите.

А они:

— Ну, мы мужчины и нам не пристало заниматься такими делами.

И ей дали понять, кроме того, что они аспиранты («подумаешь, сволочи, великие ученые», — шумит Глюм!), а Глюм лаборантка и женщина, а следовательно, это ее прямая обязанность — убирать за ними. А у Глюм давление 125–220! Это когда она себя более-менее «хорошо» чувствует! Она проводит очень интересную и большую работу для Шевченко по сбору слепней, выводу личинок и т. д.

Я приехал и рассказал о всем Виктору Васильевичу:

— Ах, подлецы, «белоподкладочники»! Поеду в субботу и разгоню их!

И действительно, Шевченко в субботу уехал на базу.

Мне Шевченко очень симпатичен. Хороший ученый, по-настоящему культурен. Эрудит. Но медлителен, как украинский вол, и типичный «кабинетный ученый» — выбраться в поле для него труднейшая проблема.

Глюм подозревает, что В.В. не отпускает от себя жена, и тайно ревнует к Глюм.

А Глюмочка действительно прелестная женщина.

**7. 1 июля**

(По поводу письма Раисы Миллер из Парижа — Н.Ч.).

Большая она чудачка: «Приезжай навестить нас…»

Быть может, и у нас настанут нормальные времена, когда человеку, захотевшему поехать в Париж, Нью-Йорк, в Конго, в Канаду, в индию и т. д., достаточно будет пойти в аэропорт, получить билет, сесть в самолет и отправиться в путешествие, но помимо этого милая Рая совершенно не отдает себе отчета, что расстояние от Алма-Аты до Парижа приблизительно равно расстояниям Париж-Индия, Париж-Нью-Йорк, Париж-Конго и т. д. Вот и поезжай «погостить на недельку».

Дорогая Рая!

…Сегодня получил, к большой моей радости, твое письмо. Только что приехал с Или. Отдыхал неделю. Рыбачил, на машине ездил по окрестностям. Остановил работу, потому что разболелись глаза от лупы и микроскопа, а кроме того, очень скверно обстоит дело с горлом и верхними дыхательными путями (…).

Приехал, а сад за этот короткий срок обратился в джунгли. В этом году было много чудесной клубники, сейчас кусты малины усыпаны душистыми сладкими ягодами. Покупал вслепую — а оказался хороший сорт. Теперь она разрастается, пуская все новые побеги. Созрели вишни. Отцвели пионы перед окном все пестрит от розовых, фиолетовых и синих васильков, белеет ромашка, вот-вот расцветут золотые шары и флоксы, а позднее георгины. Это моя радость — вот почему не соблазняюсь я никакими городскими удобствами и не хочу менять квартиры.

Очень хорошо пошли 4 куста винограда, но ухаживать за садом и, в особенности, поливать — трудно.

Теперь я опять один. Святое семейство выехало под отчий кров жены, т. к. я решительно заявил, что детский крик в моей квартире ни в коей мере меня не устраивает.

У нас большая радость. Удалось (это уж хлопоты Ник. Ник.) в алмаатинском альманахе «Простор» напечатать несколько

стихотворений Ирины с ее портретом и небольшим предисловием Анны Ахматовой (очень для Ирины лестным).

В этой же книге проза-воспоминания Кобякова. Несет несусветную чушь о Бунине. Он недавно неожиданно обнаружился в Барнауле. В ближайшие дни приедет погостить ко мне. Я Митю люблю, не смотря на все его странности. Ведь уже 36 лет, как мы друг друга знаем. Он всегда был в нашей компании. Вернее я его связывал с моей компанией — с Мамченкой, Еленой и т. д., хотя они все его очень не любили, попрекали меня этой дружбой, но я с Митей был связан многолетней дружбой, хотя мы люди очень разные, по разному мыслящие, а Кобяков развил необычайную энергию на литературном фронте и уже настрочил четыре книги, правда, еще не появившиеся в свет, но, судя по его словам, принятые издательством.

Пишет в газетах и журналах.

Но прежде он работал инженером-практиком, так как у него нет и не было никакого диплома. Теперь всецело перешел на литературный заработок. И, удивительное дело! — существует!

Вот этого я не сумел бы сделать.

А сейчас времени для литературной работы у меня совершенно нет. Все свое время и силы отдаю ненавистным тебе «паразитам». Много у меня хлопот и по руководству моей «оформительской группой».

Ты пишешь, что я очень «изменился», променяв поэзию на «паразитов».

Но, во-первых, я поэзию ни на что не променял и по-прежнему ей служу, хотя пишу очень мало. Может быть, потому, что живу вне литературной среды. Вернее, совсем почти не пишу. На это есть, правда, и другие причины. Во всяком случае, при моем характере и при моей весьма скромной, в этой области, продуктивности — одной поэзией прожить бы я не смог. А, во-вторых, я ведь всю жизнь был по натуре натуралистом и науки, связанные с изучением природы, были всегда милы моему сердцу.

Не моя вина, что я в жизни не мог посвятить им себя. И я, конечно, счастлив, что под конец жизни могу отдать свой труд и сделать кой-какой вклад в этой области. И нужно сознаться, что мой труд и вклад весьма неплохо оценен специалистами. Слишком много было в моей жизни дилетантства. Хотя это не совсем точно — четверть века я был хорошим профессиональным рабочим, потому что всегда — это черта моего характера — что бы я не делал, мне хотелось сделать как можно лучше.

Но рисовал, как дилетант. И хотя довольно прочно вошел в зарубежную русскую поэзию, но фактически не был профессиональным литератором, может быть, был им только в

период «Советского Патриота». И вот, теперь, я стал хорошим специалистом, профессиональным научным иллюстратором, художником-микроскопистом. Неужели, по-твоему, было лучше, когда я все силы отдавал бессмысленному, тяжелому физическому труду ради скромного куска хлеба, труду, который к тому же оставлял слишком мало времени (сил-то хватало) для литературной работы.

Кстати, приходит забавная мысль:

Можно ли назвать профессиональными литераторами «поручика» Лермонтова, чиновников Грибоедова и Гончарова, дипломата Тютчева, вице-губернатора Салтыкова, инженера Гарина, педагогов Фед. Сологуба и Иннокентия Анненского? Имена, пришедшие в голову.

Что касается Кобякова — уподобиться ему я, конечно, не могу. Прежде всего в силу своего характера. Митя «печет» свою продукцию, исходя из установки — «ходко и хлестко». И преуспевает.

Для меня искусство должно быть прежде всего предельно искренним и правдивым. Всегда в какой-то мере это «исповедь автора» и, прежде всего, перед самим собой.

И если он берется за это дело с сознанием полной ответственности за каждую мысль, тогда не предаст он ни жизненной, ни художественной правды.

И, если у него не хватит таланта, чтобы создать подлинное художественное произведение, все же из-под его пера выйдет подлинно-ценный человеческий документ».

***

Читаю в «Новостях» воспоминания А. Вертинского. Весьма они мне не по душе.

Конечно, объективно писать об эмиграции, видимо, еще не настало время. Но эмиграция Вертинского — кабацкая. А по Вертинскому все зарубежье будто бы состояло из сутенеров и «dam seur mondin», которые тоже были на содержании у женщин, сенаторов-поваров, генералов-швейцаров, и ресторанных лакеев.

К счастью, я с этой «эмиграцией» почти не сталкивался, так как моя жизнь не протекала по ресторанам, для этого у меня, прежде всего, не было средств и ни малейшего желания.

Моя жизнь была трудовой, она меня связала с французским рабочим классом и это на многое открыло мне глаза, а параллельно интеллектуальная жизнь протекала в среде русской (до революции бывшей радикальной) интеллигенции в среде академической и литературной.

А с любыми, профессионально существовавшими на

«эксплуатации собственных половых органов», я не встречался никогда. Их «ареал» ограничивался «биологом» Набоковым.

Ох, эти мемуаристы! До чего они вольно обращаются с истиной!

И сколь сомнительно свидетельство этих «очевидцев».

У Кобякова в «Последнем свидании» потрясающий конец.

Как-то проходя по rue Offenbach (Бунин жил на улице Оффенбаха № 1), он «решил заглянуть к Бунину».

(Кстати, Дмитрий никогда не бывал у Буниных). Поднялся по лестнице и увидел настежь открытую дверь. Квартира была совершенно пустая. Он прошел в кабинет Ивана Алексеевича и увидел его сидящим на кушетке. В головах горела восковая свеча. По лицу Бунина ползала муха. И, вглядевшись, Дмитрий вдруг понял, что перед ним лежит мертвый Бунин. Кобяков выбежал из квартиры… «по лестнице молча поднимались черные люди — несли черный гроб». Что твой Эдгар По!

Ведь в квартире, кроме Веры Николаевны, жили еще и Ляля (бывшая жена Рощина), тут же был и Леня Зуров, а если бы ты видела, сколько народу в ней толпилось в эти траурные дни — смерти Ив. Алексеевича.

А, ведь, пожалуй, какой-нибудь поздний историк или романист, перечитывая свидетельства бунинских современников, возьмет да и соблазнится (если его подведет вкус) Митиным образом a la Эдгар По с пустой квартирой, с восковой свечечкой, с мухой, с черными людьми, поднимающимися по пустой лестнице, с черным гробом.

Я тебе рассказывал, что Бунин был великим матершинником и любил щегольнуть этим (Бунину, мол, все дозволено).

Воображаю, если бы он мог «восстать из гроба», каким «троекратным» матом покрыл бы он бедного Митю!

В свое время Эренбург очень хорошо в «Известиях» одернул Ал. Казембека, когда этот бывший «глава» эмигрантов-младороссов весьма развязно разболтался на стр. «Лит. газеты», отрицая всякое наличие какой бы то ни было культуры в Америке.

Потом «Известия» одернули Вл. Сосинского — этот, в «Литературной газете», разболтался о каком-то американском миллионере, под «гостеприимным кровом» которого Сосинский с семьей провел месяц в качестве приглашенного — а на досуге в Москве занялся описанием весьма не понравившегося ему носа хозяина и как миллионер чавкает при еде.

Заметка в «Известиях» была остроумной и острой, и, видимо, она весьма сильно подмочила литературную карьеру Володи

Сосинского.

Ты его, вероятно, знала. Это друг Вадима Андреева (сын Леонида Андреева), поэта. Они женаты на сестрах Черновых (дочери эс-эра Виктора Чернова). Вадим был моим приятелем. Сейчас он, кажется, в Женеве, но у него сов. Паспорт и он собирается вернуться на родину.

2/VII 62 г.

Письмо отправил 4/ VII.

**8.**

«Нет… ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу».

Мишель Монтень «О раскаянии».

«Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе.

Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю».

Там же.

Вслух размышлял, а не учил невежд.

Ю.С.

До чего же хорошо иногда провести вечер в беседе с Монтенем.

Удивительная вещь — сидят два человека друг против друг против друга и задушевно беседуют, как бы вслух размышляют. И что же с того, что один сидит в дубовом кресле стиля rustic, освещенный полыхающим пламенем горящих в большом камине дров, за стрельчатым окном — мягкие лесистые холмы Перигора, по склонам — веселые виноградники, а по календарю течет над миром amo domini М.С. (…); а другой сидит за столом на стуле, освещенный светом настольной электрической лампочки, перед раскрытым окном в ночной сад. И где-то близко стоят «Небесные горы», величественные и молчаливые, и течет над миром атомный век 1962-ой. И обычно два собеседника не только понимают друг друга, но мысли их созвучны и кажутся близкими,

и им уютно и хорошо друг с другом.

И как это хорошо бывает, когда человек имеет много близких друзей в разных веках и среди многих народов.

**9.**

(Автограф Анны Ахматовой, ее отзыв о стихах Ирины Кнорринг, переданный через Наталью Столярову Ю.В.Софиеву, — Н.Ч.)

«По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно, скучно на Западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой родины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие и честные стихи

Анна Ахматова

18 февраля 1962, Комарово».

(Фото девочки Зои, в платке и пальто, и подпись: «Милые мои юные друзья и мои помощницы по уборке квартиры» — Н.Ч.).

(Газетная вырезка «Реакклиматизация кулана» — Н.Ч.).

***

Эта память, как вечно звенящие, трубы…
Разбросала ты светлые кудри по мху.
Ненасытные, жаркие, властные губы
На твоем, упоительно нежном паху.

Эти синие сумерки, эти осины —
Жадной памяти вы неизбывно даны…
Заклинаю вас всей чистотой, властелины,
Неотвязные, тайно-порочные сны.

Июнь. 1962 г.

(Рисунок карандашом с подписью: «Мой портрет. Рисунок Н. Михонского. Студенческое общежитие, Неманьска 20, Белград, 1922 г. — Н.Ч.).

**10. 19/VI**

«На сон грядущий» перелистываю Пастернака.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт, свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой…

Б.Пастернак.

…Есть в опыте больших, поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть в конце, как в ересь,
В неслыханную простоту…

***

…Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.

Вообще, какая насыщенность и отсутствие воды! Какая органическая добротность стиха, крепость и, однако, какой срыв: «К концу, как…»

У Георгия Раевского шуточное: «Как к кактусу пройти?»

***

Время не скинет со счетов этого замечательного поэта. Не Раевского, конечно, а Пастернака.

***

Оглядываясь на свою собственную жизнь, в конце концов, «с кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой»!

23/VI

(Фото с подписью: «Виктор Мамченко и Елена в Медоне». Елена Лютц — Н.Ч.).

Разбирая старые бумаги.

(Тут же красный талон с буквой «R» и подписью: «Medon — Val Fleury — Javol retour» — Н.Ч.).

(Из тех же парижских лет пригласительный билет: «Объединение Русских Писателей во Франции», ВЕЧЕР ПОЭТОВ, 20-го мая, в Зале русской консерватории, 26, av. De New-York, в

вечере принимают участие следующие поэты:

Г. Адамович, А. Ладинский, С. Маковский, А. Присманова, М. Струве, Ю. Софиев, В. Смоленский, П. Ставров, Г. Раевский, Ю. Рогаля-Левицкий, Ю. Терапиано, Н. Тэффи, Л. Червинская, З. Шаховская.

Начало в 20 час. 30 мин.». От руки приписано: «На покрытие расходов 50 фр. При входе в зал» — Н.Ч.).

Обнаружил в одной из тетрадей.

«Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой…»

Вероятно, 1946-47 гг.
И вот, «иных уж нет…»
Ладинский.
Под вопросом Маковский и Монашев.
Присманова
Струве
Смоленский
Тэффи

(Фото казахстанских пейзажей с надписью: «Камыши реки Чу», «Закат над Чу», с лошадками, «фото Ю. Софиева» — Н.Ч.).

**12. 2/VII**

Вышел в сад.
Полночь.
Лают собаки.
Поселковые окна слепы.
Люди спят. Спят ромашки и маки.
Мирно спят тополя и дубы.

Ясным звездам и ветру я внемлю.
Ненасытно!
Опять и опять!
Горемычную милую землю
Так не хочется покидать!

Но чья-то чужая интонация…А, может быть, что не лучше, перепев самого себя…

**13. 3/VIII**

Действительно, чуть не упал в обморок, увидев Таин (Тая женщина, с которой у Ю.С. был роман — Н.Ч.) почерк с адресом Сахалина! Решил — уж не зарезала ли она кого-нибудь! Какая страшная и беспокойная судьба у этого человека. По-настоящему хорошего и чистого. Но этот человек с трудным характером, выросшая как дикая степная лошадка и в узде она ходить не будет.

А жизнь ее складывается трагически. И сколько же у нас таких жизней?

**3/VIII**

Из письма В. Мамченко

Я пригласил к себе Кобякова, и заболев, не успел его предупредить. Он приехал и живет у меня и каждый день навещает меня в больнице. Приехал он, конечно, не зря, т. к. устраивает свои дела в местных редакциях и издательствах. Напор у него непостижимый! Энергии, самоуверенности, а, может быть… как бы помягче выразиться?

Ну, словом, действует и действует, нужно сказать, «по-кобяковски».

Всякая «хлестаковщина» меня всегда раздражала, сомнительной мне кажется и своеобразная «кобяковщина».

Выдает себя за корреспондента «Правды» — действительно имея корреспондентскую карточку, но «Барнаульской Правды», что не совсем одно и то же. Ты уже, вероятно, получил «Простор» и видел, что он написал о Бунине?

Ведь это, бог знает, какая чушь!

Чего стоит заключительная картинка, под занавес, под Эдгара По в кавычках.

Я ему прямо сказал, что считаю это литературной нечистоплотностью — так писать. Ведь никогда Кобяков у Бунина не бывал. Но он мне заявил, что это «рассказ», а не воспоминания, что он поэт, а не мемуарист, и стал уверять будто Паустовский пришел в восторг от его рассказа о Куприне.

— А о Маяковском и о Бунине я написал гораздо лучше! — заявил Митя.

И смех, и грех!

Алма-Ата очень ему понравилась. Литературные знакомства он завел. Но хвастовство его необузданно!

Снегин, главный редактор «Простора», подарил ему свою последнюю книгу. Митя (…) карандашом сделал свои замечания

— восторженные (еще бы, ведь Снегин главный редактор) и критические. И сегодня мне заявил, будто Снегин после Митиного разбора его, снегинской, книги пришел в такой восторг, что пригласил его в «Простор» в качестве худ. редактора:

— Вот, такой редактор нам нужен!

Словом, из Барнаула он хочет перебираться в Алма-Ату. Кстати, я ему тоже советую это делать, т. к. преимущества Алма-Аты несомненны.

Чего я боюсь, зная Кобяка, и об этом я его дружески предупредил, как бы подмостки его славы не оказались шаткими.

Дал мне прочитать два своих рассказа, которые он уже отдал в «Простор» — «Русский Париж» и «Резистанс». В них я нашел такие перлы, что за голову схватился!

«В это время (это 20–30 гг.) в Париже издавалось много советских журналов (???), я редактировал “Ухват”, в нем печатались А.М. Ремизов, Вас. Шухаев, А.О. Анненков (и еще какие-то имена, которые я узнал у Ю.С.)…»

Я спрашиваю:

— Митя, какие советские журналы?

— Ну, «Парижский вестник» (?), ну, вообще и другие «просоветские»…

— Так что же твой «Ухват» без контекста тоже, выходит, был советским журналом?

— Ну, просоветским.

В «Резистансе» главный герой художник Водовозов — он сражается во всех кварталах Парижа, с ним «Степка» — русский мальчишка, а потом набирается целый детский отряд. Степка — это мой Игорь.

По словам Игоря, он столкнулся в восстании с Митей на st. Michel и единственным их «подвигом» было, когда на бульваре появился немецкий мотоциклист — они с Митей бросились в ближайшую подворотню!

Водовозов — это Кобяков. Я ему заметил, что догадываюсь: «во всех редакциях ты, конечно, даешь понять, что из “скромности” ты заменил себя “вымышленным героем”». Он смутился, но сделал вид, что не расслышал меня.

В рассказе имеется такой абзац:

«Caupa! Древний революционный клич! Ca-upa! — это гнев (по латыни: ira — гнев). Впрочем, сами французы переводят этот призыв, как «это идет, это движется».

При его полном незнании французского языка, он, оказывается, не подозревал, что это будущая форма от глагола alter — g irrais, tu iras, L ire… и ca ira принял за какой-то древний революционный клич от латинского ira — гнев.

Понадобилась французская грамматика, чтобы он эту глупость вычеркнул, причем он все-таки продолжал настаивать на своем.

Однако, сделал все поправки, на которых я настаивал, и, сославшись на то, что он случайно дал в редакцию черновики — подменил рукопись.

Я ему посоветовал, чтобы «Резистанс» он совсем изъял — куда там!

Еще курьез: на площади St Michel фигуру (над фонтаном св. Михаила, поражающую мечом поверженного дьявола, он превратил в св. Георгия, копьем поражающего дракона. И убедить его в противном не было никаких сил.

Черт знает что! Как сказал Игорь:

— Дядя Митя ничего не боится, memi pas exri eichiculi!

Сегодня я его провожал в Барнаул.

Он уехал обиженный на меня за то, что я не признал его бесспорную гениальность. Словом, Кобяк остался Кобяком!

Хотя я полагаю, что моя правка (хотя и жесткая) была подлинной дружеской услугой. Ведь, вся эта чушь могла появиться не только в «Просторе», но и в будущей (?) книге.

Книгу эту, как оказалось, после правки, пока еще ни одно издательство не приняло. В письме он мне сообщил, что у него уже принято 4 книги. На поверку оказалось, что «Детгиз» взял сокращенную «Повесть о словах», обещая ее издать в 1964 г.

После его путаных объяснений я и в этом не уверен. Что-то он и тут брешет.

Вообще он страшный чудак. Стоим у вагона. Спрашивает проводницу:

— Сегодня вечером будет чай? — (поезд уходит в 9 часов вечера). Она отвечает, что пока она проверит билеты, пока раздаст постельное белье, будет 12 часов ночи — так что чай кипятить будет поздно.

Митя:

— Ну, это для меня пустяки, в 12 ночи я пишу, до 2 ночи обычно. Только я пью не чай, а кофе.

Моя реплика:

— Зачем же ты рассказываешь девушке свою биографию, до которого часа ты пишешь и что пьешь?

Хотя отлично понимаю, как же не рассказать первому встречному — поперечному, что он «пишет», что он писатель и корреспондент «Правды». На том основании, что у него карточка корреспондента, он всюду лезет без очереди. Хотя для этого нет никакого основания. Тех, кто начинает ругаться, он не слышит, или делает вид, что не слышит; более сдержанные смотрят на

него, как на сумасшедшего старика, необычайно дикого вида!

Умора! Не удивительно, что в Барнауле — по его словам — довольно скоро вокруг него образовался некий «vakuum» — пустота, и вероятно, не совсем благожелательная. Нелепейший человек и по виду и по содержанию. Газет не читает. В нашей — жизни это явление совершенно необычайное. Одно обстоятельство вызывает у меня искреннее сочувствие и жалость. Ведь внешний мир существует для него только зрительно — он живет в абсолютной глухоте. Слухом он его не воспринимает.

Помнишь Ив. Болдырева («Мальчики и девочки»), когда он оглох, будучи молодым писателем — он застрелился. Это очень трагично.

Слуховой аппарат у Мити вмонтирован в какие-то необычайно громоздкие очки — привлекающие всеобщее внимание и любопытство. Он позволяет ему с трудом слышать собеседника и то весьма приблизительно.

Мне его жалко, потому что он очень одинок в своем глухом мире и иногда мне кажется, что под его шутовством и экстравагантностью скрыто известное смущение, горькое сознание своей, в какой-то мере, неполноценности.

В Барнауле, так же, как и в Париже, он живет без подлинно близких друзей, уже без коллектива, без человеческой теплоты и благожелательности, в каком-то очень неуютном мире.

С Ниной он фактически разошелся. Она работает врачом в тубдиспансере, где-то в Сибири. С ней их сын Сергей. Дегенерат, совершенно сумасшедший, не в переносном смысле, а просто психически больной человек. Он пытался 4 раза убить Митю и у Кобяка шрам на виске. В семейной жизни он, в сущности, глубоко несчастен. Но он полон энергии, (…) читает, работает, пишет. Он написал серию любовных стихов. Гораздо проще, чем писал раньше. И стихи не плохие, но они стали похожими на тысячи других и я подумал (вспомнив твою строчку) — плоха или хороша эта новая его манера, «если нужно так голос ломать»?

Я искренне желаю ему успеха, но ясно вижу, что при его «modus vivendi» надежды его жесточайшим образом могут рухнуть и путь его полон опаснейшими срывами. Нестерпимо его самоуверенное хвастовство, им он себя, как бы, подхлестывает и кажется, что он никогда не в состоянии увидеть себя «со стороны», чужими глазами, и в зеркале-то он видит себя таким, каким ему хочется себя видеть…

(Газетная вырезка «На свою голову» из «Казахстанской правды» за 7 августа 1962 года, об утечке бактерий «легочной чумы» из бактериологического исследовательского центра в

Портон-Даунсе (Южная Англия), о «фабрике смерти» — Н.Ч.).

Грустно, что «перед лицом подобных фактов» вся эта «всеобщая болтовня о защите мира» и т. д. становится набившей оскомину безответственной и лицемерной риторикой.

А страшная реальность идет под знаком: «Мы вынуждены…» (далее следуют тирады о защите мира) — словом — с волками жить, по-волчьи выть. А ведь, это старо, как мир, и никогда ни к чему доброму не приводило.

«Вынуждены» или не вынуждены, но если не придти к какому-то действенному, честному и, может быть не совсем приятному компромиссу и придти очень спешно, то этот обветшалый modus vivendi «с позиции силы», который, увы, практически стал всеобщим, кроме нейтральных стран, вроде старой мудрой Индии, неизбежно приведет к мечу, хотя и всем известно — это старо, как мир, — «взявший меч от него и погибнет», и на этот раз, вероятно, окончательно, вместе со всей планетой.

Что может быть глупее?

«Новое», конечно, исподволь всегда побеждает в жизни, по мере ее поступательного движения, но «старое» — цепкая штука. И что может быть страшнее и старее «старой» человеческой психологии, страшнее, потому что от нее-то не свободны и самые «новые» люди. А она-то и способствует «толчению в ступе».

Меня охватывает такой гнев и такая ненависть к этим почтенным многоученым людям, занимающимся в тиши своих лабораторий («фабрик смерти») своим гнуснейшим и мерзейшим делом и ведь опять-таки «во имя» и т. д. Вот и своди концы с концами в рассуждении о современной гуманности! И до отчаяния может довести сознание, что если «вынуждены» делать эти дела они, то «вынуждены» делать и другие.

Вот вам и сказочка про белого бычка, то ли «у попа была собака».

Единственный выход, должны же в конце концов «возмутиться народы», так сказать, volens nolens, «подлежащие неизбежному уничтожению», если не будет положен предел этой опасной и преступной игре, но, черт их дери, возмущаются они что-то довольно медленно.

И хотя и с «тревогой», но все же довольно равнодушно эти самые народы наблюдают, как с лихорадочной поспешностью изобретаются и рвутся все самые новейшие и самые совершеннейшие орудия смерти.

И совершенно еще не ясно, когда эти народы, наконец, скажут: «Мы вынуждены во имя жизни это прекратить!»

**14.**

(письмо Дмитрию Кобякову в Барнаул — Н.Ч.).

Дорогой мой Митя!

Вернулся после твоего отъезда в мою опустевшую берлогу и стало мне одиноко и грустно.

Как ты доехал? Что нашел дома?

У меня опять неожиданный гость. К знакомой семье, состоящей из трех баб, приехал друг, будущий муж одной из них. Живут они в маленькой комнате в центре города и вот, через день после твоего отъезда, поздно вечером явилась ко мне Клавдия Николаевна Морякова — это и есть мать двух дочерей, к старшей из них и приехал друг — с просьбой на несколько дней приютить приезжего.

Парень оказался интересный.

Молодой художник и начинающий писатель. Жил в Вильнюсе, печатал пустячки в местных газетах, малевал плакаты и написал роман на антирелигиозную тему, нечто вроде: «Исповедь смятенной души, нашедшей после испытаний правильный путь».

Раньше этот «религиозно-нравственный» роман должен был бы кончиться «раскрытием вечной истины» — сиречь Бога, теперь наоборот молодой человек приходит к раскрытию противоположной вечной истины — сиречь к должному материалистическому мировоззрению. Но, к счастью, это не схема, а жизнь, пережитое автором, ибо первая его жена оказалась баптисткой, начала с комсомола, а кончила молельным домом, отец ее крупный геолог, стоящий во главе каких-то геологических учреждений — тоже апостол. По утверждению парня, человек весьма «подкованный». Парня всячески пытались приобщить, приняв в семейное лоно, и к «семейной вере». Парень, было, заколебался, но, к счастью, устоял и все дело кончилось разрывом, ибо благочестивая жена, бывшая комсомолка, заявила ему, что «Бог и семья родителей ей дороже их любви».

Я не прочитал ни одной строки из его романа, но сам парень мне понравился, не особенно культурный, но мыслящий, умеющий дельно и ярко рассказывать, очень скромный, но какой-то внутренне наполненный.

Возможно, что из него и выйдет толк.

Увы, и с ним повторяется та же история, что и с тобой, в смысле издания книги. Везде находят, что тема современная, что

книга написана неплохо, одно издательство рукопись оставило и началась канитель, которая тянется не меньше года. Рецензия за рецензией, обсуждение за обсуждением. Но парень настырный, с упрямым умным лбом.

Так что видишь, дело это обычное.

Мне было очень грустно — так как я почувствовал, что ты за мои высказывания на меня немного обиделся. Видишь ли, Митя, — должен знать, что ведь более трети века я неизменно отношусь к тебе с большой дружеской привязанностью (ты сам любишь говорить, что у тебя в жизни было три близких друга: Булатович, Рожанковский и я), но в силу своего характера откровенно высказываю и всегда высказывал тебе свою собственную точку зрения, свои мысли, свои взгляды на жизнь и искусство. И если мы спорим, что совершенно неизбежно при различии наших взглядов на многие вещи, то это вовсе не значат, что мы «собачимся», по твоему выражению.

Неужели было бы лучше, если бы я смотрел тебе в рот и елейно поддакивал. При том это мое «собаченье» делается из подлинной дружеской любви к тебе. Я не всегда одобряю твой образ действий, ты это знаешь и если открыто высказываю тебе это, то, как мне кажется, не в горячке «собаченья», а, в известной мере, в порядке дружеской услуги, так как я предвижу, что многое может обернуться против тебя и подмостки твоей «славы» могут оказаться очень шаткими.

Я очень рад твоему успеху, восхищаюсь твоей энергией, и мне хотелось бы, чтобы твой успех был прочным.

Скажу тебе откровенно, без какой бы то ни было рисовки — меня всегда радовал успех близких мне людей, он никогда не рождал во мне чувство зависти, я всегда, может быть подсознательно, чувствовал: «Вот “мы” утверждаемся, продвигаемся, что-то достигаем», и именно благодаря этому ощущению этот (в конце концов, чужой успех, но это для меня-то он как раз и не был чужим) успех как-то радостно будил мою собственную энергию, побуждал меня к действию.

А ты знаешь, я, в особенности в литературных делах никогда ни настырным, ни даже энергичным, а скорее вялым. С моей точки зрения, ты действуешь не особенно разборчиво и сам даешь повод для весьма неблагоприятных по отношению к тебе чувств.

Сейчас шумит Баранов — прочитав «Простор». Это явный сукин сын. Мне всегда казалось, что этот человек способен на любую низость. Ведь я хорошо знаю его по «Советскому Патриоту». Из Москвы к нему в гости приехали Роллеры. Когда появится в печати твой Водовозов с толом под яйцами, боюсь, что

зашумят настоящие резистанцы — Роллер, Кривошеин и др. Ведь, стоит кому-нибудь припугнуть Снегина, и на твоей литературной карьере он поставит жирную точку.

Кстати, в тридцатых годах в Париже не выходило никаких советских журналов. Издательство Гржебина «Москва-Берлин» выпускало книги в Берлине. Это, кажется, и было издательство «Слово». Изд. (…) было тоже в Берлине. «Нева» — тоже. Но эти два последних были чисто эмигрантскими издательствами. «Парижский вестник», о котором ты упоминаешь, был органом «Союза возвращения на родину», т. е. просоветская газета. В конце концов, так же, как и наш «Советский Патриот».

После войны 1945–1947 гг. Посольство выпустило «Вести с родины» — это, другое дело. А ты пишешь: «В то время (в какое?) в Париже выходило много советских журналов, да еще по контексту, причисляешь к ним свой «Ухват». (А ведь «Ухват» — это начало 30-х гг.?) и, наконец, «сочинительством» — ссылкой на беллетристику — нельзя оправдать вранье, когда ты пишешь о современных тебе событиях, да еще орудуешь подлинными именами.

Может быть, я строг к тебе, потому что у меня совсем другой подход к искусству. Я никогда не мог принять формулу: «ходко и хлестко», хотя эта формула и приводит часто к сомнительному преуспеянию.

Для меня искусство должно быть, прежде всего, предельно правдиво и искренно. В какой-то мере это «исповедь автора» и, прежде всего, перед самим собой.

И если он берется за это дело с сознанием полной ответственности за каждое слово, за каждую мысль, за каждый образ, то не предаст он ни жизненной, ни художественной правды. И если у него не хватает таланта, чтобы создать подлинно художественное произведение, все же из-под его пера выйдет подлинно ценный человеческий документ.

Вот почему мне бесконечно дорог и близок Монтень, я люблю Бальзака и Стендаля и терпеть не могу Санд.

У тебя достаточно способностей и уменья, чтобы писать хорошо и интересно, если ты преодолеешь «неряшливость» во всех отношениях.

Когда ты уехал, мне стало очень грустно. Я много думал о тебе с дружеским сердечным сочувствием. Я ясно представляю себе очень нелегкий твой жизненный путь. Помню все твои семейные несчастья и беды, в силу твоего характера, да и кроме того, из-за твоей глухоты, вокруг тебя постоянно образуется некий «вакуум» — тягостная пустота одиночества, да к тому же, часто и не совсем благожелательная. Я тоже, как это ни странно,

очень одинокий человек — без личного счастья, и в старости это одиночество дает очень сильно о себе знать.

Но у меня счастливый (вероятно?) характер — я вечно окружен людьми благожелательными и хорошими, может быть, это не друзья (помнишь, Михаил Осоргин отрицал вообще множественное число от друг и друзья не одно и то же, совсем не равноценное имеют значение), а приятели, но общение с ними в какой-то мере суживает «вакуум» одиночества. Большую часть жизни я наполняю работой, которую люблю и которая приносит удовлетворение, ибо, как она не скромна, я знаю, что она нужна и полезна. Кроме того, самый процесс ее непрерывно обогащает мои знания, а это так радует и утешает в жизни.

Твоя энергия заразила меня, и после твоего отъезда я написал две статейки (мои темы), одну для Москвы, попытаюсь через Шмаринова (Николай Николаевич на днях едет в Москву) предложить в «Юный натуралист»; другую в «Новости» — эта пойдет. А в Москве не знаю (Шмаринов, известный художник, книжный иллюстратор, родственник Кнорринга — Н.Ч.).

Очень огорчился я, что так и не собрался тебя сфотографировать, нужно было сняться нам вместе, на каком-то уже новом жизненном отрезке. Очень мне обидно, что я тебя принял, в сущности, в больнице, да к тому же я сидел без денег. Но я бесконечно рад, что тебя повидал.

Крепко тебя обнимаю и искренне люблю, твой Юрий.

12/VIII

Отослал Рае «Атлас» и «Трубы».

17/VIII

Отослал письмо Кобякову и письмо Рае. Ответ не получил.

**15. 13/VIII**

За чтением Монтеня «Об искусстве собеседования».

Neque enim disoutari sine reprehensione potest

(Вообще, нельзя спорить, не опровергая противника. Цицерон).

«Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я влекусь к тому, кто противоречит мне, и тем самым учит меня». Монтень.

Это всегда было моим мотивом в спорах, попытка прежде всего понять противника, внимательное выслушивание и уразумение, чего никогда не мог понять, в наших спорах, Виктор Мамченко — фанатическая, проповедническая натура, слепая и глухая к убеждениям и резонам противника. И потому Виктор никогда не был искусным фехтовальщиком в спорах, и потому так

легко переходил на личные оскорбительные выпады, провоцируя тем самым, в конце концов, на то же и противника. И высокое искусство спора обращалось в грубую и нелепую брань — утрачивалась самая возможность убеждения и спор превращался в бессмысленное словоизвержение.

**16.**

Уважаемый Георгий Владимирович!

Вернувшись из экспедиции, обнаружил Ваше письмо. Очень благодарен за оказанное мне внимание и охотно, в меру моих весьма скромных возможностей, попытаюсь быть полезным тому большому и нужному делу, которое Вы ведете.

Оно мне, в какой-то мере, знакомо и дорого, т. к. еще в бытность мою в Париже я работал (1945–1949) в Совете «Советского Патриота» и состоял членом «Объединения работников искусства Сов. Друзей(?) во Франции» — и мне было поручено вести работу среди наших соотечественников в эмигрантской среде по привлечению к нашей деятельности литераторов, артистов, художников, хотя и не взявших советских паспортов, но, в те годы, настроенных лояльно и просоветски. Привлекать их к сотрудничеству в (…), к участию в литературных вечерах, в концертах, театральных постановках, художественных выставках и т. д. Нужно сознаться, что нам это, в те годы, в какой-то мере, удавалось и даже в довольно широких масштабах.

К сожалению, теперь, как мне сообщает мой приятель, сов. гражданин, проживающий во Франции, поэт В.А.Мамченко, многие из этих людей вновь сблизились с сугубо эмигрантской средой и принимают участие в соответствующих эмигрантских изданиях.

Кто знает, может быть, отчасти и потому, что тот центр притяжения, плох или хорош, и издания «Союза сов. (…)», который существовал в Париже в 1945–1949 гг., теперь начисто во Франции отсутствует.

Правда, все наши тогдашние учреждения носили более или менее дилетантский характер, возникали т. е. в порядке самодеятельности, но все же какую-то роль они выполняли и, как мне видится, вели полезную работу по развитию культурных связей с соотечественниками и пропаганды нашей Родины.

Право, я не знаю, чем смогу быть Вам полезен. Сейчас посылаю Вам ряд стихов, на ваш «суд и расправу», большинство из них написано еще за рубежом, может быть, Вы что-нибудь выберете.

Дело в том, сказать по правде, мерзкое состояние моего здоровья и отсутствие времени не дает мне возможности

отдаваться литературной работе, все свои силы и время я отдаю своей работе, которую люблю и которая приносит мне удовлетворение. Вот уж семь лет тому назад, сразу же по приезде в Алма-Ату, я устроился на работу художником — научным иллюстратором в Институт Зоологии АН Каз. ССР.

Я был принят с исключительным благожелательством и вниманием решительно всеми товарищами моего нового коллектива.

Широкий круг прочных дружеских связей, как-то сразу организовавшийся у меня, очень помог мне приспособиться к новым условиям жизни и работы. За эти годы эти дружеские связи выросли и окрепли.

Ряд научных трудов на моей библиотечной полке, проиллюстрированный мной (от простейших до ископаемых), позволяет мне думать, что и я внес какой-то свой, в меру моих сил и возможностей, скромный вклад в нашу советскую биологическую науку. Это сознание дает мне большую радость и удовлетворение. Я многому научился за эти годы. И мне приходится сожалеть только о том, что обстоятельства и собственные ошибки предоставили мне слишком поздно эту возможность влиться — как бы ни был мал мой труд — в общую работу строительства новой жизни на Родине. Два года тому назад я мог бы уйти на пенсию, но эта перспектива меня нисколько не занимает и не устраивает.

В настоящее время я заведую группой оформителей (художники, (…(фото-кино (…) нашего института и это открывает мне еще более широкое поле деятельности.

Я попытаюсь рассказать, еще не знаю в какой форме, как сложилась моя жизнь и известных мне по зарубежью товарищей, после нашего возвращения на родину. Быть может, это заинтересует Ваших читателей.

31/VIII
Послал 7 стихотворений
1. К другу
2. Вот нищий ждет…
3. Детство
4. Ушло у нас лет немало…
5. Память
6. Мой путь
7. В больнице.

(Карандашная, как бы черновая запись, которая начинается с полуслова, — Н.Ч.).

…или что каждое поколение связано со своим временем.

Банальная истина. (…) не всегда принимается во внимание: обычно мы (…), нельзя понять человека, не осмыслив время, в которое он жил, его эпоху. Нельзя брать отвлеченного человека, «человека вообще», выражаясь биологическим языком, нельзя осмысливать особ вне экологии, вне среды ее обитания. Мысль банальная, однако, постоянно приходится сталкиваться с суждениями о человеке «вообще».

Правда, и у нас часто палку перегибают в другую сторону — эта тенденция до конца объяснить человека искусственно существующими рамками его бытия — что неизбежно приводит к обеднению человека.

Споря с Игорем, замечаю в его (…) известное изменение, раньше так же, как Игорь, я делал убеждение на констатации того или иного подмеченного явления, теперь у меня убеждение переносится на объяснение явления. Словом, наконец-то я «дошел» до прутковского: «Смотри в корень»…

**17. 29/VIII**

(Письмо Дмитрию Кобякову в Барнаул — Н.Ч.).

Дорогой мой Митя!

На днях вернулся с Или, а через несколько дней опять уезжаю туда же. Буду не только отдыхать, но и работать. Буду писать. В дом отдыха поеду 15 сентября. Я очень рад, что ты на меня не сердишься и веришь в мое дружеское отношение к тебе.

Я действительно хочу, чтобы ты переехал в Алма-Ату, но ведь многое будет зависеть не от меня, а от тебя. Насчет Баранова — думаю, что он пошумел в узком кругу знакомых-парижан — на этом дело и кончилось. Но, вообще говоря, — мне очень не хочется тебя огорчать, но насколько я понимаю, ты, видимо, не сумел взять верный тон в «Просторе» и несколько переборщил.

Люди-то везде приблизительно одинаковые, и не думаю, чтобы «твой Барнаул» или «моя Алма-Ата» в этом отношении были бы исключением. Только ты, видимо, человек более простодушный и доверчивый и в то же время более самоуверенный, чем я.

Я — «Фома неверный», менее всего доверяю людям, которые меня хвалят или мне льстят; не верю ни словам, ни надписям, прежде чем не удостоверюсь в искренности людей по их делам. Верю только фактам — не тем словесным или письменным заявлениям, что мои вещи приятны, а когда вижу их напечатанными. Так сказать, «post factum».

Теперь ты довольно правильно суммируешь ряд фактов, но, к

сожалению, осознал их ты подлинно «post factum». В отзыве Сорокина я вижу неприятный момент раздражения против тебя. После твоего отъезда я никого из них не видел, т. к. вообще я с ними, кроме Снегина, не знаком. Да и со Снегиным встречался очень давно у Николая Николаевича (Кнорринга — Н.Ч.), один раз, так что думаю — увидев меня, он вряд ли сообразит, кто я такой. Но Николай Николаевич был в редакции после твоего отъезда два раза, по поводу своих статей. И он мог наблюдать «реакцию редакции» на твою персону.

Снегин заявил, что ты на него произвел странное впечатление «человека, свалившегося с неба». Их всех очень поразило твое настойчивое требование, чтобы твоя рукопись была принята издательством «чуть ли не в две недели», т. е. немедленно. «Неужели он не знает, что это нигде и никогда не делается» и т. д. — впрочем, в свое время, и я тебя в этом убеждал, без серьезного разбора специалистами-филологами никак она принят быть не может. Затем, видимо, в редакции нашлись и кое-какие недоброжелатели или просто люди, которым ты не понравился. Они стали говорить, что твоя «Повесть о словах» дело не новое. Все это есть и у Успенского, и у ряда других авторов. С опозданием спохватились насчет гетто, ибо кто-то из них указал на энциклопедию, где ясно сказано, что по всей Европе гетто были упразднены в XVIII веке.

Кстати, несколько излишне поспешное выражение твоего сочувствия и возмущения автору по поводу рецензии на его книгу, тоже произвело впечатление не совсем такое, какое ты ожидал.

Но худшее произошло на днях, это как раз то, чего я боялся и о чем тебя предупреждал, а именно до «Простора» дошла реакция Парижа на твое «сочинительство» Терапиано, которому «Простор» попал в руки, увидел в нем Ирину и тебя, и по «старой дружбе» катанул статью в «Русскую Мысль». Статью довольно ловкую, т. к. он «Простор» расхвалил, отметил ряд поэтов, прозу и даже рисунки, и оформление в «современном вкусе», а затем остановился весьма благожелательно на Ирине и менее благожелательно на тебе, хотя весьма, на удивление, сдержанно — избрав, так сказать, «аналитический стиль». Статью он назвал «Из дальних странствий возвратясь…» А относительно тебя расширил (…) цитату на целые две строфы.

Получение этой статьи произвело в редакции фурор, и нужно сказать, что они были весьма польщены и «вкусом», и положительными отзывами о сотрудниках, но сам понимаешь, насчет твоего «сочинительства» дело обстояло менее радужно. Какой-то твой недоброжелатель прямо заявил: «Ну, когда этот

авантюрист появится у нас, мы ему повыщипаем бороду!»

Все это мне очень неприятно тебе писать, потому что я тебе, бедолаге, весьма сочувствую. Неприятно мне, что я оказался «дурным пророком», но откровенно говоря, даже если бы твоя рукопись попала ко мне в руки до появления в «Просторе» и я бы тебе высказал мои опасения и соображения — ты бы и тогда стал настаивать на твоем праве «сочинительства». Право-то, конечно, остается твоим правом, но вопрос в том: выгодно ли для тебя им пользоваться (в твоем духе); дальновидно и разумно ли это? Думаю, что факты, и довольно печальные, сами говорят за себя.

Конечно, мир на «Просторе» не сошелся, падать духом нет никакого резона, но в будущем, как мне кажется, этот опыт следует учитывать.

Как видишь, Терапиано написал статью ловко. Разругай он «Простор» и тебя в том числе — эффект получился бы совсем иной: «Лает, мол, белогвардейская сволочь! Чего, мол, от нее и ожидать».

Этим он дал бы тебе в руки оружие защиты: «Сводит, мол, счеты». Может, это так и есть — ущипнуть Кобякова кому из них не захочется, тем более, если ты сам облегчаешь эту задачу. Но кто же теперь этому поверит? Тем более, что он почти без издевки скрупулезно доказывает сомнительность твоих утверждений, тут же — во имя, мол, объективности — указав, что о Куприне, мол, рассказано более или менее правдиво.

Ну, а насчет Бунина, «Друбецкого» (такой фамилии в природе не существует), Рощина, злосчастном гетто — между прочим, говорит приблизительно то же, что говорил тебе и я, но, конечно, в менее дружеских тонах.

Ну, черт с ними! На «Просторе» свет (клином) не сошелся, хотя меня страшная берет досада и на твое легкомыслие (я тебе еще в больнице сказал, что усматриваю в нем известную «литературную нечистоплотность»), и на твою недальновидность, и на то, что я не смог увидеть твое «сочинительство» до появления в печати. Может быть, мои высказывания тебя бы не убедили, может быть, я не сумел бы высказать тебе свое мнение со всей необходимой жесткостью, но совесть моя была бы перед тобой чиста. Ты бы убедился, что я шумлю не ради «собаченья», а ради дружбы.

P.S.

Сейчас вернулся от Ник. Ник. Он был сейчас в «Просторе». Между прочим, Плашевский попросил его послать Терапиано № 7 «Простора». В нем повесть Плашевского. Любопытно и знаменательно. Это можно назвать «развитие культурных связей с

соотечественниками»!

Говорили с Ник. Ник. о тебе. С искренний сокрушением он сказал:

Взял он саблю вострую.

Ей зарезал сам себя.

У него такое впечатление, что сейчас вряд ли время настаивать на твоих вещах. Видимо, они обозлены на тебя. А Снегин, возможно, побаивается реакции Москвы. Чем черт не шутит? Я тебе говорил, что Зуров тесно связан с московским писателем Н.П. Смирновым.

Им, не дай бог, «Простор» попадет в руки, и Эренбургу, а, конечно, попадет, так как в нем статья о «Годы, люди, книги» (жизнь?).

Задним числом они охают и ахают, как это могли допустить такую глупость с гетто и Дранси. Могут их одернуть и за эту безграмотность.

Я понимаю, тебе подгадило, но только в какой-то мере, соседство с Ириной, без нее этот номер мог бы пройти так же незаметно и тихо, как проходят все остальные. Но мог бы и не пройти из-за того же Эренбурга. Потому что в Москву они «Простор» посылают. И еще потому, что у Снегина кое с кем не совсем добрые отношения.

Стрелы могли бы быть направлены в него, а козлом отпущения стал бы ты.

Словом, Митя, думаю, что сейчас самое лучшее не спешить, а подождать ответов на твои письма Снегина и Ровенского. Они многое прояснят. Не забрасывай и их излишней почтой, а жди.

И дай времени утихомирить весь этот необычайный переполох в редакции. Видишь, люди везде люди и Плашевский, как видишь, весьма заинтересован отзывом Терапиано на его повесть в «Просторе». Sic!

А нам следует помнить, что не только от Хроноса, но и часто от наших собственных ошибок зависит: — «Sic transct qloria mundi».

Пока что не прерывай отношений с твоей редакцией и не перебарщивай, не закусывай удила. Дело-то не принципиальное и сугубо личное. А кроме того, ведь ты же, слава богу, не хуже меня знаешь — литературная среда, трудная (мягко выражаясь) среда. На любой точке земного шара сидит она плотно вокруг вкусного пирогами не особенно любит раздвигаться. А насчет «падающего толкни» — будь здоров!

Все это весьма мерзко, но faire ta — que.

Что касается меня — в Берлин я посылал на пробу 6 стихотворений (старых), но пока что не льщу себя никакой

надеждой. «Будем посмотреть». Если подойдут, напишу о моей жизни на Родине. Но я не умею и определенно не хочу потрафлять вкусам, чьим бы то ни было. Буду писать так, как чувствую, думаю, вижу. Ник. Ник. как-то сказал мне, что мне изо всех нас больше всего повезло, т. к. у меня есть «немая» профессия, и нужно сказать, весьма любезная моему сердцу — во-первых, я действительно люблю зоологию и по натуре натуралист, а во-вторых, люблю рисовать. Но я льщу себя надеждой, что у меня кроме того есть чувство современности и я нашу современность принимая, понимаю и люблю. И еще, кроме того, на любом этапе моей жизни и на любом новом месте всегда «обрастал» друзьями и книгами. Ну, а в свое время «друзьями» — женщинами. И тоже, вероятно, потому, что к людям я тянусь и людей, в общем, люблю. Но у меня есть и большой недостаток — отсутствие «ершистости». Правда, до тех пор, пока меня не разозлят. С очень ранних лет жизнь приучила меня к большой сдержанности и выдержке, и я, пожалуй, за это ей благодарен, но эта же жизнь и исковеркала меня немало.

Вот, видишь, на этот раз я чрезмерно болтаю (…). Это, вероятно, потому, что всегда помню, что и я в жизни делал очень много больших глупостей и был за это жизнью бит.

Кроме того, тут приличествовало бы привести длинную цитату из любезного мне Монтеня: «О раскаянии»:

«…Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать, и не впадая в нескромность, говорить о себе». Amen! Ну, вот, любезный друг мой, крепко тебя обнимаю. Юрий.

30/VIII

Вышли в великолепном издании «Птицы Казахстана»

Авторы презентовали мне его с трогательной надписью: «Дорогому Юрию Борисовичу Софиеву в знак дружбы и уважения с особой признательностью благодарные авторы». Долгушин, Корелов, Гаврин, Кульшина.

В нем 86 моих рисунков и 43 в I томе.

12/ IX Вернулся с Или.
14/ IX Отправил письмо П.П. Бибе(?) в Джамбул
15/ IX Отослал письмо Мамченко, Рае.
17/IX Уехал в дом отдыха Каргалинка.
26/ IX Вернулся домой.

Прочитал в доме отдыха в «Новом мире» III часть «Годы,

люди, жизнь» Эренбурга — очень хорошо. Очень хороши у него «сердца горестные заметы». В «Новом мире» за 60-й год «Сестра моя, Болгария» Алеши Эйснера — живо и талантливо. К сожалению, не было окончания.

Рассказы Андерсена-Нексе. Понравилось «Кукла», В. Стасова — «Статьи и заметки». В частности, о М.П.Третьякове и его галерее.

**18.**

Улита едет — когда-то будет.

Для людей, привыкших печататься за рубежом, до чего удивительны наши темпы! В августе 61 года Павлов мне сообщил, что стихи мои будет печататься в «Рыболов-спортсмен». В сентябре 1962 г. получено извещение, что моя рукопись (одно несчастное стихотворение) «Подготовлена к печати» в альманахе «РС» № 19. На днях узнал в книжном магазине, что на следующей неделе поступит в продажу «РС» № 17, а за № 17 «Охот Пр.», где помещено «В камышах Чу», я получил гонорар еще в конце августа! — еще ни слуху ни духу. В продаже имеется только № 16 1960 г. Словом, № 19 вероятно появится года через два, в крайнем случае! А должны они выпускать по два альманаха в год –17,18,19, 20 — 1962 г.

Слава богу, что покуда-то они присылают сразу после «подготовки к печати». Книга о Дунаевском — «подготавливалась к печати» — 5 лет!

Совершенно не понимаю, чем это объясняется: наши академические издания все-таки выходят из года в год регулярно.

27/ IX Ответил Мите
2/ X Отправил письмо Лене
Отправил письмо Кобякову.

(Приклеена машинописная статья Ю.Терапиано «Из дальних странствий возвратясь», из «Русской мысли», № 8, 1962 г., Париж, где идет разбор публикаций «Простора» за июнь 1962 г. и где резко критикуются воспоминания Дм. Кобякова о Бунине — Н.Ч.).

«Передо мной июньский выпуск казахстанского журнала «Простор» — «литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал Союза писателей Казахстана», издающийся в Алма-Ате, столице Казахстана.

Рисунки, заголовки, репродукции, шрифт — сделаны с современным вкусом, литературный отдел, в общем, тоже на неплохом уровне.

Отмечу стихи казахстанской поэтессы Турсынхан Абдрахмановой (пишет стихи с 1954 года, автор трех сборников стихотворений), полные восточного своеобразия, претворенного по законам новой русской поэзии. Хотя в переводе (хорошо сделанном Федором Моргуном), конечно, часть очарований стихотворений пропадает, все же общий тон Абдрахмановой и ее интонации до нас доходят.

Другой казахстанский поэт, О.Сулейменов, вероятно, очень порадовал бы своим стихотворением «У памятника неизвестному солдату» Н.Берберову, стремящуюся направить новейшую поэзию по пути современной западной. О.Сулейменов пишет без рифм, образы его ассоциативно стремятся вызвать ряд «приближающихся» образов, стихотворение растянуто, как и полагается тем, кто следует, например, за Элиотом.

Отдел прозы содержит «Документальную» повесть Ф. Егорова из эпохи последней войны — «Встретимся в Берлине» и переводной рассказ восточно-германского писателя Г. Продоля «Тюбик губной помады» с искусно запутанным авантюрно-шпионским содержанием.

В отделе «критика, библиография» — содержательная статья о творчестве М.Шолохова, И.Омарова («Заметки читателя») и статья Х. Алибаева о воспоминаниях И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (книга I и II и помещенная в «Новом мире» книга III).

ХАлибаев подробно разбирает отдельные главы книги Эренбурга, отмечая его уменье делать портреты писателей, поэтов и художников, русских и иностранных, и в то же время касаться многих других вопросов порядка художественного, общественного и национально-политического.

Петр Гавриленко в очерке «Месяц в станице Вешенской» рассказывает о М. Шолохове. К очерку приложено несколько репродукций: Шолохов на охоте, Шолохов с внуком Андрюшей, держащий убитого селезня, и Шолохов с двумя другими охотниками под стогом сена.

Интересны также «Страницы истории» — о прошлом Алма-Аты и об истории этого древнего края.

Сделав беглый обзор шестого выпуска этого журнала, перейду к неожиданной встрече, на страницах литературного отдела, с двумя «парижанами», бывшими членами «Союза молодых поэтов и писателей в Париже» и участниками монпарнасской жизни.

Это, во-первых, покойная поэтесса Ирина Кнорринг, автор двух сборников стихов, изданных при ее жизни, и третьего, вышедшего посмертно в 1949 году.

Краткая биографическая заметка рассказывает о горькой судьбе Ирины Кнорринг, о ее трудной эмигрантской жизни,

осложненной тяжелой, хронической болезнью, от которой И. Кнорринг и умерла в 1943 году, во время оккупации немцами Парижа.

Затем следует семь стихотворений Ирины Кнорринг разных лет, полные грусти, тоски по родине и ощущения обреченности — И. Кнорринг сознавала, что ей лично никогда не удастся дожить до лучших времен.

Стихам Ирины Кнорринг отзыв о ее поэзии Анны Ахматовой, датированный 24 марта 1962 года (Ленинград) — его с радостью прочтут те «парижане», которые любили стихи Ирины Кнорринг — привожу его полностью:

«По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно, скучно на Западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой родины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие и честные стихи.

Анна Ахматова».

Крыловская строчка «Из дальних странствий возвратясь», пришедшая ко мне из «запаса памяти», в приложении к судьбе Ирины Кнорринг, звучит лирически и трагически.

— Вся зарубежная литература — в дальнем странствии — и сколько еще книг, написанных на берегах Сены, со временем вернется к своему народу?

Зато писания другого бывшего «парижанина» Дмитрия Кобякова заставили вспомнить другие строчки басни Крылова:

> Из дальних странствий возвратись.
> Какой-то дворянин (а, может быть, и князь)
> С приятелем своим, пешком, гуляя в поле,
> Расхвастался о том, где он бывал
> И к былям небылиц без счета прилагал…

«Встреча с Маяковским», «Вечер в Париже» и особенно «Последнее свидание» Д. Кобякова во многих местах похожи на повествование «вышеозначенного дворянина».

«Встреча с Маяковским», которому Д.Кобяков, как Вергилий Данте, показывает парижский «ад еврейского квартала», мы принуждены верить — за отсутствием иных свидетелей.

Может быть, действительно Маяковский и ударил «наотмашь, изо всей силы палкой по загремевшей трубе с афишами «Фоли Бержер» и «Казино де Пари» (с полуобнаженными дивами),

расклеенными в этом большом квартале, хотя обычно такие афиши

расклеивают на «Больших Бульварах», на «Елисейских полях» и т. д., — там, где есть клиенты.

А квартал этот парижане знают: бедный квартал, вывески на еврейском языке, еврейские булочные и гастрономические магазины, но все же дома там — как во всех бедных кварталах Парижа, неказистые, старые, но приличные. Поэтому картина нищеты и грязи, какую изобразил Кобяков, — преувеличена.

А немцы не устраивали в еврейском квартале Парижа гетто, они хватали и свозили в Дранси (в лагерь) для «отправки» в неизвестном направлении «всех евреев» — бедняков из еврейского квартала, и богачей из аристократических «Пасси» и «Отей».

Что же касается до лачуг и грязи, то в те годы можно было показать места много хуже «еврейского квартала» — так называемую «Зону» на окраинах Парижа, где люди действительно ютились не в домах (пусть старых и давно не ремонтированных), а в полуразбитых вагонах и хибарках, построенных из грязных досок и заржавленных железных листов — теперь эта «Зона» уже не существует.

Во втором рассказе — «Вечер в Париже» Кобяков верно изображает Куприна и его тоску по России. Андрей Седых в своей книге «Далекие, близкие» тоже говорит об этом.

Куприна, как известно, увезли в советскую Россию совсем больного и уже плохо соображавшего, но — подчеркивает Андрей Седых — «было бы ошибочно думать, что эта последняя, трагическая поездка Куприна не соответствовала его сокровенным желаниям».

Иное — о Бунине. Слова, которые, якобы, Куприн сказал Кобякову о настроении Бунина, вызывают большие сомнения.

«— Вы знаете, — и он хитро посмотрел на меня, — пишет Кобяков, — ведь Бунин очень хочет ехать домой, даже шаги какие-то предпринимал и очень боится, чтобы об этом не узнали».

Бунин в то время как раз был настроен особо антисоветски, все это знали, возвращаться в Советскую Россию не собирался и, конечно, «шагов» не предпринимал.

Вообще, как только дело доходит до Бунина, и в следующем рассказе Кобякова «Последнее свидание» появляется все больше и больше неувязок.

Начнем с того, что до получения Нобелевской премии Бунин был крайне стеснен в средствах и вряд ли мог позволить себе посещать дорогие русские рестораны с артистической программой, где бутылка шампанского стоила «целое состояние»

и все цены были доступны только очень богатым иностранцам

Второе, хотя Бунин и был всегда любезен (а порой даже и очень мил) с представителями «эмигрантского поколения» (т. е. поэтов и писателей, начавших писать уже в эмиграции), несмотря на то, что многие из них бывали у него на дому и часто встречались с ним, например, на «воскресеньях» у Мережковских, сидеть запросто с Буниным в очень дорогом ресторане «молодым», помнится, не случалось.

Бунин вне литературных собраний бывал всюду в среде своих сверстников — писателей старшего поколения или своих личных друзей — с последними «молодые», естественно, не имели ничего общего.

Рощин, не очень талантливый писатель, подражавший Бунину, действительно увивался около него — но где было нищему Рощину посещать дорогие рестораны?

Далее у Кобякова начинается уже совсем какая-то ерунда.

Княгиня (в русском ресторане, в представлении Кобякова, должны были сидеть князья и княгини, хотя у большинства из них средств для посещения дорогих ресторанов тоже не было), глядя на Бунина изрекает: — «Так это и есть Бунин? Совсем не похож! — категорически заявила княгиня, рассматривая писателя сквозь лорнет. — Какой он маленький. Вот так гигант русской литературы!»

В эпоху «Возрождения», т. е. с 1927 года в Париже всякий мало-мальски культурный эмигрант знал Бунина в лицо — ведь Бунин устраивал свои литературные чтения и постоянно бывал на всех литературных собраниях и в «Зеленой Лампе».

Его высокая стройная фигура, его гордый «бунинский» профиль был знаком всем и нужно было быть исключительно подслеповатой дурой, чтобы воскликнуть: «Какой он маленький!»

Далее, фраза: — Да, Рощин! Пишет в «Возрождении», а говорят про него «большевистский шпион». В то время, в двадцать годах, — сплошной вымысел.

Рощин бывал в правых кругах, писал в правом «Возрождении», считался правым среди своих коллег по Монпарнасу никому в голову не могло придти, что потом, после войны, он примет советское подданство. К тому же Рощин («Кто? Рощин» у Кобякова) вовсе не был столь видным писателем, чтобы о нем спрашивали: «Кто?»

Далее, минуя явно взятого на прокат у Толстого «Друбецкого» (Друбецких не существует), якобы поносившего Бунина в том же ресторане («Большевик ваш Бунин! Пишет сейчас в поганых жидо-масонских «Новостях» — Бунин тогда писал в «Возрождении») совершенно невозможен Кобяковым эпизод с «Мадемуазель

Дени», якобы раздевавшейся донага под музыку на глазах у публики в русском ресторане. «Strip tease» (и сейчас, конечно, не в ресторанах, а в специальных учреждениях) появился во Франции только после войны. А в довоенное время за такой «номер» ресторан закрыли бы немедленно, да еще русский!

Плевицкая, как известно, имела не очень сильный голос и пела всегда только русские песни. У Кобякова же она поет цыганские романсы.

«Рощин расплачивался с подбежавшим лакеем…» — откуда у него такие деньги?

Говорить о Нобелевской премии — кому ее дадут? — в то время никто из русских не стал бы. «Нобелевкой» (у Кобякова, какое словечко!) просто никто не интересовался и, конечно, не мог предугадать, кому ее присудят через несколько лет, в 1933 году.

Французские журналисты в то время были абсолютно равнодушны к Бунину и к другим русским эмигрантским писателям кроме Мережковского, который один из всех писателей-эмигрантов был еще до революции известен французам.

Поэтому никаких «бокалов» они тогда не протягивали Бунину в «Ротонде» (русские писатели и поэты в то время собирались к тому же не в «Ротонде») и даже после получения Буниным Нобелевской премии о таких импровизированных чествованиях

мы что-то не слыхивали.

«В нашем советском лагере» во время войны Бунин не был. Как русский патриот, подобно многим другим эмигрантам, отнюдь не (…) вечную Россию от гитлеровского завоевания. Это отнюдь не означает «быть в советском лагере». После войны сам Бунин, когда некоторые лица стали распространять слухи о том, что он, якобы, хочет вернуться в Советскую Россию, яростно опровергал эти слухи и в печати, и в частных письмах.

Наконец, «последнее свидание» — когда Бунин лежал мертвым в своей квартире, двери в которую, якобы, были открыты, — «вошел в переднюю. В комнате ни души» — тоже какое-то странное.

Сам Кобяков говорит, что когда он выходил из квартиры, «навстречу подымались черные люди. Они несли боком открытый гроб».

Получается, что к моменту положения Бунина во гроб в квартире не было ни души — ни Веры Николаевны, ни Л. Зурова, ни священника и никого из многочисленных друзей и почитателей!

На этом мы и распрощаемся с воспоминаниями Д.Кобякова.

Ю. Терапиано».

**19. На Или, с 1 по 14 сентября. Из Илийской тетради.**

Вернулся из кино. Хорошая картина. По-настоящему забавная, с чувством меры. Хороший юмор. Наша. Чудесная девушка Клава. И когда увидел ее лежащую на кровати и мечтающую, вдруг, понял — поразительно похожа на Таю.

А когда выходил, заметил, что за мной сидела славная молодая женщина, с коротко, по-мужски подстриженными волосами. Она шла впереди с подругой. Голос — богатый интонациями. Я их обогнал. Глупо, что я обращаю внимание на такие вещи!

А придя на базу, подумал: как хорошо было бы начать жизнь сначала! И понял — лучше, что не хожу в кино, в театры и вообще не вылезаю из своей берлоги — жизнь ограничена рабочим столом и письменным столом дома. Настольная лампа. Оказывается, так меньше чувствуешь, что жизнь прошла, меньше чувствуешь свое беспросветное одиночество.

**20. 5\ IX**

Странно, вчера, вдруг, ни с того ни с чего написал два стихотворения.

Уже в темноте сидел на дворе базы на перевернутой старой лодке и, вдруг, какая-то машина осветила меня сзади фарами. И по белой стене доплыла, какая-то раздвоенная, моя тень. Машина прошла и снова наступила темнота. Молодой туманный месяц — кое-где по нему тонкие тучи — в резкой развилке сухого карагача.

Потом писал для «РН» о поведении скарабея. Вообще-то, изумительная вещь! От пистиннга — к разуму. Правда, это требует больших и трудных доказательств. Постоянный соблазн антропоморфизма. Уж очень нам хочется найти единство мира и в этом плане — «общую почву для “взаимопонимания”».

Началось с того, что обнаружил на базе забытую кем-то книгу «Труды всесоюзного анатомического общества. 45 т. 1956 г.». В ней нашел статью Пузановой-Малышевой «Поведение жука скарабея». Любопытные опыты с прикалыванием шара — правда, повторение фабёровских.

Вспомнил Фабера. Свои наблюдения в апрельской экспедиции. Беседа с Мариковским и Бутовским. Выводы П — Мал.: «Цепной или сериальный характер деятельности, столь типичный для сложных инстинктов насекомых, в поведении скарабея оказался затушеванным».

Захотелось рассказать обо всем этом читателям «РН».

По вечерам пишу при свече! Так как пароходство обрезало на базе электричество, за неуплату — подумать только, всего 10 рублей, а плательщики Академия Наук! И все-таки обрезали.

Откуда-то, издалека — ночные песни. Звонкие девичьи голоса. Чаще с металлическим звучанием.

И уж когда лег, случилось неожиданно стихотворение. Встал, зажег свечу и записал его. Побоялся на утро забыть.

***

Это тень моя — черной тушью
Поплыла по белой стене.
Кто-то фарой ночной нарушил
Задумчивость в тишине.

Как странно следить за тенью,
От меня ускользающей в ночь.
Многих, многих мое ослепленье
От меня уводило прочь.

Пронеслись слепящие фары.
Посерела, потухла стена.
И опять — усталый и старый,
Сижу и курю.
Ти-ши-на.

**21. 6/XI**

Сегодня днем неожиданно написал «Старая лодка»

На опрокинутой старой лодке
Сижу.
Рассохлась лодка. Стара!
А киль у лодки острый и ходкий,
Но в кузове дряхлом — дыра.
И лежит она на дворе базы,
Как никому не нужный хлам.
Никто ее дел не вспомнит ни разу,
Толкнет лодку ногой вечный хам.

А ведь было время — по весенним разливам,
По широким рекам — легка и гордая —
Носила людей, больших и счастливых,
И ласково пела за бортом вода.

Видела лодка и горе, и радости,
И из беды выносила людей.
Что ж, старый друг, нет больше надобности,
Людям в службе твоей…

Странное дело — всю жизнь я писал строго выдержанными правильными размерами, а сейчас хочется их ломать без всякой системы, «как поется». Стихи «так себе», но с какой-то неопределенной грустью, может быть, с внутренней взволнованностью «второго плана», «подтекста». Стихи ведь, в общем, не о любви, а о человеческой жизни.

Удивительнее всего, что я их опять пишу. А, может быть, потому что в эти пятнадцать дней «ушли все заботы». И я наедине с природой. В кажущемся безделье. (Пушкинская «праздность», необходимая творчеству).

Хотя после каждого кажется, что последнее, что после него ахматовская «непоправимо белая страница».

Впрочем, и Ахматова, после «непоправимо белой страницы» пишет и пишет себе на здоровье!

То же и у Пастернака:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной Немотой.

Но это не кокетство. Это верное и подлинное чувство поэта, а не версификатора. У версификатора его не может быть. Этот строчит — будь здоров! На всякий очередной случай.

Космонавт — даешь космонавта!

Уборка урожая — даешь уборку!

Борьба за мир — даешь борьбу за мир!

Куба — даешь Кубу!

Лумумба — даешь Лумумбу!

Словом, эти реагируют на современность автоматически,

незамедлительно и в полной мере. А сколько бумаги уходит на эти «ложноклассические» вирши. И какое беспощадное отношение к читателю. Впрочем — читают ли их?

В Илийске стал необычно много курить — зарез для меня.

У меня, как мне кажется, — лучшие концовки, две последние строчки:

Какая это мутная тоска,
Так унизительно искать бессмертья.

Чтобы в последней написать строке:
Земную жизнь любить не перестану.

Любил как в речи, так и на бумаге
Простые и наивные слова.

И даже ты, ведь так и не узнаешь,
Как я томился, бедствовал, любил…

И т. д., что пришло в голову.

Стихи Роберта Рождественского «Спор», «Улыбка» и т. д. Интересно, не сын ли он Всеволода? (Приклеен рисунок-шарж на Р. Рождественского — Н.Ч.).

«…И приходят ребята,
Глаза свои щурят.
Не простые ребята,
Зубастые, как щуки.
Их уж очень много».

«И не надо стыдиться,
Что память людскую
Знобит, —
— Мы когда-то не так улыбались.
Улыбались растерянно,
Улыбались сквозь слезы, —
Разве можно такое забыть?»

— А все-таки, все вы, друзья, (поете) в полголоса, у всех у вас хвосты поприжаты. А жаль, потому что голоса есть сильные, чистые. Вознесенский, Евтушенко, Л.Мартынов и др. И невольно вспоминается Монтень:

«Я говорю правду не всегда до конца, но постольку, поскольку осмеливаюсь…» То-то и оно-то. Настанет ли когда-нибудь для русской литературы время, когда цензура (какая бы она ни была) будет упразднена окончательно и бесповоротно, как нечто оскорбляющее достоинство Человека?

***

Не могу я смотреть без волненья
На летящую тень от крыла;
На бегущие через селенья
Поезда, иль на взмахи весла.
Сколько было путей исхожено
По неволе и по добру.
Сколько было костров разложено
И у рек голубых и в бору.

Сколько раз волна океанская
У палатки билась моей.
В общем — это почти цыганская —
Жизнь извечно зовущих путей.

В детстве Сашкою Жигулевым
Перепрыгнул через плетень.
Эх, дороги жизни суровой —
Голубая плывущая тень.

А кто знает теперь Андреевского «Сашку Жигулева» — одна из лучших вещей Андреева.

**22. 4/X**

Иван Васильевич. Устроился кладовщиком. Поворовывает, но так, соблюдая, по его словам, меру. Однако на поллитра хватает каждый день. Получает немного, 55 + 45 пенсии. Инвалид войны. Танкист. Офицер резерва. Горел в танке. Потерял глаз.

Русский богатырь. Жена работает уборщицей в К.Г.Б. Вероятно, имеет 40 р., 6-ти летняя дочка.

За поллитрой:

— Живу я один раз и на… мне все остальное а жизни нет!

Словом — счастливое завтра его мало устраивает. Откровенная философия мещанства, но имя-то им — легион!

И может ли обыкновенный, средний человек — имя которого тоже легион — жить «завтра», если оно отодвигается за предел жизни?

Иван — читающий человек. Перебрал у меня в библиотеке массу книг. Любит Есенина. Даже цитирует. Восторженно отзывается об Эренбурге. На фронте его стихи имели большой успех.

— Вот мой учитель говорил мне: «Прочитай Толстого!» Я говорю: их три, а ты всех трех прочитай, прочитай классиков — вот и поймешь жизнь. — Иван возводит руками как бы пирамиду и говорит: — А как ее понять, жизнь-то?

Но современная газетная публицистика — приводит его в ярость, как и многих.

— Ведь врут без зазрения совести, славословят! А ведь жизнь-то у нас, у работяг, — трудная.

Беда в том, что человеку свойственно сравнивать, оценивать свой собственный жизненный опыт, свой отрезок времени, и, если он видит улучшение жизни и своей собственной в особенности, он это дело одобряет. Да и то — прошедшие, пережитые трудности временем сглаживаются, забываются, и, не смотря на то, что уровень жизни у человека, объективно, растет, новые трудности — искажают перспективу.

На моих глазах за 7 лет жизнь очень изменилась и к лучшему. Стало гораздо легче жить — в смысле питания, ширпотреба и т. д. Но затруднения наших дней, естественно, вызывают скулеж.

Я не говорю уж о мире интеллигентного человека. От времен, когда, по словам Бабеля «откровенно разговаривать можно было

только с женой, ночью и то закрыв голову одеялом», до наших дней — дистанция огромного размера.

Но наша система, конечно, ставит проблемы очень сложного характера. Растет и усложняется духовный мир интеллигентного человека, особенно молодых, и естественно, ставит все новые и новые проблемы, раздумья и искания. В этом и есть движение жизни.

Новые деньги на практике несомненно привели к росту цен, в особенности, на базаре. Качан вареной кукурузы стоил 50 коп., теперь дерут 15–25 коп., сиречь 1,5–2,5 рубля! Меньше 10 коп. никому не придет в голову взять за пучок луку или редиски, а будет это 1 рубль. Веник стоил 5–6 рублей, а теперь 1 руб. (10 рублей). А эти копейки расходятся совершенно незаметно. 90 коп. — чепуха, а ведь прежде чем заплатить 9 рублей, я, может быть, и подумаю. Повысились цены и официально. Теперь ввели ограничение с покупкой хлеба. Существовал, мол, — qaspillaqe. Но, конечно, все понимают, что все вызвано сложностью современной и внутренней, и внешней обстановки.

Поднять уровень сельского хозяйства — вещь нелегкая. Избавиться от гонки вооружений мы тоже не можем. Хлеб — это наша валюта, и т. д. А обывателя все это раздражает.

Положение, конечно, не из легких. Америка хочет задушить нас экономикой. Рассчитывая, что ее экономика крепче и может выдержать больше.

Кроме того, гонка вооружений (хоть это и не экономика) спасает ее от армии безработных и поддерживает ее экономику на военных заказах — на известном уровне. Америка надеется, что наша гонка вооружений если и не подорвет нашу экономику, то во всяком случае заморозит, а то и снизит уровень нашей жизни, то, естественно, вызовет недовольство среди населения. Помешает нашему мирному строительству, улучшению жизни. А сейчас очень трудно убедить население во всем мире, что «пушки лучше масла».

В общем: давлеет дневе злоба его.

Все больше и больше людей понимает, что пушки стали полной бессмыслицей. Ведь эти страшные орудия разрушения фабрикуются с мыслью, которая не может не быть в глубине сознания, что пустить их в дело нельзя. Ибо единственный результат ядерной войны — всеобщее самоубийство. Гибель планеты. Но помимо «случайности», «роковой ошибки», разве нет на земле маньяков и безумцев? Разве мир гарантирован от них? Пока существуют узаконенные государством и обществом профессиональные убийцы в генеральских погонах, разве можно быть спокойным, что не произойдет роковой ошибки? Нападение

и оборона, «справедливые» и «несправедливые» войны в равной мере требуют «науки об уничтожении противника», «об истреблении людей». Все, включая мирное население, стало «военным объектом». Потенциал разрушения вырос до таких размеров, что сделал войну невозможной. В конце концов, все это понимают, а, однако, мир, может быть, психологически никогда не был так далек от разоружения, как в наши дни.

И вся эта болтовня в Женеве и в ООН — бесстыдное лицемерие. И бесплоднейшие попытки пока все стоят на той же «позиции силы». Бессмысленная «сила». Бессмысленная «позиция». Смехотворнее всего политика Де Голля и Аденауэра — «третья сдерживающая сила».

Кого она может сдержать?

Сколько бы лягушка не тужилась, до вола ей далеко и до нас, и до Америки. К чему, кроме идиотской гонки вооружений, может это привести? Кого убедить в результате подобной политики? Ну, а «aire ta que?»

Надежда Александровна Теффи поистине обессмертила это выдуманное ею выражение. Бессмертен образ генерала-эмигранта (…) p.d.l. Concnole. Да, все это прекрасно. Но que faire! К Faire ta que?

Вот именно.

Из Илийской тетради (разговор с самим собой).

Все это так, все это так. Согласен.
По-прежнему волнует, и томит
Вечерний луч, что за рекою гаснет,
Весенний ветер, что с полей летит.

И все же — ловит слух (с каких-то пор)
В светящемся окне, иль за оградой
Счастливый смех и тихий разговор.
Ну, словом — сердце, бьющееся рядом.

По-прежнему шатаюсь по болотам,
По-прежнему слежу за поплавком,
Пишу стихи, сижу за микроскопом, —
Но радость полную — несут вдвоем.

А творчество? — Как некий клад большой
Его открыл в далеком детстве я.
Пронес и в странствиях и в бедствиях.
До старости по-прежнему со мной.

Все это так. И все это бесспорно.
Однако, на исходе трудных дней,
Как все же беспощадно и жестоко
Глухое одиночество ночей.

5/IX. Илийская база.

На реке

Подошел. Поздоровался. Рядом
Сел.
Стал налаживать снасть.
Поворчал на червей — дохнут, гады! —
Эх, рыбацкая наша страсть.

У него бородища рыжая.
Ну, а мускулы — кожу рвут.
Вот смотрю на него и вижу я:
Эту силищу — не сомнут.

Ну, а он с недоброй усмешечкой
Критикует и матом гнет.
Нелегко раскусить орешечек,
Что к чему и куда ведет.

Вижу — в теле дыры залатаны,
И рубцов, пожалуй, не счесть.
Тут и пулями, тут и гранатами.
Защищал, видно, славу и честь.

Оказалось, что после Монголии,
Через Курскую нашу Дугу,
В майский день повалялся вволю
Он на шпреевском берегу.

А потом не спеша стал рассказывать,
Как в тайге машины водил.
А потом, стал мозоли показывать
От простых старомодных вил.

Если врал бы — так это видно!

Ну, а этот явно не врет.
Даже стало в душе мне завидно —
Жизнь как жизнь. А орлиный полет.

И росло у меня уважение —
Ишь ты, чертова борода!
Ну, а дерзкое, злое глумление?
— Между делом оно? — Не беда?

Закурили.
Закинули удочки.
Навострили глаза в поплавки.
Пронеслись над рекою уточки.
На косе кричат кулики.
— Так-то, друг, житуха нелегкая,
Ничего уж не скажешь тут.
— Много вкалывал. Много отгрохал я.

Я подумал: да, жил ты неплохо.
Про таких, ведь, и песни поют.

10/IX. База. Илийск.

**23.**

От 17–26 сентября провел в доме отдыха «Каргалинка». Вторая половина — дождь, холод. Ходил мало. Больше лежал под одеялом. Ел, спал, ходил в кино и, главным образом, читал.

Прочитал в «Новом мире» (1960 г.) Алешу Эйснера «Сестра моя, Болгария» — интересно, живо и талантливо.

В «Новом мире» (1961 г.) III книгу «Люди, годы, жизнь» Эренбурга. Блестяще. Чудесны «сердца горестные заметы» и очень интересен «фактический лит. знак» — война, 1937 г. и Т.Д.

Вызывает много раздумий и о личном.

«Istoria enlamitatum mearum»? Нет.

«Как я проиграл жизнь». И хочется прожить жизнь заново. Совсем по-другому? Без Запада? Нет. Внести поправки. Заполнить пустоты, упущенные возможности.

Одна из них, самая жгучая — Испания!

Я мог и должен был быть в Испании, в интербригаде, может быть, вместе с Алешей Эйснером. Но мог ли я бросить больную Иру и Игоря? На глазах у меня жизненная трагедия отца. Он за нее расплачивался совестью всю жизнь (Борис Александрович

Бек-Софиев, оставив в Петербурге жену и двоих сыновей на произвол судьбы, бежал со старшим сыном за рубеж. Семья подвергалась преследованиям КГБ и один из сыновей, Максимилиан, погиб в сталинских лагерях на Колыме, — Н.Ч.).

Извечный конфликт — долг служения идее и долг семейный.

Война запылал. Все други мои
К знаменам войны полетели.
Я с ними, но узы семейной любви
Мне с ними расстаться велели.

«Узы семейной любви» никак не должны пересиливать в таких случаях. Но Ирина была смертельно больна. Совершенно беспомощна с Игорем. Старики были тоже в бедственном положении.

И все-таки мое «отсутствие в Испании» я ношу на совести, как «невозвратимую потерю», как «неослабимую вину». И трудно «смягчить память» и об этой вине.

Алексей (Эйснер — Н.Ч.), уезжая, оставил мне записку для тов. Левина. «Тов. Софиев в настоящий момент не может ехать по очень тяжелым семейным обстоятельствам, но он вполне наш, и если обстоятельства позволят, посодействуйте его отправке».

Ирина нашла эту записку и пришла в ярость.

— А я стою поперек твоей дороги, поезжай! Я тебя не удерживаю! Ты прячешься за мою спину! — и т. д. т. д.

Ира была очень эмоциональным человеком и «по свежему следу» могла наговорить что угодно и часто была несправедлива, но остынув, сознавала — хотя и не сознавалась — свою несправедливость. Так многие записки ее Дневника — написаны под влиянием минуты, в «состоянии аффекта».

Очень мало сделал я во время войны.

Читая Эренбурга, ощущаешь одну вещь — это относится не к Эренбургу, это относится к нашей внутренней политике в этом вопросе — какая-то несмелая половинчатость, люди говорят А, но не хотят произнести В. Осуждают культ личности, не скрывают, что этот восточный деспот погубил сотни тысяч людей, понимают и то, что годы его царствования, вполне самодержавного, разбили конформизмом, искалечили души людей целого поколения, и однако, никто открыто не осмеливается говорить о вопиющих преступлениях, а мягко и стыдливо говорят об «ошибках», — помимо всего прочего это просто оскорбляет память невинных жертв сталинского режима — «даже в мелочах»: есть что-то

подло-почтительное в упоминании самих инициалов И.В., все это неизжитые признаки искалеченных культом душ.

Однако, понимание этих влияний сказывается у молодого поколения, в литературе, в искусстве молодых. Они еще не могут сказать об этом полным голосом, но когда «искалеченное поколение» окончательно уйдет со сцены и они займут его место, они принесут в жизнь новое — смогут, я в это верю, говорить правду, как бы она ни была жестока, полным голосом, смогут стать «народной совестью».

Вспоминая заслуги Хрущева, что он сделал первый шаг. Этот шаг был не только мучительно трудным, он был очень опасным и для «состояния умов» внутри страны, и вне ее.

Операция не прошла безболезненно и не могла пройти. Когда «вынимают веру» — образуется пустота. И нечего закрывать глаза — эти последствия налицо. Но этот шаг Хрущева оправдан всем, и не только необходимостью. Он открыл окна и в страну ворвался свежий воздух, этот «поворот руля», а это все-таки поворот, как бы это не отрицали, вывел не только страну, не только социалистический сектор, но и мировое рабочее движение на новый этап истории.

Между прочим, поездка Брежнева в Югославию, речи, встречи, атмосфера — наглядно свидетельствуют, что и мы начинаем изживать «догматизм» не на словах, а на деле.

И разве это не отрадное явление? От узости к широте.

Мне, например, трудно говорить с Игорем, потому что у него нет веры в основное, в главное — в социальную революцию. Этот величайший рубеж человеческой истории как-то ускользает из поля его кругозора, мне кажется, просто им не осмыслен. Я не говорю о Ник. Ник. Пережив все, он ничего не заметил, ничего не понял и не хочет замечать и понимать. Все его мышление, никогда не бывшее сильным, не выходит из «категорий человека кадетской партии начала XX века».

Величайшие исторические бури, современником которых он был, пронеслись мимо этого историка, не возбудив в нем даже никаких новых мыслей, ничего кроме слепого, упрямого отрицания. Это удивительно, но это так.

Но я вижу, что и Игорь не осознает значения Октября. Факт остается фактом. Никаких громких слов тут не нужно, достаточно констатации факта: гений русского народа, гений Ленина открыли новую главу истории человечества. И эту исходную точку, это «начало» уже никуда не денешь. История человечества дошла до момента социальной революции. Ее, в общем, сделал русский народ, но фактически сделал, удержал и утвердил,

превратил в исторический фактор, определяющий дальнейший ход истории — Ленин! И провозглашенные этой социальной революцией принципы: уничтожение частной собственности и связанной с ней эксплуатацией человека человеком стали внедряться и утверждаться в жизнь. Все это не могло, конечно, происходить безболезненно, без перегибов, эксцессов и т. д.

Какими путями и в каких формах эти вступившие в действие принципы социальной революции преобразуют человеческие отношения, человеческое общежитие — каково будет поступательное движение социалистического общества — покажет жизнь.

Но не будь Ленина, не найди она своего организатора и вождя, социальная революция могла быть и бесплодной вспышкой потушенной деятелями февральской революции или ее Наполеонами.

Впрочем, насчет деятелей февральской революции и насчет их способности обуздать стихию революции — дело сомнительное.

Вот встают передо мной эти живые для меня лица — Милюков, Керенский, (…), Бунаков— Фундаминский, Кулишер, Вишняк, Зензинов и т. д. Может быть, мне мешает «оберация зрения», вызванная тем, что я встречался с ними буднично, за чайным столом. Но, если сказать по правде, никто из них, ни Павел Николаевич, ни Александр Михайлович, ни Марк Вельяминович, ни Владимир Михайлович, как-то никак не вырастают в вождей, «умозрительно».

Все это крупные честные русские интеллигенты, они могли быть почтенными деятелями «третьей республики» (во Франции) или в «революции Николая Николаевича Кнорринга» — умереннейше-кадетской, по крайности, в право-эсеровской, они и без Ленина все равно были бы сметены разбушевавшейся народной стихией.

Опаснее были генералы — здесь и при Ленине они почти поставили революцию на колени, но здесь ее спас народ. В большевиках он увидел «своих», а в белом движении «бар». На самом деле, все это было (…), принимая во внимание различные прослойки населения. Но в общем — верно.

Мне кажется, что Игорю неясно и то обстоятельство, что деятели нашей «третьей революции» не могли принести в жизнь ничего, кроме торжества буржуазного мещанства, в конечном счете, со всеми их относительными свободами.

Но так как их несомненно спихнули бы генералы, то и относительные свободы были бы зарезаны. И как это все жалко и ничтожно перед величием подлинной социальной революции.

Нет. Не зря сказал Блок:
«Слушайте музыку революции».

(Выписки из Эренбурга, о 1937-ом годе и о 1938-ом, о страхе, культе Сталина — Н. Ч.).

«Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет». Какой-то французский автор (у Эренбурга).

**23.**

Почти каждый вечер хожу в кино — в клубе дома отдыха.

Великолепный польский фильм «Сегодня ночью должен погибнуть город», проникнутый подлинной человечностью, побеждающий всякую национальную обособленность, и ярой ненавистью ко всякой войне. Показан очень сильно — кошмар разрушения, убийства, бессмысленного истребления. Вообще польские фильмы на очень большой высоте. Показан не героизм бойни, а героизм человечности. И всякий раз все существо человека

кричит о том, что рано или поздно человечество не может не отказаться от подобного способа воздействия.

Как бы только это не было слишком поздно…

«Суд» — несчастный случай на медвежьей охоте. Не плохой психологизм. Трагедия чистого и самоотверженного человека с чистой и действенной совестью, которая, в конце концов, сломлена или подавлена примитивным и тупоумным следователем, прокурором и целым рядом обывателей.

Но зато «Богатая невеста», фильм 1937 г.

Паточная бесконфликтная колхозная идиллия. Говорят, у Сталина — представление о колхозах именно по таким фильмам: «Богатая невеста», «Кубанские казаки» и т. д.

Княжна Тараканова — Флавицкого (1863 г.).

Я забыл автора этой картины, которая запечатлелась с детства. И сейчас нашел — Флавицкий — читая «Статьи и заметки» В.В. Стасова.

О Третьякове М.П. — его полемика со Стасовым по поводу статьи о нем и его галерее.

Холодно. Дождь. Большую часть времени — под одеялом.

Андерсен Нексе.

Почему меня так взволновал рассказ «Кукла», который, кстати, я прочитал впервые. Как всякий хороший рассказ о жизни и о судьбе человека — всегда возвращает к своей собственной жизни и к своей судьбе.

А здесь — во-первых, — Тюрингенский лес!

И образ маленькой старушки-матери.

С ранних лет моих — чужая старость всегда вызывала у меня щемящее чувство. Моя встреча-разлука — после 26 лет! — тоже произошла в Тюрингенском лесу (…). Но сразу же развернулась трагедией.

Дело в том, что в детстве я любил свою мать, какой-то восторженно-иступленной любовью. И вот, не в Гейновском «ином мире», а просто в «новой жизни» ~ «друг друга они не узнали».

На gard die Nord в момент последней (в полном смысле этого слова) разлуки мама сказала, и это были ее последние слова, — «Бога-то, бога не забывай совсем». Голос у нее был сухой и строгий, да и слез, по-моему, не было — она их выплакала еще в Германии (Лидия Николаевна Бек-Софиева со средним сыном Львом бежала от преследования КГБ сначала в Крым, затем в Германию — Н.Ч.). Но была она такая же маленькая, сухонькая, на грани восьмидесятилетия, как и у Нексе. Только глаза? Почему в детстве эти прекрасные глаза мне казались такими добрыми, человечными. От моей ли безумие любви к ней? От ее самоотверженной жертвенной материнской любви. Куда же они делись?

**24.**

Клаве ответил 13/ X.

19/ X

Всем, кто радуется,
Когда восходит солнце,
Всем, кто грустит
На его закате,
Всем вам мое слово.

Я сидел на бревне
поплавок
стрелок
зимородок.

Милые птицы,
Милые звери,
Милые рыбы
Жуки, стрекозы и бабочки.
Зеленые травы,
Нежные розы.
Белая ромашка,
Синие васильки,
И вы, ужасные змеи,
Столетние деревья,
Над всеми над вами
Нависла опасность,
У ваших ворот
Катастрофа.
Потому что
На прекрасной планете
Рядом с хозяином, homo sapiens
Обитает его двойник
Его разновидность
Homo ferus
Это они
Любят (…) выпячивать грубо,
Ходят бравой и четкой походкой,
Самоуверенно смотрят на женщин,
Особенно после
Кокаина или водки.
И все это совсем не просто,
Ибо они умеют жертвовать жизнью.
Но, в конечном счете,
Кто же этого не умеет?
Разве эсэсовцы
Не умели жертвовать жизнью?
У праведников и у злодеев
Есть не только эта способность,
Но
И
«Во имя чего».

В светлых больших кабинетах,
Склоняясь над зелеными картами,
Спокойные люди
Вычеркивают

И
Вычеркивают
Заводы с населенными пунктами,
Железнодорожные узлы.
Шоссейные перекрестки,
Мосты, гидростанции, шахты и рудники.
Поля, леса, луга и виноградники,
Старинные города с музеями и картинными галереями,
Новые города со светлыми школами,
С университетами, клиниками и академиями,
В общем, всякие города,
Населенные живыми людьми.

Они умеют жертвовать жизнью,
Но с еще большим проворством,
Подобно счетным машинам,
Они умеют жертвовать —
Жизнями,
Молодыми и сильными,
Веселыми и счастливыми,
У которых все
Должно быть
В будущем.
А и всякими жизнями,
Впрочем…

Нет! Люди,
Не верьте в их
Необходимость!
Сопротивляйтесь их злой воле!
Вставайте, люди
Голубой планеты,
За жизнь.
Прочь роботов
Войны и уничтожения!

## ТЕТРАДЬ X

**1. 16 июня 1963 г. 17 часов 30 минут.**

Formi dable! Потрясающая новость! Вслед за подпол. Быковским в космос поднялся второй космический корабль «Восток 6», под управлением женщины — Валентины Терешковой. Тут уж нас, видимо, никто не переплюнет. Первая женщина в космосе — советская женщина. И на этот раз день великого русского народа! По этому случаю можно завопить ура! Это событие — помимо всего прочего — огромного политического значения, в смысле мирового престижа и в особенности в смысле влияния на молодые государства Африки и Азии. И еще, конечно, такой размах космического исследования по плечу только социалистической системе. Я думаю, что за «Востоком 6» вслед полетит и «Восток?» — групповой полет 3-х космических кораблей!

Теперь дело за Луной.

И начинаешь верить, что, может быть, я еще и не успею подохнуть и доживу до первого советского человека на Луне или вокруг Луны.

Исчезновение границ фантастики.

(Газетные вырезки с портретами Терешковой и других космонавтов, статья «Чайка» и т. д. — Н.Ч.).

**2.**

(Значок участника шествия к стене коммунаров в Париже с надписью на нем: «5 Juni 1955–1871. Mur des Federes» — Н.Ч.)

5 июня 1955 я в последний раз участвовал в шествии к стене коммунаров. И как обычно, участники прикалывают к пиджакам и платьям эти значки. Он у меня сохранился на память.

Тореза на митинге, насколько я помню, не было, выступали Дюкло и др.

**3.**

(фото девочки с собакой в обнимку. Подпись— «Зоя и Чок» — Н.Ч.).

***

Вянут цветы.

Осыпаются листья.
Но цветы возвращаются вновь.
Только мне не уйти от мысли,
Что размотана жизнь без смысла,
И в далекой могиле любовь.

Под чужим,
Но любимым небом
Крест обвит зелёным плющом.
Оба мы — «не единым хлебом….»
По земле той бродили вдвоём.

Тосковали всю жизнь по России.
Пели песни.
А жили?
— Совсем как-нибудь!
Замыкается круг.
И впервые
Стало ясно:
— Кончается путь.

(И приписка, которая перечеркнута карандашом — Н.Ч.).

Ну, и как?
Нет, не скука,
Томленье,
Ах, какое томленье!
Тоска.

(Фото девочки-подростка в цветастой юбке, девочка сидит на кровати. Подпись: «Вика» — Н.Ч.).

22/VIII
Отослал Могилевскому:
1. Хитрая ловушка
2. Розовые скворцы
3. «Бал человечества»

(Газетные статьи о метеорите, складная открытка «Гагры» и конверт оттуда, видимо, от кого-то из знакомых, фото смеющейся

и подпись: «Катя, 1963 г.» — Н.Ч.).

В «Р.Н.» от 6 сентября напечатана «Хитрая ловушка». Все главки пойдут, видимо, под общим заголовком: «Из дневника научной экспедиции. Письмо из Алма-Аты».

Кусов просит дать ему возможность сделать фотокопию статьи, чтобы сохранить на память. Статья о нем. Подарил ему второй экземпляр.

10/VIII 63 г.

**4.**

(Размытая временем фотография двух счастливо улыбающихся людей и подпись под ней: «Макс со Скрябиной Еленой Александровной», т. е. младший брат Юрия Софиева, со своей возлюбленной, она, возможно, дочь композитора Скрябина, — Н.Ч.).

Когда эта карточка была еще не выцветшей, можно было видеть, что Скрябина была очень красивой женщиной.

Рая пишет: «От Л. (Льва-Бек Софиева — Н.Ч.) получила грустное письмо. Пишет, что в Скопье погиб его племянник с невестой-американкой. Это незаконный сын Макса. Ты, вероятно, знал о его существовании?»

Погибли, значит, во время недавнего страшного землетрясения. Значит, судьба занесла его в Югославию.

Поскольку, это сын Макса, постольку он и мой племянник, но я его никогда не знал, хотя вспоминаю его историю.

Вот что я узнал в свое время от Левы и мамы. У Макса был роман со Скрябиной. Она была замужем. Однако, Макс с ней ездил в Крым и на Кавказ, на курорты.

По рассказам Левы, загонял в каких-то тогдашних официальных учреждениях кое-какие фамильные драгоценности и золотые вещи. В то время будто бы мама этому делу способствовала. У Скрябиной родился сын. Ни для мамы, ни для Льва не было секрета в том, что это сын Макса. Вскоре Макс был арестован (1937 г.) и сослан в Магадан. Мама в страшном горе, вдруг, обвинила Скрябину, что все произошло из-за нее, что она ничего не предпринимала, чтобы спасти Макса. Как? В 1937? В страшные времена сталинского террора, как можно было спасти кого бы то ни было? Лева все отрицал. Но мама по свойству своего характера и страшному безрассудному упрямству — возненавидела Скрябину и всегда утверждала, что именно Скрябина погубила Макса.

Во время войны Скрябина с сыном попадает в зону оккупации, и видимо, пользуется этим обстоятельством, чтобы вообще покинуть Россию, Знание европейских языков облегчает ей возможность устроиться сначала в Германии, потом в Англии или Америке.

Во всяком случае, после войны в бытность мою еще в Париже, когда мама с Левой жили в Noisy le Grande, Скрябина появляется в Париже. Лева с ней поддерживал письменную связь. В Париже они встретились, но не в Noisy le Grand, а на какой-то «нейтральной почве», т. к. мама категорически отказалась ее видеть и принять у себя. Видимо Лева поддерживал эту связь и после смерти мамы.

Каким образом молодой Скрябин со своей невестой очутился в Скопле (Скопье?) — сие мне неведомо. Однако и мне очень грустно, что Максина линия пресекается. У Левы детей уже, конечно, не будет, так что наш род имеет продолжение только по моей старшей линии, правда, очень глупо, что благодаря семейным драмам Игоря, Алеша — сын Игоря от Ольги — носит фамилию Вышневский, а младший Сергей, от Светланы — тоже носит фамилию матери (Кондруцко — Н.Ч.), т. к. они не зарегистрированы, последнее обстоятельство поправимо, а вот Алеша там Вышневским и останется, хотя он чистокровный Софиев.

**5.**

отослано 22/ IX

Из письма Мите Кобякову.

…До глубины души возмущают меня проклятые китайцы, руководящие товарищи, конечно! Чистейший идиотизм и демагогия. Хотя нужно сказать, видимо, нет (…) и в трудящихся (…)

«Панмонголизм хоть слово дико…»
Но мой слух оно ни в коей мере не ласкает.

Помнишь ли ты эти стихи Вл. Соловьева?

Помимо всего прочего, я думаю, что эта, хотя и древнейшая, но все же несколько своеобразная цивилизация. Во всяком случае, со своеобразным понятием гуманизма, человечности.

Чего стоит это вольготное допущение — испепелить

половину человечества и на пепле построить более высокое и прекрасное общество. Ничего себе идейка! Хотя и не нова — чем хуже, тем лучше. Или — цель оправдывает средства. Увы, эта «мораль», применялись и некоторыми революционерами и контрреволюционерами.

Но воображаю, с какой «радостью» принимают эти (…) фантазии трудящиеся малых скученных наций, вроде Бельгии, Франции, Италии и т. д.

Дикое изуверство фанатичных демагогов!

Или — полный провал безответственной политики «большого скачка», «трех красивых земель», «деревенских коммун» и т. д. и в самом деле может привести к полному отчаянию руководителей? А отчаяние к «Danse macalre».

И самое нестерпимое, пожалуй, что все эти «танцы» ведутся под фальшивую, хвастливую агитационную трескотню сугубо революционной фразеологии.

Ек. Павл. (Пешковой — Н.Ч.) ответил 23/ IX. Выслал журнал «Простор» со стихами Ирины (Кнорринг — Н.Ч.).

25/ IX. Написал письмо Рае — поблагодарил за свитер. (Красочные открытки с морскими видами Франции и подпись: «Con leurs et lumiere de France». На обороте письмо от Раисы Миллер: «Мой родной, посылаю тебе — море Ты так его любил. Я каждый день наслаждалась его прибоем. Увы, все хорошее длится не долго и я завтра уезжаю домой. От тебя все нет писем. Из Ментонья пишу тебе второй раз. Пока не получу ответа — не напишу. Целую, (…) и люблю. Рая.», «Бывал — и ты когда-нибудь в Ментонье? В след. Письме напишу тебе. Наши фото — Анне и я на променаде» — Н.Ч.).

**6. 28/IX**

(Вырезка из газеты со стихами Георгия Глазова: «Монета» и «Южная ночь» — Н.Ч.).

Удивительная вещь! В газете («Лит. газета») — по-настоящему хорошие, свежие стихи. Вообще здорово и «мосластый ремесленник в кожаном фартуке длинном, / Проливая на бороду, / Пьет из кувшина вино», и «Полногрудая женщина / С загорелыми крепкими икрами / Рыбаку помогает / Щербатое днище смолить».

Чем-то это напоминает Осипа Мандельштама. Григорий Глазов — имя мне попадается впервые, а его, может быть следует запомнить. И подлинная взволнованность и интонации вроде

свои.

**7. 30/IX**

Трагическое письмо от Мити. Это катастрофа!

**8.**

(Фото девочки на фоне книжных полок — Н.Ч.)

30/ IX

Пришли «Р.Н.» от 20/ IX со второй главой «Розовые скворцы».

Завтра еду с Кусовым (?) в Капчагайское ущелье фотографировать изображения Будды на камнях. Очень хотел бы остаться на неделю в лагере, т. к. Кусов вернется с машиной 7-го октября. Но к моему огорчению, 3-5-го приезжает шеф, и если меня не будет, а он меня хватится из-за стенда, который должен быть готов к 20 октября, к дню его отъезда в Чехословакию, может быть неприятность — так как разъезжать мне по экспедициям, конечно, нет никакого резона. Еду, потому что все, и Кусов и Нурумов, зам. директора, идут навстречу моему желанию. А мне очень нужно, прежде чем написать главу об изображениях Будды в Капчагайском ущелье, еще раз внимательно исследовать их и сфотографировать, хорошо было бы, конечно, и зарисовать.

В 57 году я видел их мельком, мимоходом, т. к. товарищи уже ждали в машине, проездом. Хотя мы стояли рядом лагерем, но я не знал, где…

(Фото с рекой и плывущей собакой, и цветком с мухой на лепестке. Подписи: «Чок в Или во время купанья. Сентябрь. Телеобъектив»; «Телеобъектив. Крупное «зерно». Плохая резкость. Очень короткая глубина резкости» — Н.Ч.).

**9.**

(Вырезка из «Литературной газеты» со стихами Ахматовой: «Из цикла «Полночные стихи» — «Вместо предисловия», «Предвесенняя элегия», «Тридцать строчек», «И последнее».(5 октября 1963 г. № 120) — Н.Ч.)

Какие-то уж очень усталые и неясные стихи, и все же такие ахматовские!

**10.**

9\ X

Сильное похолодание. С вечера дождь. Наутро горы до самого подножья прилавков в снегу. После обеда порошил снег — талый.

Получил «Р.Н.» с «Бичом человечества».

А я до сих пор не дописал продолжения IV «Загадка Будды», V «Лирический вечер, закончившийся переполохом», VI «Au seconri!»

(Вырезка из газеты, под рубрикой «Реплики» заметка «Устаревшие оценки», о пресловутом постановлении ЦК ВКП(б) 1948 года «Об опере «Великая дружба» В.Мурадели» — Н.Ч.)

Какая чудовищная чушь! Кому дано право судить художника, кроме критика, на которого художник имеет высокое право чихать с высокого дерева.

Procul este, profane!

«На Монматре Тулуз Лотрек находит новых друзей. Цандоменеги знакомит его с натурщицей Мари-Клементин Валадон, в прошлом актрисой, в 15-ти летнем возрасте после травмы покинувшей сцену и ставшей натурщицей Prolu de Шаванна и Ренуара.

Двадцатилетняя девушка стала первой любовницей Тулуз-Лотрека. Тогда Тулуз-Лотрек еще не знал, что его подруга (позднее она изменит свое имя и станет известной как Сюзаин) рисует, а ее сын Морис Утрилло сумеет как никто до него передать в своих полотнах красоту и поэзию улиц Монмартра».

В. Фиали.

Этих подробностей насчет Утрилло я не знал.

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.

***

Услышишь суд глупца и смех и толпы холодной;
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
……дорогою свободной
иди, куда влечет тебя свободный ум… и т. д.

Или и Пушкин стал старым дураком?

17/X

(Наклеена бумажка: «Рисовальный прибор. Куратор Ю. Софиев. Осваивают: Тазиев, Бенсова, Балбаева, Оспанов, Русикова, Карамедин, Высоков, Дементьев, Изатуллаева»).

Пришел Сергей Николаевич Боев с просьбой заняться с его молодыми — аспирантами и младшими, объяснить им и помочь освоить технику пользования рисовальным (…).

И еще: пройти с ними краткий курс фотографии. Это мог бы сделать Юсупов, но С.Н. ему не доверяет. Эта ленивая скотина действительно доверия не внушает.

**11.**

19\ X суббота

(О своей снохе Светлане Кондруцко — Н.Ч.)

Дрыхнет как ни в чем не бывало. Ни малейшего беспокойства! А Игорь вчера не пришел после работы и сегодня его нет.

Я заболел вчера, думал, что отравился рыбой, но, видимо, резкая перемена погоды, к вечеру пошел сильный дождь и шел всю ночь, очень сильно действует мне на сердце. Уже под вечер мне стало очень плохо. Думал, придет Игорь, может быть, попрошу вызвать «скорую помощь». Но потом заснул. Но утром на работу не пошел.

Утром выяснилось, что Игорь не ночевал. Когда я увидел, что его нету и удивленно спросил о нем — С. не без злорадства ответила — вот, мол-де, наш голубчик!

Ни тени беспокойства!

Я невольно вспомнил Ирину.

Как-то я тоже выкинул номер — проболтавшись всю ночь с Барановым, утром отправился прямо на работу к Шону. Ира не спала всю ночь и утром побежала к Шону. Увидев меня, ни звука не сказала — я ее не видел — и ушла домой.

Только много позже я узнал об этом.

Я думал, что она позвонит ему на службу. После работы она вернулась как ни в чем ни бывало и стала рассказывать о какой— то краске, которую она принесла для полов, даже не спросив об Игоре.

— Вы не звонили ему?

— Нет, я не могла, у нас там нет телефона.

(Кстати, телефон на каждом перекрестке).

Нужно сказать, я почему-то был уверен, что он на работе. Где же его искать? Леля (милейшая сестра отказалась помочь в поисках) Светлане заявила, что она не может оставить Сережу

(сына — Н.Ч.), и улеглась с ним спать.

Десятый час — она мирно дрыхнет. Будь проклята вся эта семейка и момент, когда он с ней связался!

Звонил деду (Н.Н. Кнорингу — Н.Ч.). Надеялся, что он был у него вчера, думал, что из-за дождя остался у него. У деда его не было.

Сейчас уже ясно, что что-то произошло. Просто запьянствовать он, надеюсь, не мог, хотя именно на это и хотелось бы надеяться.

В общем, он нас с дедом рано или поздно угробит! Трудно представить себе более нелепую и более, какую-то жалкую несерьезную, пустую, вздорную жизнь. От всего этого щемяще на душе!

**12.**

20/X, воскресенье

В общем — просто пьянствовал! Все оказалось очень банальным — но и все это может обернуться весьма серьезно (в Институте) — напился, как свинья, потом где-то набили морду, притащили в милицию и т. д.

Все это и очень грустно, и очень противно. Во всяком случае ни один из Софиевых так еще себя в жизни не вел.

Стиль довольно подлый, но, к сожалению, мало оригинальный.

И все-таки, прежде всего щемяще тоскливо на душе. Нестерпимо для меня — что-то жалкое, вид побитой собачонки, когда она, увы, с полным правом обрушивается на него с супружеским гневом.

Ему вероятно очень мерзко от самого себя — потому его бесконечно жалко, щемящее жалко — и вместе с тем, мне кажется, что он чувствует какую-то полную атрофию своей воли, может быть, какую-то слабость этого скольжения по наклонной плоскости.

Подлинный трагизм — сам он остановиться не в состоянии. Вероятно только по-настоящему любящий человек — жена (и если бы он ее любил по-настоящему) — могла бы помочь.

Беда в том, что все здесь должно было бы быть настоящим и любовь, и человек с большой буквы — а тут ничего — ни настоящего, ни с большой буквы! А мещанские союзы и мещанская злобная крикливая ругань — безнадежное дело! Это только глубже топит.

И опять — всегда, не опять — я вспоминаю Иру. Какие бы мы не были, а любовь нам была дана настоящая. 16 лет мы с ней

прожили — тягчайшие годы! 20 лет прошло после ее смерти. А разве любовь потускнела? Разве бы она мне снилась так, как она мне снится по сей день?

Ночь. 20/X.

«Мы все — невольно или вольно —
Свидетели великих лет».

«Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?»

Это — звоны ледохода
На торжественной реке.
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Самая волшебная строфа! Какая изумительная магия слов, магия поэзии» и какое тупое непонимание поэзии — все эти разговоры о принципиальности, идейности и т. д. в стихах.

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму
С белой площади сената,
Тихо кланяюсь ему.

И Пушкину, и Блоку.

Это — звоны ледохода
На торжественной реке.
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

А ведь какой-нибудь принципиально-торжественный идиот обязательно спросит — а что это дает народу? А что это «конкретно» выражает? А ведь так просто — радость и счастье (а счастье и есть радость) соприкосновения с подлинной поэзией.

**13.**

«Даже на качающейся рыбацкой фелюге, видно было через бинокль, взрослые и дети в десяток рук скоблили палубу».

Л. Леонов. «Evgenia Ivanovna»

«Евгения Ивановна призналась, что девочкой у себя на родине она тоже обожала школьные походы по историческим окрестностям, однако, сколько ни копались девчата в одном там кургане…»

Там же.

«Через бинокль» — очень сомнительно. Я увидел в подзорную трубу, в телескоп, в бинокль, но, конечно, через очки, а не в очки, через лупу.

Евгения Ивановна не могла сказать «девчата». В те времена, в той среде слово «девчата» было применимо к деревенским, простонародным девушкам, но гимназисток — можно было назвать «девчонки», барышни, но не «девчата».

В обращении к самим себе — девочки, институтки сказали бы «Mesdames», а не «mes demoiselles».

Слово «девочки» в той среде среди мужчин имело определенный смысл. Например: «поедем к девочкам», и вообще, «девочки» — прежде всего легкого поведения.

«А старость, полюбив, стыдится лет», Шекспир. «Страстный пилигрим».

**14.**

1 ноября.

Опять прелестные теплые осенние дни. Последние. Температура днем до + 25. Краски изумительные.

(Газетная вырезка со стихами Андрея Вознесенского «Ленину освящается…» — Н.Ч.).

В «Ленинской Смене» от 6/XI 1963 г. (среда) стихи Вознесенского, я их встречаю в печати впервые после разноса. А в последней «Юности» — Евтушенко. Это все-таки открыто. В сталинские времена оба они либо гнили бы уже в земле, либо медленно умирали бы в местах не столь отдаленных за проволокой.

И в этом — реальная заслуга Хрущева. Хотя поэта, художника, писателя все еще разносят, как чиновника, но, по крайней, мере не казнят и ссылают.

**15.**

(Портрет Рабиндраната Тагора из газеты — Н.Ч.).

Рабиндранат Тагор!

Первое мое знакомство с ним (не личное, конечно!) произошло сравнительно поздно, в мои студенческие годы.

В начале 20-х годов в Белград приехала на гастроли (…) группа Художественного театра. Во главе её стояла тогда Мария Николаевна Германова, и в числе прочих вещей они ставили «Король темных палат». Постановка шла в (…). И потрясающее впечатление на нас произвела не Германова, а Мария А. Крыжановская, которая играла Сурангаму.

И еще меня поразило, насколько буддист Тагор был близок к Толстому. С тех юношеских лет прелестный образ Марии Алексеевны прошел через всю мою жизнь, во многих сценических перевоплощениях.

(Открытка-поздравление с праздником Октября и подпись: «От Наташи» — Н.Ч.).

(Была, видимо, открытка с видом Парижа. Осталась только подпись: «Paris. Ils St Lovis. Le Qnai d’Anjon vers I Hotel de Lanrun» — Н.Ч.).

И все-таки, ни один город в мире не может сравниться с Парижем.

**16.**

12\ XI, вторник.

(Газетная вырезка «Экономика дореволюционного Верного», Из истории твоего города» А.Иваненко, — Н.Ч.).

Был на похоронах проф. Нила Петровича Орлова.

Тело привезли в Зооветинститут, где он много лет работал. В 1958 г. я ему иллюстрировал его «Ветеринарную паразитологию». С тех пор мы и были знакомы, а встречались постоянно в академических кругах.

Недели три тому назад его разбил паралич, как всегда неожиданно, а позавчера он скончался от инфаркта. Он старше меня года на три. Heu propins Tacito mors venit ipsa peole.

А сейчас пришла Катя с просьбой помочь написать изложение, а потом Наташа (девочки-соседки — Н.Ч.) с просьбой, чтобы в пятницу вечером я пришел бы в их класс 6 «Б», в порядке «интересных встреч», побеседовать с ребятами.

«И новое младое племя
Меж тем на солнце расцвело…

…Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести»

И все-таки, как еще пьянит меня это весеннее дыхание чудесной молодости жизни и как бесконечно грустно с ней расставаться…

**17. 13/XI**

Савва Дангулов «Дипломаты», отрывок из романа в «Лит. Газете» от 5/XI кн. Ливен, начальница Смольного говорит дочкам Репнина — «Поздравляю, девочки, теперь вы смолянки».

Может быть, смольнянки от Смольного и правильнее, чем смолянки, но говорили всегда смолянки.

Кроме того, Ливен, вероятно, сказала бы Репниным — «Поздравляю Вас, княгини» и по-французски.

Трудно нашим писателям правдоподобно писать даже о таком близком прошлом, казалось бы «близком», а на самом деле этот прошлый мир для них так же далек и мало понятен, как и эпоха Тутанхамона. И с грустью приходится констатировать — как только дело доходит до среды старой интеллигенции или дворянского общества, то либо — «уф! Сказала графиня после отдыха», (…), или прилепляют к ним современные понятия и современный лексикон.

**18.**

Ночь 25 октября 1917 года в Петербурге.

Мне кажется, когда-то и где-то я кратко записал события этой ночи. Но эти записи у меня не сохранились. Записные книжки военных лет 1939-45 и до 55 гг. — отрывочные заметки — все погибло в Париже при отъезде. Самые короткие записи были бы для меня теперь драгоценны, ибо память, с каждым днем катастрофически опустошается. Видимо, склероз (…) безжалостно стирает пережитое и восстановить многие моменты, утраченные памятью, уже невозможно. Но это как никогда теперь для меня ясно, что ко многим событиям, очевидцем которых я был, у меня было преступно-невнимательное, лениво-легкомысленное отношение.

Всякий летописец современных событий в какой-то мере неизбежно субъективен, в какой-то мере слеп, ибо лишен исторической перспективы, другими словами — тенденциозен вольно или невольно, и все-таки я всегда вспоминаю Толстого: «Записывайте, записывайте», чтобы потом из этих записей не наделали мифов, легенд, словом, всего, чего угодно, кроме правды.

И в наши дни это мифотворчество расцветает махровым цветком.

И мы, современники, давно уже перестали узнавать события, некогда пережитые, читая о них.

«Взятие Бастилии». Конечно, это веха истории, символ падения старого, рождение нового мира. Но само по себе «взятие» не так уж героично. Бастилию «защищало», и не особенно защищало 17 инвалидов под командой безногого коменданта, если память мне не изменяет, де Лонга.

«Взятие Зимнего», «Залп «Авроры» — тоже символ падения старого и рождения нового мира. Тоже, пожалуй, символ, что перепуганное «Временное правительство» в Зимнем защищал женский батальон! Керенского в Зимнем не было. Михайловцы (взвод Михайловского Арт. Уч.) покинули Зимний до штурма и потеряли свои пушки в толпе, отрубили постромки и удрали. Так, по крайней мере, в те дни рассказывали очевидцы. За два дня до взятия Зимнего они сменили нас. Я не помню, кто был с нами из офицеров. Канищев — был орудийным фейерверкером взвода, я — ящичным вожатым.

Никакого женского батальона я не помню. В нижнем этаже, в галерее батальных картин Рубо и Верещагина какие-то портреты иностранных принцев и королей) вповалку располагалась рота пулеметного полка. На тяжелых «максимках» развешены были вонючие портянки.

С моей страстью к экскурсированию, я забрался, уже в

сумерках, на следующем этаже в какой-то большой торжественный зал с галереями, может быть, тронный — не помню, совершенно пустой, долго по нему бродил, прогуливаясь своим осторожным шагом, и почему-то долго не мог из него выбраться. Большинство дверей были закрыты. Хорошо помню эти штабели дров, сложенных на внутренних дворах. В один из дней, не помню с кем, какими-то переходами и лестницами выбрались мы даже на крышу Зимнего дворца. В те блаженные времена анархии не существовало никаких запретов, как и порядка, конечно!

Стал бы врать, если бы стал описывать величественную картину Невы, Петропавловской крепости и «общий вид» революционного Петрограда — ничего не помню и никаких картин (кроме почтовых открыток) не возникает — прошло все-таки 46 лет!

А счет все-таки неверен. Пропущены две статьи. Я не помечал N-газеты, а только год.

1. В Средней Азии сто лет после Пржевальского. 1958 г. № 671.
2. В доме отдыха. 1959(?).
3. Кровоточащие деревья. 126. 1959.
4. В камышах реки Чу. 159. 1959.
5. Пустынными тропами. 770. 1960.
6. Как мы открыли озеро. 788. 1960.
7. О природе и людях (Озеро Иссык — Боевы) 799. 1960
8. В деревне. 806. 1960.
9. Ядовитая пара. 816. 1961.
10. Злостная батиния. 828. 1961.
11. Только ли инстинкт. 853. 1963.
12. Хитрая ловушка. 953. 1963.
13. Розовые скворцы. 955. 1963.
14. «Бич человечества». 956. 1963.

Не 12 статей, а 14. За 1962 г. не написал ни одной статьи!

Закончил серию: «Из дневника научной экспедиции».

Загадка Будды.

Лирический вечер, кончившийся переполохом.

Глава, растянувшаяся от фаланги и пауков-волков до волков настоящих.

Коза.

Переписка на машинке всегда меня задерживает. Сам я печатаю очень медленно. Ник. Ник. (Кнорринг — Н.Ч.) делает невероятное количество описок и ошибок. Ему нужно диктовать,

если он переписывает с рукописи, то часто очень искажает текст.

17/XI

(Фото вечернего моря и подпись: «La Cote de Azuz. Concher de soleil» — Н.Ч.).

**19.**

(Конверт с надписью: «Моя заметка в “Советском Патриоте” о вечере в Памяти в Париже Скобцовой (матери Марии) под 1945 или 1946?» И сама заметка:

Памяти Матери Марии

22 апреля, под председательством о. Е. Ковалевского, в зале Русской консерватории состоялось собрание, посвященное памяти матери Марии. После краткой литии, о. Стефан Светозаров произнес слово.

С.П.Жаба огласил письмо, не смогшего лично присутствовать Н.А. Бердяева о жизни, деятельности и высоком патриотизме замученной немецкими фашистами замечательной русской женщины. Г. Раевский говорил о поэзии матери Марии. С.В. Носович прочла о своих встречах в последний период жизни м. Марии в лагере Равенсбрюк, в простых и сильных словах дав яркий образ этой героической женщины.

И.А.Кривошеин и художник Г.Н. Слободзинский поделились своими воспоминаниями о погибшей. Ю.Софиев, кроме воспоминаний о литературной и общественной деятельности м. Марии, прочел ее стихи.

Собрание прошло в атмосфере сердечности и единодушия и закончилось словом о. Евграфа Ковалевского.

22/XI

В магазине овощном встретил Иду (Коблец):

— Я сразу догадалась, что Ю.Б. в магазине — Чок сидит и смотрит у двери (Чок — собака Юрия Борисовича — Н.Ч.).

— Как Вы живете?

— Плохо.

Оказывается, у Михаила Андреевича — инфаркт. С 15-го марта в больнице. По словам Иды, «он перенес на ногах стенокардию, думая, что это от курева».

Я переношу «на ногах» стенокардию уже 6-й год, зная, что это не от курения. И откровенно, переношу все хуже и хуже и тоже знаю — чем это кончится.

Дамоклов меч.

«День пережил — и слава Богу».

Это вообще-то — невесело.

Вот уже месяца четыре — не курю.
После сорока с лишним лет курения.
Порой тянет. Выдерживаю.

## ТЕТРАДЬ XI (ноябрь-январь, 1963–1964 гг.)

**1. 22/XI**

Дикое событие. Убит Джек Кеннеди — президент США.

Убит из снайперской винтовки. В южном штате. Прежде всего, бесконечно жалко самого Кеннеди. Опыт показал, что Кеннеди поистине хотел мира и понимал дикое безумие атомной войны и сознавал всю свою ответственность в деле создания мира, и наконец, американский политик, который сумел преодолеть недоверие к нам и шел на сговор, уже в этом был залог мира.

Я глубоко убежден, что (…) убит фашиствующими ультраправыми маньяками, за его политику сговора с нами, за его политику негритянскую и т. д. Но, убежден, что будут пущены все средства провокации и демагогии, чтобы убедить, или хотя бы смутить сердце простого американца, в том, что это сделали коммунисты. Не смотря на всю нелепость этого подозрения, ибо коммунистам всего мира, за исключением китайских маньяков разве что, этот акт — только во вред.

Но будет пущено все, чтобы разжечь антикоммунизм и скомпрометировать политику сближения Запада и Востока.

А еще одна вещь, один вопрос — когда же, наконец, мир устанет от ненависти, от этого «религиозного фанатизма», от этого «идейного» накала, неизбежно приводящего к одному: не к отвращению и ненависти к злу, к злому началу, а к ненависти, к дикой злобе и (…) жестокости человека к человеку.

Когда же, наконец, кончатся эти «религиозные», гражданские войны самые изуверские в истории человечества с неизбежными «кострами инквизиции» и в прямом, и в современном понимании.

Ненависть — ad mojrem gloria Dei!

Ненависть — во славу любви к человечеству!

Ненависть — во славу гуманизма! Человечности!

И прочее, и прочее ad majorem.

И только одно ad majorem делает человека Человеком — умение быть терпимым, умение не навязывать другому человеку своих верований, умение уважать право другого мыслить и верить по-своему, тем самым, утверждая свое собственное право на (…).

И, наконец, самое главное для меня ad majorem человечности, именно, как таковой, в самой человечной ее сущности без всяких там поправок. Alars! — воскликнет скептик, vous reter un homes de XIX s! Старые истины!

Нет! Но в очень «нежном» юном возрасте я прошел через

мерзости гражданской войны и получил такой заряд отвращения и ненависти к ней, что она всегда останется для меня ужасной реальностью и никогда не сможет превратиться в миф. Всякая война мерзость, но братоубийственная почему-то приобретает особенно ожесточенные и изуверские формы.

Кстати, за годы гражданской войны своей рукой я не убил ни одного человека, хотя будучи артиллеристом, «у жарких пушек честно бился я».

Но так и не заразился за всю войну ненавистью к врагу, может быть, вернее к человеку? Ну, а к скотам и живодерам? А о XIX веке? И у девятнадцатого века есть те «золотые крупинки», которые очень хорошо бы не выбрасывать за борт и при дальнейшем плавании по морям историй, хотя бы Тургеневское «Муму» и Гоголевскую «Шинель». Ведь, может быть, это и есть то, чего не хватает нашему железному веку с его пафосом борьбы.

**2.**

(Газетная вырезка «Как “бешеные” готовили преступление в Далласе», об убийстве президента Джона Кеннеди, «Последние слова президента», «После выстрела в Далласе» — Н.Ч.).

**3.**

Довольно сумасшедшее письмо Кобяка. Как я и подозревал, в трагической слепоте, видимо, есть доля мистификации, как и во всех действиях Мити. Слава богу, если все-таки он может читать и писать… и писать любовные стихи! Да еще: «Никогда в жизни я не писал так много». И еще любопытная фраза: «А мне не кажется, что я очень мало сделал! Любил много!»

Любил ли?..

«Тогда я впервые почувствовал грудь,
Впервые прижался лицом,
А руки искали потаенный путь —
Колени обнявши кольцом»

Потаенный? От слова «таить»? Потаенный.

«Но без любви не может жить
Поэт, и это видно!
Он поцелуями не сыт,
Целует он колени.
Он ищет ключик, где зарыт,

Он ищет тем не менее!»

«И будешь всю жизнь вспоминать ты о том,
Как тихо, тебя, я обнял,
Как тщетно пыталась колени платком
От нежного спрятать огня».

Две последние строки не плохие, но Митя не столько любил в жизни, сколько предавался сладострастью и разврату, а любовь это нечто иное, нечто бесконечно большое, но могущее, в конце концов, включить и то, и другое, в качестве частного, но, во всяком случае, постель не в качестве исчерпывающей сущности, выражаясь высоким штилем.

Причем в этих любовных делишках, увы, Митя подчас был весьма далек от элементарной «чистоплотности», охотно выступал в роли пошляка-соблазнителя и т. д.

И репутация у него в Париже в этом смысле была весьма сомнительная.

Я, конечно, вовсе не собираюсь становиться на точку зрения какой-нибудь добродетельной старой девы или стыдливого и негодующего пуританизма, весьма процветающего в современной литературе любезного отечества нашего, кстати, в качестве официальной доктрины. Эрос — это великое дело. Бог жизни и бог творческого начала, конечно! Но если замечательные люди были мучимы Эросом, это еще не значит, что все эротоманы — замечательные люди. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить парижские писсуары.

Люди, лишенные эротической взволнованности, — обездоленные люди.

Чересчур пречистые и непорочные девы — тоже и утомительны, и огорчительны своей прелестью.

Но кобель или «(…) жеребчик», вроде Бориса Ширяева, тоже мучимы Эросом, но от этого они, увы, не только не становятся великими, но и просто остаются скотами.

«Насекомым — сладострастье»?

Но ведь не только несчастного Гоголя, «онанирующего в холодных простынях» (Георг. Иванов «Разложение Атома»), но и самого Достоевского мучил Эрос.

Разве не прекрасно светлое эллинское отношение к любви и

загаженное потом скептическим христианством? Которое загнало любовь в грязные потаенные углы.

Но с другой стороны, не омерзителен ли холодный разврат «(…) и утонченный» до скуки в буржуазном семейном алькове Франции или в буржуазном салоне?

Трагедия О. наслаждение (сладострастие), выщелоченное от всяких «душевных» примесей.

Впрочем, я сам не до конца понимаю, почему светла и прекрасна Сафо и весьма сомнительны парижские лесбиянки?

Или виновен в этом искажающий романтизм? Или Пьер Луис? Со своими «Песнями Билитис». Alors! Уж не знаю почему, но «любовь» Мити Кобякова мне кажется не особенно светлой и не особенно прекрасной.

А вот бунинские «Темные аллеи» — это прекрасный гимн Эросу. Одно и то же явление становится чистым или грязным в зависимости от того, чисты или грязны внутренне мы сами.

Быть может очень смело и нескромно с моей стороны — Митя все-таки, по-моему, в этом деле был грязен и потому мелок, а я был чист не только с Ирой, но и с Еленой, и с Раей, благодаря, возможно, присутствию большого количества «душевных примесей», и в моей жизни помимо «перманентной» влюбленности с «младенческих лет» была настоящая большая Любовь. Глубоко несчастная, благодаря обстоятельствам — болезнь Иры — но и глубоко счастливая, вопреки всему.

А в большой любви, в предельной человеческой близости нет ничего стыдного. И еще потому, что в настоящей любви, любящий все отдает любимому человеку, все — для его радости все — для полноты его счастья, а не для своекорыстного эгоистического наслаждения.

В формуле любви: Ты — Я, чем настоящее любовь, тем значительнее Ты и мало значительнее Я. Мелькнула мысль — мужская ли это формула? Но если бы в мире царила «вечная женственность», разве мир не был бы трижды прекрасен?

(Газетная вырезка «Пушкин под “духовным надзором в Михайловском”. Неизвестная страница в биографии поэта» В. Войнова. — Н.Ч.).

**4. 2/XII**

Стою у окна возле вивариума и рассматриваю белых мышей. Подходит одна из наших работниц — женщина средних лет. Смотрит на мышей, ухмыляется:

— Смотрите, как лапами трут морды, будто умываются!

А у нас вчера ребята поймали «мыша», выскребли глаза,

подожгли шерсть; бросили на снег — так целый час не подыхал, живучие, гады. — Смеется.

Вот тебе и «вечная женственность», вот тебе и «Му-му»…

Хоть убей меня — никогда не поверю, что с такими людьми можно построить не только коммунистическое общество, но и просто-напросто человеческое, подлинно человеческое. С младенческих лет для меня было очень важно, как человек относится к животным — равнодушные к животным — были и мне глубоко чужды. Живодеры — вызывали ярость до спазм, я их и за людей не считал, да и сейчас не считаю — гнусные двуногие гады. Любить животных, видимо, меня научила мать, также как и любить природу, а может быть, я с этим родился.

В смысле морального воспитания необычайно необходимо с малых лет прививать детям любовь и привязанность к животным, именно по-есенински, как к младшим братьям:

> И зверей как братьев своих, меньших
> Никогда не бил по голове.

К сожалению, этот близкий контакт с животными опасен, ибо и домашние, и дикие животные являются источником многих серьезных и страшных инфекций — от скарид до эхинококков и тонсоплозисоза и т. д.

Я необычайно сильно всю свою жизнь ощущал эту «родственность»:

И родственную близость ко всему.

Я убежден, что животные это чувствовали и платили мне удивительной привязанностью, начиная с сеттера «Дего», парижских сиамских кошек «Бубуля» и «Томки» и до теперешних «Чока» и «Мурки».

По правде-то говоря, с этими милыми четвероногими скотами часто в жизни бывает теплее и уютнее, чем с двуногими.

Ну, как с такой теткой сговоришься, если для нее «выскребание глаз у мыша» явление забавное и нормальное.

Или шофер Зайцев, которому доставляло садистическое удовольствие медленно вспарывать животы и потрошить у раненой недобитой сайги. С звериным рыком: «Ууу! Е… твою мать!» Таких людей следовало бы привлекать к уголовной ответственности и судить беспощадно.

**5. 3/XII**

Любопытное явление в нашем быту анекдот. В странах западного мира с открытой оппозиционной прессой политический анекдот бледнеет перед ежедневной карикатурой, от которой не ограждены ни правительство, ни высшие представители административной власти, до президента включительно, он рождается и блещет разве что в политических салонах и на остроте у chansooniers, в нашем же мире, где на высшие органы власти наложено известное табу, где немыслима карикатура и открытая оппозиция, анекдот становится до какой-то степени выражением общественного мнения, а не только злопыхательства. Он может стать острым и опасным политическим оружием, подрывающим авторитет правящих. Правда, мы не французы и смешное у нас не убывает, но «армянское радио» не способствует укреплению уважения к властям предержащим.

И я не удивился бы, если бы узнал, что наши враги используют это обстоятельство и наводняют страну анекдотами, сфабрикованными за рубежом. Конечно, они рождаются и у нас. Во-первых, для этого русский народ достаточно озорной и остроумный, а во-вторых, об идеологических вещах «не дозволено» говорить открыто, где слишком много в жизни дощечек с «verboten» — там лучшая почва для произрастания анекдота.

Олег Кнорринг, приехавший из Москвы к нам в командировку, чтобы дать репортаж в «Огоньке» о детских колониях рассказал искусно (несколько) анекдотов, но они у меня мгновенно испаряются. Запомнил один.

В мировой литературе: «Ранний ренессанс», «Ренессанс», «Поздний Ренессанс». У нас: «Ранний предупрежденс», «Репрессанс», «Поздний реабилитанс».

Завещание Хрущева: «При погребении — отрезать хер, чтобы не говорили: «Хер с ним!», а хер повесить в продовольственном магазине, чтобы не говорили: «Ни хера нет!»

**6.**

«Окунь — рыба самая благородная: берет червя нахрапом в один момент и так его заглатывает, что едва, едва вытащишь крючок изо рта».

Письмо А.И. Куприна к Л.И. Елпатьевской (?).

Сопоставить с цитатой из Аксакова: «Уж право и не знаю, откуда произвести его имя. Не происходит ли оно от глагола окунать: ибо окунь всегда окунает, то есть погружает в воду наплавок, и даже не один раз, если кусок, им заглатываемый,

слишком велик? Но я нисколько не стою за точное словопроизводство (…)»

**7.**

(Газетная вырезка: «Ю.Терапиано, «Р.М.», Париж, 29/II 64, «Новые книги», о книге Виктора Мамченко «Воспитание сердца», вышедшую в Париже в 1964 г. — Н.Ч.).

**8.**

5/XII

В 1909 г. Толстой говорил А.В. Гольденвейзеру: «Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы; не как статья, рассуждения и никак художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то что сильно чувствуешь».

«…Когда я пишу историческое, я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности».

Толстой. Письмо к И. Корсакову.

**9.**

(Написанное карандашом детское стихотворение, стихи Наташи Т., подаренные Ю.Б. — Н.Ч.).

**10.**

(Статья акад. СН.Боева и подпись Ю.Б.: «Статья акад. Боева о новом роде и виде нематода из легких косули. Вид посвящен мне Skrjalinocaulus Soficci». В статье есть слова об этом: «Описываемую нематоду нельзя отнести ни к одному из родов семейства Protostronglidae, учтенных С.Н. Боевым (1957).;. в связи с этим мы выделяем эту нематоду в особый род, который называем Skrjabinocaulua (в честь академика К.И. Скрябина — лидера советских гельминтологов) И в самостоятельный вид Skrjabinocaulus sofievi (в честь художника Ю.Б. Софиева, положившего немало труда на расшифровку структуры некоторых пространгилид). — Н.Ч.).

**11.**

(Фотография пейзажа и подпись: «Кусты чия на берегу Иссык-Куля около Рыбачьего. На горизонте снеговые вершины Терской Алатау» — Н.Ч.).

**12.**

(Газетная статья «Размышляя над мемуарами» историка) А.Тодорского, о гражданской войне, о Деникине — Н.Ч.).

«Сознание бесплодно прожитой жизни томит Толстой «Седое утро».

Ох, как это верно, как это верно!

Жалею, что я видел на экране только первую серию «Сестры», но зато роман перечитываю не раз. Хорошо!

**13.**

(Фотография с подписью: «Союз молодых русских поэтов и писателей во Франции»: Елена Евгеньевна Маер (Лютц), Ася Берлин, Диомед Акимович Монашев, Юрий Борисович Софиев, Слудский, Виктор Андреевич Мамченко, Бибиков, Юниус, Антонин Петрович Ладинский, Гансон (Обсъянинова), Евгений Брониславович Сосинский, Александр Гингер, Гайто Газданов. 1927 г. или 1928 г. Париж. Во дворе помещения союза на Дафер-Ромеро». — Н.Ч.).

**14.**

(Стихи «Голубые гусары» и «По небу полуночи» Ант. Ладинсского из парижской газеты, стихи «После смерти…», перепечатанное на машинке и датированное 16 мая 1961 г. с подписью Ю.Б. — «Эти стихи А.П. написал за день до заболевания (инфаркт), которое закончилось трагически в ночь с 3 на 4 июля 1961 г.»

После смерти…
Не будет там
Ни вам, ни нам,
Не будет в доме стекол,
Даже рам,
Замолкнет воробьиный гам.
Не будет ничего,
Не будет никого —
Ни девушки, что так его
С такою нежностью поцеловала.
Не будет ни конца
И ни начала.
Растает все как дым.
Средь фимиамных зим…

Здесь же фото А.П. Ладинского (1896–1961) на пригласительном билете: «В клубе «Родина» 28 февраля 1966 года состоится. «Литературный понедельник». Программа: У истоков

нашей родины (по романам А. Ладинского «Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции»).

Литературовед П.Л. Вайншенкер. В зале развернута выставка. Начало в 19 часов. Справки по телефону: Ж 1-37-69. Адрес: 2-ой Крутицкий пер. дом 4. № На обороте билета дополнение: «Транспорт: метро ст. «Павелецкая», далее авт. 50 или трамвай 35, 38.).

**15. 8/ XII**

Перечитываю уже третий том Шекспира.

(газетная вырезка «Переписка Хемингуэя» Френсиса Лейтона — Н.Ч.).

**16. 25/ XII**

Отправил Могилевскому две статьи, продолжение Капчагайской экспедиции IV «Загадка Будды», V «Беспокойная ночь» (фалангах и пауках).

**17. 27/ XII**

Отослал письмо (новогоднее) Рае. Книжицу моих рисунков и новых видов гельминтов Леве (Бек-Софиеву, в Париж — Н.Ч.).

(Три фотографии: ручей среди деревьев на фоне гор. Ю. в лесу — подпись: «1950-51»; Ю.Б. с ружьем на фоне смежных гор — подпись: «1956 г., В горах с Таей. Зимний санаторий Алатау» — Н.Ч.).

«Ценили мы в своих поэтах
Большое сердце пополам
С уменьем бить из пистолета
И пламень метких эпиграмм».

(…) В Ландах в послевоенные часы, с Леной (Это, вероятно, относится к фотографии 1950 года. Где Ю.Б. среди леса, в шортах, показывает на что-то, — Н.Ч.).

Мутной кляксой желтеет во мне
Задымленное зимнее солнце.

**18.**

(Письмо карандашом от Волина Виктора Владимировича, из Актюбинска, от 7 мая 1958 г. и подпись Ю.Б. «Раскопки», Такая же надпись под конвертом письма от Милашевича из Парижа от апреля 1958 г. и под справкой из больницы, где Ю.Б. лечился с 20 июля по 4 августа 1959 г. «Раскопки» — это, вероятно, найденные бумаги после очередного приведения в порядок письменного стола, — Н.Ч.).

(Конверт с надписью: «Ирино письмо из Шартра от 14-V-40 г.)

Дорогой Юрий!

Сегодня у нас день совсем необычайный: вот уже скоро время gouler, а до сих пор не было ни одной смерти! Все бродят сами не свои и не знают, куда приткнуться. Лиля ушла в город, платить газ, значит — я должна сидеть дома и никуда не удаляться: так уж теперь повелось. А дома сидеть до черта скучно. Зато, как только завоет сирена — все забирают узелки с провизией и идут в поле. Пока что такими пикниками дело ограничивается. Но ведь когда-нибудь и нас может постигнуть участь Шатодэна.

Ночью Игорь несколько раз просыпался: “Мама, а смерти еще не было?” А черт ее знает! У нас и с открытыми окнами плохо слышно, так что мы их фатально просыпаем. Поэтому стараешься спать не очень крепко, — война, ведь, началась по-настоящему — весь день хочется спать.

Вчера под вечер, на соседней с нами улице, был пойман немецкий парашютист. Я собственными глазами видела, правда, не его, а толпу, которая все не расходилась после его ареста. Парашют был найден в нескольких километрах от города.

В пятницу начнутся занятия, так что жизнь, может быть, опять войдет в колею. Я купила raue libre (20 fr.) и сегодня сосед-подросток обещал мне устроить велосипед.

Я на Pavlicole пошла в собор, только подошла к арочному (…) и тут же «оно» и завыло! Я все-таки вошла внутрь — там служба, орган ревет, какая там сирена, ничего не слышно. Но все-таки слухи проползли — что тут началось! Попы не шелохнулись, а народ валом повалил в (…). У монашек только крылышки затрепыхали, — врассыпную. Мне очень хотелось подождать — зашевелятся ли попы, — да Игорь остался дома, а Лиля, хоть и хвастается своим спокойствием, но очень теряется.

А в общем — целые дни стою в окне с видом на аэродром и жду «сигнала на прогулку». Почему-то без сигнала принято не рыпаться!

Ну, крепко целую тебя и наших.

Кажется, день закончится спокойно. Еще целую. Спасибо за марки.»

(Под конвертом подпись Ю.Б.: «Перенести в особую тетрадь. Ирины письма и записки» — Н.Ч.).

(Фото памятника на фоне вечернего неба — Н.Ч.)
St. Malo Памятник Шатобриану.

Ирине.

Древний, изъеденный ветром гранит,
Синь и воздушный простор океана.
Крест одинокий над морем стоит —
Мы на могиле Шатобриана.

Тяжко ложились на узкие плечи
Гордость, тоска, одиночество, честь.
С этого берега в пасмурный вечер
Гнал его ветер, куда-то, бог весть!

Ты мне сказала, прервавши молчанье:
Все, кто нужду и беду испытал,
Все, кто был послан судьбою в изгнанье,
Все, кто скитанья судьбою избрал.

Все, кто дорожною пылью дышали,
Ставили парус, садились в седло,
Всех, кого солнце дорожное жгло —
Все эти люди нам братьями стали.

Кто-то им щедрою мерою мерил.
Каждого щедро бедой наградил.
В спящей Флоренции Дант Алигьери
Кутался в плащ и коня торопил…

Ты оперлась на меня. Перед нами
Вспугнутой птицы сверкнуло крыло.
Дни эти стали сочтёнными днями
В древнем разбойном гнезде Сен Мало.

Юрий Софиев.

(Фото двух молодых женщин и подпись: «Ирина и Люда» и конверт с письмом: «Милая Людочка Нестеренко. Прелестная девушка». — Н.Ч.).

(Открытка с видом Парижа. Текст от руки по-французски, вероятно, от Раисы Миллер — Н.Ч.).

**19.**

Vita active

Nita contcmplativa. Но разве активное созерцание не есть действенная жизнь? И все-таки мучительные раздумья о том, что rater в жизни. До конца дней не прощу себе, что я не уехал вместе с Эйснером в Испанию к Лукачу. Но это была бы безусловная подлость и безжалостность по отношению к Ирине, уже безнадежно больной.

Но вопрос — острее и глубже и потому мучительнее — действительно ли только «узы семейной любви» и долга удержали меня в Париже?

Или известная бездеятельность натуры?

Когда Ира случайно нашла записку уехавшего Эйснера к Левину, секретарю Союза возвращения на Родину, где он пишет, что тов. Софиев вполне наш, но в настоящее время он не может ехать в Испанию, т. к. у него очень серьезно больна жена, а он единственный источник материального существования, но если он сможет, то обязательно устройте его отъезд — Ира пришла в ярость.

В первые же дни войны я подписал заявление о своем добровольном желании поступить во французскую армию. Ведь я ненавидел фашизм с момента его возникновения. Всякий национализм мне всегда был противен и враждебен — я его считал и считаю зоологическим чувством — сам по себе буржуазный французский национализм — не лучше других.

Как я ни любил Францию, люблю ее и сейчас, но воевать за буржуазную Францию, за то французское государство, каким оно было в 1939 году (а было оно совершенно разорвано обостренными — классовыми противоречиями, лишено всякого единства и для самих французов. Это в корне подрывало французский, национальный патриотизм — combattre? pour qui? И в значительной степени определяло инертность, вялое безразличие «drol de guerre»).

Словом, буржуазный французский национализм и у меня, конечно, не мог вызывать особого энтузиазма. Был ли я в то время космополитом в полном смысле этого слова? Нет. Был ли я националистом, опять-таки в полном смысле этого слова? Нет. Просто думаю, ни до того, ни до другого я еще «не дорос»,

правда, вместе со всем человечеством. Оба эти понятия глубоко человечны и принадлежат будущему.

Чувствовать себя полноправным членом единой семьи народов Земли, не смотря на различие наций, языка, верований, чувствовать себя у себя дома в любом месте планеты — по существу это естественное чувство человека, преодолевшего наследие, но наследие многовековое, «первобытной истории».

Но нужно сознаться, что преодолеть в себе то чувство, которое глубочайшим образом гнездится в нас и которое вмещается в «pro patria» — вещь весьма не легкая. И если у человека этого чувства нет, то это еще вовсе не значит, что человек поднялся до подлинного интернационализма, до высокого космополитизма — чаще всего в наши дни это свидетельствует о низменности и эгоистичности натуры, т. е. натуры, вполне укладывающийся в мелкий мирок своих личных эгоистических интересов, страстишек и вожделений.

Что касается — пацифизма, подлинного пацифизма, т. е. глубокого отвращения (немыслимости) к войне, как к мерзости, убийству и варварству, при чем, конечно, ко всякой войне, как таковой, как к немыслимому для человека средству решать спорные вопросы, словом, пацифизма Толстого, Ганди, Ремарка, Барбюса — конечно, и он принадлежит будущему, конечно, он является прекрасным порывом подлинной человечности, но, увы, этот подлинный пацифизм слишком опасен для любого правого или левого, буржуазного или социалистического государства, а потому мудрыми государственными мужами почитается вредным.

Во-первых, государству никак, по крайней мере «на данном этапе», «в переходную эпоху» и т. д. не обойтись без pro patria, без этого стимула защиты, а всякая защита или pro patria обязательно требует от гражданина готовность, и даже пыл, участвовать, теперь если не в кавалерийских станах (это было по крайней мере хоть романтично), то в нажатии кнопки или в массовом уничтожении человечества.

Я не могу вспомнить стихи Огарева насчет государства — вместилища «всякой мерзости». Это (…), ибо государство «опять-таки на данном этапе», наряду с безусловными мерзостями вмещает в себя и полезные вещи.

И эти полезные моменты, может быть, оправдывают эволюцию от «ночного сторожа» до прожорливого современного Левиафана.

И если, казалось бы самые пацифистские государства не могут отказаться, во имя реальной политики, от рассуждений на

тему о справедливых и несправедливых войнах, т е тем самым принимать войну, как метод, как способ и т. д., то и у пацифизма интегрального есть свои тупики и он может упереться в проблему «непротивления злу» и конечном счете в Соловьевские «Три разговора».

Словом, в сентябре 1939 г. я не был ни пацифистом, ни космополитом и с сознанием исполняемого долга подписал декларацию «А», т. е. о моем добровольном поступлении во Фр. Армию. Мне было 40 лет, на медосмотре я был признан готовым для вспомогательной службы в армии — bon pour service auxiliaire и должен был ждать повестки с вызовом. В строевой части армии до 35 лет. Для меня это было логично идти воевать не за кого-то, а против фашизма, за анти фашизм можно было идти с французами, с сербами, с англичанами и т. д. Русские тогда не воевали, русские заключили с Гитлером пакт о ненападении и это сильно смутило наши души, в те дни трудно было найти этому правильное объяснение, трудно было принять это эмоционально, в некоторые души закрадывалось сомнение — может быть, в буржуазном мире и действительно нет ценностей, которые стоило бы защищать. Были сомнения и другого типа — как мало еще тогда знали подлинное лицо фашизма, может быть, Гитлер, грозя плутократии, несет справедливые решения социальных проблем — «нашли же русские с ним общий язык?». Были и такие мысли. Я не знаю, по каким мотивам и побуждениям Виктор Мамченко решительно отказался подписать декларацию «А» и как бы занял нейтральную позицию.

С моим призывом в Армию ничего не вышло. Я не получал повестки и последний раз пошел о себе напомнить после 10 мая, когда Гитлер после зимней «drole de guerre» начал наступление через Бельгию на Париж.

Мне опять ответили «ждите вызова», которое прозвучало — «не до вас!»

Мы решили с Ириной воздержаться от exade и остались в Париже.

Кстати, любопытна и трагична судьба Г.В. Адамовича, он на несколько лет старше меня, но он, действуя настойчиво, добился того, что его в армию взяли. Трагедия была в конце концов не в том, что и он фактически попал в service auxiliaire и вместо участия в боях, охранял какие-то склады! Трагично было, как был воспринят французами этот порыв участвовать в борьбе против фашизма.

Георгий Адамович талантливый поэт и умнейший критик не был ни коммунистом, ни социалистом, Адамович верил в духовные ценности западной демократии и, прежде всего, в

ценность человеческой свободы, и потому был убежденным противником фашизма, как и всякого тоталитаризма, он шел защищать человеческое достоинство.

И как раз это человеческое достоинство подверглось тяжелому испытанию. Французский комиссар никак не мог поверить, что какой-то иностранец, проживающий во Франции, который по возрасту не подлежит даже мобилизации, вдруг просится в армию добровольцем! Ясное дело, тут что-то не чисто. Шпион? Диверсант? Или просто идиот?

На подлинном допросе, учиненном Адамовичу, оскорбляя как раз человеческое достоинство недоверием и подозрительностью, комиссар все добивался «настоящего объяснения», по каким мотивам «Мальбрук в поход собрался»? И почти взбешенный Адамович, наконец, заорал на него: «Неужели Вам непонятно, что я хочу драться с фашистами?» Явно показал, что ему это действительно не понятно. В результате, беспомощный и неприспособленный Адамович попал в казарму и до конца войны охранял какие-то дровяные склады.

Я же в армию так и не попал и вероятно к лучшему, ибо война обернулась не только трагедией, но и фарсом.

«Как нам дали под Седаном, так мы и оказались под Бордо!». 4 миллиона военнопленных, почти не воевавших, отсидели четыре года в лагерях.

Мое участие в «Сопротивлении», очень вялоё и косвенное, конечно, я делал гораздо больше, чем, скажем, Кобяков, который теперь в образе Водовозова пытается фантазию выдать за действительность. Я действовал в одиночку, ненавидел фашистов, не боялся эту ненависть высказывать, помогал, как мог, людям, находившимся в беде.

Обстоятельства помешали мне принять близкое, непосредственное участие в подпольном «Русском патриоте». Ко мне пришла Таня Покровская и на бульваре Мэн, на скамейке, мы договорились о моем участии. Я предупредил только, что совершенно не умею писать агитационных ни стихов, ни статей. Но всецело отдаю себя в их распоряжение. Но неожиданно попал в Германию. Я поддерживал связь с Сотниковым, через него устраивал для (…) фальшивые документы для Тани Платоненко, которую приютил у себя с Юрой (…), когда они сбежали из немецкого лагеря.

Всюду, где только мог, вел просоветскую пропаганду — за все это немцы сажали и расстреливали, но когда уже в «Советском Патриоте» председатель Качва, зная о моем поведении во время войны и оккупации, предложил мне оформиться в группе

«Сопротивление» — получить соответствующие «документы», я заявил, что у меня для этого недостаточно оснований, т. к. «формально» я не состоял ни в одном отряде. Но по совести говоря, разве все наши сопротивленцы воевали где-нибудь? Или вели по-настоящему подпольную работу? А мое поведение в немецком лагере? Где я действительно вел советскую агитацию, поднимал дух у советских граждан, угнанных на работу, и т. д. И только чудом не попал в лапы гестапо, благодаря встрече с Грегоре.

Отношение ко мне французских товарищей по лагерю, основанное не только на глубоком доверии, но и на исключительной теплоте и уважении. И т. д.

Но все-таки я не взорвал ни одного эшелона, не убил ни одного немца и т. д. Не стал начальником партизанского отряда и т. д. Каждому свое. Но я своим удовлетворен мало.

(конверт от Ек. Павловны Пешковой — Н.Ч.).

27/I. Ответил Ек. Павл.

**20.**

(Вырезка из газеты «Франс-нувель», Париж. «третья неделя марксистской мысли» — Н.Ч.).

У каждого народа свое лицо, свой характер и, конечно же, свое mentalite — все это определено пройденным историческим путем и представить себе Францию без сосуществования идей, тоталитарной страной с единой официальной идеологией — немыслимо, «петенизм» пытался изнасиловать Францию, но ничего из этого не вышло. Страсти разгорелись, накалились, ожесточились, но привести страну к «общему знаменателю», конечно, не удалось. Часть нации на «анти коммунизм» клюнула, а коммунисты возглавили «сопротивление» наряду с другими партиями; объединению помогло унижение национального чувства.

С революции, и до революции (энциклопедисты, Руссо), сосуществует Франция масонская (радикалы) и клерикальная, воюют, но за горло друг друга не хватают.

И во Франции не только возможно, но и нормально и буднично что «обмен мнениями будет проходить в обстановке откровенности и уважения к идеям и взглядам каждого из участников дискуссии».

28/ I

Л. — неизъяснимое! Неизъяснимое по красоте переживаний.

(И письма, письма от Раисы Миллер из Парижа — приклеены

только конверты, сами письма хранятся в отдельной папке — Н.Ч.).

## ТЕТРАДЬ XII (февраль-май 1964 г.)

**1.**

(Вырезка из газеты — неизвестно какой, «Правдивая повесть», автор С. Маршак, о повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — под рубрикой «На соискание Ленинской премии» — Н.Ч.).

Странное впечатление производит эта статья. Солженицын, пожалуй, действительно написал правдивую повесть; правда, сглаживая углы и как бы чрезмерно следуя завету Чехова, о страшных вещах писать «холодно» или оставаясь «холодным».

В общем, этот чеховский метод дает куда более «сильные», как теперь говорят, «впечатляющие» результаты, чем, скажем, противоположный Андреевский («пугает, а мне не страшно» Л.Толстого), у Солженицына он, конечно, кроме всего прочего, обусловлен и специфическими нашими обстоятельствами, но статью Маршака, пожалуй, «правдивой статьей» не назовешь, вся она как-то «фальшивится» трусливой и лукавой полуправдой — будто Маршак и не заметил всего ужаса этой повести, ибо самое страшное в ней попрание самых высших человеческих ценностей — человеческого достоинства и человечности. И, может быть, еще трагичнее, что революция, весь смысл которой в утверждении именно этих ценностей, на каком-то своем этапе привела к абсолютному отрицанию этих ценностей, бросив их на поругание Волковым.

Как сказал «старый еврей»: «спрашивается вопрос» — неужели Ленин, Горький, Толстой, Чернышевский, Герцен и с ними вся прогрессивная русская литература, наигуманнейшая в мире, вышедшая из «Шинели» и «Муму», из сочувствия не только к человеку, но и животному — прочитав эту страшную книгу и закрывая ее, могли бы повторить с эпическим спокойствием тронутым легкой меланхолией, маршаковские «когда закрываешь эту повесть, жалеешь о том, что никогда больше не встретишься ни с Шуховым, ни с могучим бригадиром Тюриным ни с Кавторангом, которого в конце повести увели в промороженный карцер». Откровенно говоря — сомневаюсь. Другие чувства и другие взрывы возмущения по прочтении этой книги. И какое любопытство — «Даже не узнаешь, что с ними со всеми стало».

«Шпионов — в каждой бригаде по пять человек, но эти шпионы деланные. По делам проходят, как шпионы, а сами (…) просто. И Шухов такой же шпион».

«В Усть-Ижменском скажешь шепотом, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают». Разве это не страшно, не трагично, что этот дикий азиатский деспотизм расцвел в стране Революции, в стране, народ которой произвел впервые в истории величайшую революцию во имя человеческого достоинства и справедливости?

Нет, уважаемый товарищ Маршак, мы знаем теперь, после XX съезда, и это искупляющая (?) заслуга Хрущева, что стало с сотнями тысяч Шуховых, Тюриных и прочих советских людей, ставших жертвами «заблуждений и ошибок» Сталина. А ведь в воскресение мертвых мы не верим!

**2. 2/II**

Читаю дневники Блока.

«… искусство с воздействиями какой бы то ни было власти несовместимо…»

А.Блок, Дневники, 1920 г.

Мысль остается верной и вне связи с блоковским текстом, лишком ясен соблазн: — вместо высокого служения, служба чиновника, обеспеченность и благополучие, и неизбежный, почти, конформизм. А это все так чуждо большой русской литературе.

**3.**

(Была, видимо, наклеена открытка, но теперь отсутствует — Н.Ч.).

3\II

Из этой открытки заключаю, что Ек. Павловна уже получила мое последнее письмо. Нужно спросить Вл. Григ, о судьбе Жени Сосинского (старшего брата), весьма слабого поэта и еще более слабого художника. Алексей Михайлович Ремизов окрестил его очень метко: поэт Козелок. Женя хроменький и было что-то очень козлиное в его физиономии и всей его фигуре. Так под Козелком он и фигурирует в ремизовских рассказах о знакомых, так же как В. Унковский (журналист и врач) под «африканский доктор».

(Фотография, где Ю.Софиев держит за руку казашку в белом платочке, она улыбается. Подпись: «Дана прислала фото: графию. Лето 1963 г. Красивая казашка и очень милая женщина» — Н.Ч.).

**4. 6\II**

Дурак я был дураком, когда раскинув сердцем; а не разумом, решил пустить их к себе (пожалев, конечно, Игоря). Куда было им деться. Но послушавшись сердца, а не разума, слишком жестоко сейчас плачусь именно сердцем. И, вероятно, рано или поздно до инфаркта. Но описывать всю эту мерзость нет никакой охоты.

**5. 12/II**

Читаю дневники Блока.

1919, 1920, 1921! Как трагично и как пронзительно! Нестерпимо щемящая нота.

17/II

(Наклеена чья-то записка: «Юрий Борисович!!! Посылаю Вам эти порошки, принимать по 1 порошку 3 раза в день, аккуратно, действие их снимает спазм коронарных сосудов. В эту субботу я не смогу придти, так как предстоит срочная работа, а в дальнейшем я позвоню. С приветом (…)», подпись неразборчива — Н.Ч.).

(«Письмо к матери», чьи-то детские стихи, написанные корявым почерком. Подпись: Н.Трофименко, 23/ /I, 64 г. Видимо подарок к Дню советской Армии. — Н.Ч.).

**6.**

2 (…) /III

Отметил стихи Блока для Любы Нестеренко, то, с чего ей легче всего начать, чтобы он не отпугнул и в начале трудным своим символизмом, третий том — наиболее доступный. А об «Розе и Кресте» боюсь и упоминать — непонимание или равнодушие к этой, одной из самых настоящих, самых изумительных вещей Блока меня не только печалит, но мучительным образом оскорбляет. Грубые, тупые, примитивные идиоты! К тому же абсолютно лишенные «исторической эмоции». А впрочем, ведь и Станиславский прошел мимо настоящего. И, конечно же, сразу сумел оценить ее Алексей Михайлович Ремизов.

Кстати, люди, лишенные исторической эмоции, вызывают у меня — даже не знаю какое чувство: les panvres, за что их лишили такого богатства; будто проходит человек, лишенный обоняния, мимо розариума. «Не подозревая»!

Когда-то о людях, которые «не подозревают» о многом в жизни, хорошо писал Юрий Фельзен. Кажется, в «Письмах о Лермонтове». Какая страшная вещь — угасание памяти!

Я сейчас подумал: «кажется», его звали по-настоящему

Николай Фрейденштейн. А этого забывать нам нельзя. Ничего о них нельзя забывать. Я говорю о них. Потому что думаю о Юре Мандельштаме, о Илье Исидоровиче Бунакове-Фундаминском, и о многих, многих, может быть, о 6 миллионах. Потому что они были евреями, с их страшной трагической судьбой и они погибли, и об этом нельзя забывать, и перед их памятью мы должны как-то все время стоять с обнаженной головой.

Так! Это преступления фашизма, преступления Гитлера.

Ну, а сотни тысяч, а может, и миллионов (кто знает?) невинных, честных советских людей, погибших по милости тов. Сталина?

«Ошибки и заблуждения»? Об этом можно забыть? Или при упоминании об этом трусливо поджимать хвост под (…).

И кто меня убедит, что гнусная такая бесчеловечность везде и всегда равнозначна. И никаким «во имя» ни прикрыться, ни оправдаться не может, потому что нет превыше ценности, чем человечность, и ничего не может быть гнуснее и подлее софистики, провозглашающей бесчеловечность во имя человечности!

**7.**

(Отрывок письма к Полине Львовне Вайншенкер, другу и биографу писателя Антонина Петровича Ладинского — Н.Ч.).

— Среди материалов о Ладинском, присланных вами Ник. Ник. — у, меня поразила «справка» Татьяны Алексеевны Осоргиной.

Это даже не ответ на письмо, это именно «справка», подчеркивающая нежелание завязывать переписку с Вами и по поводу Ладинского, это явная демонстрация, носящая антисоветский характер. Ведь все мы, вернувшиеся на родину, в глазах этих эмигрантов — чуть ли не «предатели» и т. д. Один мой прежний приятель и сподвижник по «Союзу русских молодых поэтов и писателей во Франции», Ник. Владим. Станюкович — поэт и литератор, демонстративно не пожелал принять от меня последнюю книгу его брата Кир. Вл. Станюковича «Тропой архаров» — советского ученого, биолога.

Помимо всего прочего, эта «справка», как мне кажется, далека от «истины». Осоргина старательно отгораживается в ней от Ладинского, и выходит так, что Михаил Андреевич (Осоргин — Н.Ч.) и она были еле-еле знакомы с Ладинским.

«У нас дома был, вероятно, всего несколько раз. Один раз, помню, довольно смутно, что был вечером в числе других знакомых из числа литературной молодежи».

Последняя фраза требует расшифровки. У М.А.Осоргина,

если не ошибаюсь, по понедельникам вечером регулярно (опять-таки не помню, каждый или через понедельник) собирался кружок, кружок этот носил несколько специфический характер, в него, действительно, входило некоторое число литературном «молодежи» («молодежи» по эмигрантским особым меркам, где некто был моложе Бунина, Зайцева, Осоргин а, Шмелева, Мережковского и т. д., все, кто начал свою литературную деятельность уже в эмиграции, до конца эмигрантских дней оставался «литературной молодежью»), но кружок этот не был литературным.

По книге Любимова «На чужбине» Вам теперь известно о масонских кругах в эмиграции. Фр. Масонство распадается на два крыла, на два самостоятельные объединения — на «Grond Logi» и на «Grond orient». «Великий Восток» считается более «левым», точнее, с политическим уклоном (радикалы, социалисты), тогда как «Великая Ложа» делает упор на «самосовершенствование» и на «разведение» масонской мистики.

В «Великий Восток» входила русская «Северная Звезда», одно время руководимая эсером Ависентьевым (?), в «Великую Ложу» входили чуть ли не 7 русских лож («Юпитер», «Астрея», «Северное сияние», «Гермес», «Гамаюн»?).

Руководители этих объединений то ссорились, то мирились между собой, то разрывали всякие отношения, то заключали «братские» отношения. Но «меньшие братья», рядовые масоны, пользуясь правом посещения и тех, и других лож, постоянно общались друг с другом.

Во время заседаний в «масонских храмах» их можно было различить по цвету муаровых лент, которые он носили через плечо — у «Великого Востока» — голубые ленты, у «Великой Ложи» — голубые с красной опушкой по краям.

Так вот, и Осоргин, и Ладинский были «братьями» «Северной звезды» и у Осоргина по понедельникам как раз и собирались масоны, среди которых, действительно, было немало и литературной молодежи.

Беседы велись на «душеспасительные масонские» темы, которые очень скоро всем надоедали, уступая место литературным сплетням, спектаклям, и вообще литературным событиям. Осоргин приглашал по преимуществу литераторов, входивших и в другие ложи. Татьяна Алексеевна приготавливала чай, бутерброды и удалялась в свою комнату. Об этих вечерах мог бы рассказать Вадим Андреев, который, как мне кажется, был постоянный их посетитель.

Я не могу утверждать, что Антонин Петрович (Ладинский — Н.Ч.) был в близких дружеских отношениях с Осоргиными. По

своему характеру, весьма замкнутому, он в «дружбу не лез», да и к себе очень близко «не подпускал». Но с Осоргиным постоянно встречался и, прежде всего, в редакции «Последних новостей», оба были постоянными сотрудниками, в «Северной звезде», и конец по понедельникам на сборищах.

У Осоргина были свои причуды, он действительно терпеть не мог стихов (как упоминает Татьяна Алексеевна), так же как и скрипки — и всегда любил это подчеркнуть. Хозяином он был радушным, до конца своих дней был необычайно моложав, гостей у себя принимал часто в черной бархатной кофте с белым отложным воротником (это к слову). Таким запомнился.

Что до меня — то близких отношений у нас не было. Но в маленьком и тесном эмигрантском кругу, да еще в его «левом» секторе — все мы постоянно сталкивались. О том, что Осоргин фактически издал «Черное и голубое», было известно главным образом в окружении «Последних новостей», ни Осоргин, ни Ладинский этого не афишировали.

Я сейчас (…) воспоминания Ник. Ник.-а. В общем — это так. Совершенно понятно, что Ник. Ник. склонен все видеть под определенным углом зрения — «через Ирину», это иногда искажает подлинную перспективу.

В дневниках Ирины несомненно отражен факт ее все же мимолетного увлечения Ладинским, ибо в то же время ее воображение очень сильно было заполнено Юрием Терапиано. Это увлечение было гораздо более прочным и длительным. Оно даже отражено в стихах. Оно оставило гораздо более глубокий след. Только Терапиано держался несколько «олимпийцем», тогда как Антонин всегда был не прочь поухаживать.

О работе Ладинского на телефоне.

Большинство эмигрантов занимались физическим трудом. Этим путем добывались средства к существованию. И этот труд никого не оскорблял и не казался унизительным для интеллигентного человека. Люди работали на заводах, шоферами такси, малярами, чистильщиками стекол и т. д.

Первые свои парижские годы Ладинский тоже работал на заводах рабочим, а потом устроился в редакцию «Последних Новостей» постоянным дежурным на телефоне и отчасти курьером. Я не помню, когда именно, но как мне кажется, после 1927-28 гг., т. е. тогда, когда он уже печатался в этой газете, хотя, вероятно, в эти годы еще только стихи! Психологически в этом была известная сложность и щекотливость его положения. Вспоминал Ладинский об этой работе с чувством уязвленного самолюбия. Как-то, уже в послевоенный период нашей совместной работы в «Советском патриоте» в одной из наших

беседу него сорвалось:

— Я им, сволочам, и чай разносил!

С другой стороны, постоянное присутствие в редакции делало Ладинского «своим человеком» в газете и очень скоро он становится ее постоянным сотрудником, печатает стихи, рассказы, очерки, путевые впечатления, редакция посылает его (или во всяком случае денежно способствует его поездкам) в качестве собственного корреспондента в Иерусалим, в Сирию, в Чехословакию, в Прикарпатскую Русь и т. д. Конечно, выдвинулся он благодаря своей одаренности.

Нужно сознаться, что войти в литературу, т. е. начать печататься в эмигрантских изданиях до 1930 годов нашему поколению было весьма не легко.

«Старики» (во всяком случае, такие маститые, как Бунин) первое время нас встречали в штыки, или весьма равнодушно, не проявляя к нам никакого интереса. У меня, к сожалению, пропала вырезка — заметки Бунина о молодых поэтах (в том числе и о Ладинском), стихи которых были напечатаны то ли в «Воле России» до 1930 г. (не помню), может быть, первый раз, в таком стиле: «какой-то Ладинский», и затем шли высокомерно-оскорбительные выпады в адрес решительно всех молодых авторов. Я очень любил Ивана Алексеевича, бывал у них в семье, а для Веры Николаевны был просто «Юра», но из песни слов не выкинешь, да и знакомство и известная близость пришли гораздо позднее.

Опять (…) много позднее, вспоминая об этом Ант. Петр. говорил:

— И это в то время, когда Бунин встречался со мной за столом у Мережковских и отлично знал меня — он потом даже извинился.

По многим причинам я терпеть не мог Мережковских и потому бывал у них редко, во время войны уже принципиально совсем не бывал, но справедливость требует упомянуть, что двери их воскресного литературного салона были широко раскрыты для молодежи. И если не Мережковский, то З.Н. Гиппиус весьма «милостиво-благосклонно» относилась к каждому приходящему к ним. Среди ее фаворитов был Виктор (Мамченко — Н.Ч.), но Виктор был человеком независимым и к тому же «enfant terrible», резкий в суждениях, горячий и несдержанный в спорах, но всегда искренний и глубоко убежденный, часто его «бурные выступления» кончались скандалами, в непозволительной форме он обрушивал на Мережковского, на Гиппиус и на многих из присутствующих, решительно ни с кем и ни с чем, кроме своей горячей убежденности, не считаясь.

Какой бы ядовитой и злой (простите меня за это выражение) бабой Гиппиус ни была, но отказать ей в остром уме и проницательности трудно, и она, конечно, сразу почуяла в Мамченко, в этом, повторяю, «enfant terrible», натуру такого высокого духовного напряжения, такую «одержимость» к высокому и прекрасному, такую жажду истины, что не смотря на все его выходки, сразу оценила его и в своем дневнике (опубликованном Вл. Злобиным, поэтом и секретарем, после ее смерти) постоянно называет Мамченко «другом № 1».

Но я отвлекся, разговор у нас шел о Ладинском, а не о Мамченко. Ладинский тоже бывал у Мережковских. Ладинский бывал вообще во всех русских литературных салонах Парижа.

Он был достаточно «нейтрален» или, вернее, был «сам по себе».

Он бывал также на вечерах «Зеленой Лампы» (Мережковские), как и в «Кочевье» (Сосинский, Андреев) — кружках, резко враждовавших между собой.

Я не помню, бывал ли он у Вл. Ходасевича (тоже по воскресеньям) — вероятно, но если память мне не изменяет, у А.Мих. Ремизова мыс ним не раз встречались. Бывал он у Мих. Цейтлина (богатый правый эсер, поэт «Амари», один из представителей «чайной династии Высоцких». Один из издателей «Современных Записок» — человек культурный, мягкий и милый).

После войны все мы были завсегдатаями в двух литературных семьях — у Аркадия Веньяминовича и Лиды Румановых и у Элькон. А.М. Элькон была поэтессой, секретарем нашего «Объединения русских писателей во Франции», жила с матерью очень культурной женщиной, всю жизнь влюбленной в творчество Гете.

Аркадий Руманов, когда-то один из директоров (…) дела, был одно время секретарем редакции «Советского патриота», стараниями его жены у них собирался почти весь русский литературный Париж (кроме реакционно правого), у них мы в 1947 г. устроили встречу с Ильей Григорьевичем Эренбургом и Константином Симоновым. Симонов читал нам тогда свои стихи.

Ладинский был завсегдатаем у Лиды Румановой. Ант. Петр. — очень любил остроумный анекдот и всегда носил с собой записную книжку, куда записывал услышанные новые анекдоты. Он был одарен таким чувством юмора, любил смех, и встречаясь с человеком, любил рассказывать ему новый анекдот.

Милая Полина Аьвовна, простите за эту болтовню, о пустяках, да еще, как говорят (…), pele-mile, свалив все в кучу, и т. д.

P.S. Если встретитесь с Ильей Ник. (Голенищевым-Кутузовым), будьте добры спросить его, получил ли он (…) «Новую жизнь». Мы с ним связаны очень давней и крепкой дружбой, я его очень люблю, но переписываемся через десятилетия примерно 1 раз в 15 лет!

(Конверт и подпись: «Наконец письмо от Таи» — Н.Ч.)

**8.**

Огромные и мощные стрекозы —
Поблескивает алюминий легких крыл —
И правят лёт свой прямо к солнцу,
Как будто измываясь над Икаром.

И отлежав бока, поджарившись как шницель,
Сгребя потрепанный альбом с одним наброском,
Бодлера, блока и тетрадь,
Иду веселою мохнатою тропинкой,
Чтоб в ресторанчике с названьем странным:
«У кролика, что курит»,
Пить ледяной норманнский сидр…

Июнь 1926 г.
Medon Vol. Flury Софиев.

(Выписка — на французском — из Антуана де Сент-Экзюпюри и подпись: «Прекрасная страница! 18/III, 1958 г.» — Н.Ч.).

**9.**

(Конверт с подписью: «28/XII 1925 г. Первая моя корреспонденция из Монтаржи в «Последних Новостях». И сама заметка (еще в старой орфографии, с ятями):

«В Монтаржи чествование памяти декабристов.

День столетия декабристов был отпразднован в Монтаржи с особой торжественностью. Из Парижа приехали два лектора Русск. Нард. Унив., Д.М.Одинец и М.Л.Гофман.

В своем докладе «О Декабристах» Д.М.Одинец осветил это событие, как историк и юрист, отметив его огромное значение Мя дальнейшего развития истории русской интеллигенции, Русской общественной мысли.

МЛ.Гофман подошел к той же теме, как историк литературы.

Аудитория (человек около 60) с напряженным вниманием и неослабевающим интересом выслушала обоих лекторов. После

Доклада Д.М.Одинец и М.Л.Гофман приняли участие в интимном товарищеском ужине, устроенном кружком «Самообразование».

Следует отметить, что это уже третья лекция, устраиваемая комитетом помощи русским ученым и писателям и Русск. Нар. Ун. у нас в Монтаржи. Кружок «Самообразование» взял на себя административную помощь в этом добром начинании. Нар. Университетом выработана программа систематических лекций по Русской истории XIX–XX вв., истории Западной Европы и истории новейшей русской литературы. Первая лекция проф. Д.М. Одинца «Эпоха Александра I» прошла с большим успехом, собрав свыше 50 человек. С таким же успехом, при наличии такой же аудитории, прошла и вторая лекция Н.Н. Кнорринга «Великие испытания» (борьба с Наполеоном I).

По-видимому, Нар. Унив. и местный кружок «Самообразование» приобретают себе постоянных друзей. Не приходится и говорить о громадном воспитательном и культурно-просветительном значении этого ценного начинания, надуманного комитетом помощи русским ученым и писателям и Народным Университетом, а нас, русским людям, поставленным в эмиграции в тяжелые условия борьбы за существование, условия, часто лишающие нас привычных культурных условий, хочется горячо поблагодарить тех, кто пошел нам на помощь в удовлетворении наших духовных нужд.

Ю.С.

Лангле.

28 декабря 1925 г.» — Н.Ч.).

(Автограф записки Ирины Кнорринг:

«Отдаю тебе все дни мои глухие,
И каждый взгляд, и каждый звонкий, стих.
И все воспоминанья о России,
И все воспоминанья о других.»

На обороте рукой Юрия Софиева:

«Обложка Ириной тетради для записи лекций в Фр. Рус. Институте.

Во время лекции Ира написала эту строфу (потом она перешла в стихотворение) и показала мне. Вероятно, это было после нашей поездки в Версаль, т. е. после объяснения (или попозже)» — Н.Ч.).

(Пригласительный билет на. имя Софиева на расширенное заседание Ученого Совета, посвященного 65-летию со дня рождения и 40-летию научной деятельности директора Института зоологии АН Каз. ССР, доктора биологических Иллариона Григорьевича Галузо, 8 апреля 1964 г. — Н.Ч).

(Переписанные от руки Ириной Кнорринг стихи Вл. Ходасевича «У моря» и приписка Ю. Софиева: «Стихи Владислава Ходасевича, переписанные рукой Ирины» — Н.Ч.).

25/III, 11,45 моск. вр. Выехал в Кисловодск. Провожали Клава, Игорь, горигорий Сергеевич, Новинская.

4/V В 6 утра моск. вр. вернулся из Кисловодска через Астрахань (остановка 7 дней) в Алма-Ату.

## ТЕТРАДЬ XIII, 1964 г.

**1.**

(пригласительный билет Ю.Софиеву принять участие в годичном собрании Общества паразитологов Казахстана, 20 мая 1964 г. — Н.Ч.).

(Перепечатанные на машинке стихи «Косовская Дева» с припиской Ю. Софиева: «Битва на Косовском Поле сербов с завоевателями турками (1389 год), перевел с сербского Николай Татищев — Н. Ч.)

(Письмо Н.П.Смирнову, Москва — Н.Ч.)

Дорогой Николай Павлович!

Только что вернулся из Кисловодска, где провел месяц в санатории и обнаружил, к очень большой моей радости, Ваше письмо. Мне, признаться, было как-то очень грустно, что наша переписка «затормозилась» и, конечно, именно по тем причинам, о которых Вы пишите. Может быть, в нашем житие есть какая-то излишняя, даже суетная, напряженность. По крайней мере, моя работа все время идет в какой-то спешке, сплошной «аврал». Правда, я очень люблю свою работу, но в мои 65 лет и с моим никуда не годным сердцем — трудновато. Уйти «на покой» — видимо, у меня никогда не хватит духа! Не только работа, коллектив, но и вся наша «зоологическая» атмосфера столь любезна моему сердцу, что оторваться от всего этого у меня нет сил. И еще — экспедиции, в которые я «вопреки и не смотря на

все» вырываюсь, время от времени, хотя, по совести говоря, по роду моих институтских занятий — микроскоп, тушь, карандаш, перо, кисти, фотолаборатория — в экспедиции меня можно пускать только ради «проветривания». К счастью, мой директор, академик И.Г. Галузо, не только благодаря доброму ко мне отношению, понимает, что человеку необходимо получать время от времени известную «дозу живой природы», а я всю свою жизнь никак не мог без нее обходиться и всегда черпал в ней и силы и утешение и «зарядку» на будущее. И как хорошо сказано у Блока: «мира восторг беспредельный/ Сердцу певучему дан», «Песням внимай океана, / В алые зори глядись». С Акми у меня «постоянный контакт» через «Русские новости», очень мне полюбились ваши короткие рассказы, воспоминания, полные ярких красок, подлинного, очень теплого лиризма и какой-то очень грустной, пронзительной нежности. И как мне писал неоднократно Могилевский, их очень любит тамошний читатель. Я ведь тоже, так же платонически сотрудничаю в «Р.Н.». Но что меня несколько удивило — Комитет по культурным связям с зарубежными русскими людьми попросил у меня стихи для альманаха «В краях чужих». Я послал. Сборник вышел. В нем напечатано три моих стихотворения. В редакторском предисловии указано, что «из Советского Союза мы получили стихи от бывших эмигрантов — поэта и художника Ю.Б.Софиева и профессора Московского гос. Универ. И.Н. Голенищева-Кутузова (Илья — мой старинный друг юности, мой университетский товарищ. Сейчас он в Москве). Все остальные участники сборника — литераторы, живущие в разных странах зарубежья.» «Все остальные», как писал мне Виктор Мамченко, получили солидные гонорары, в том числе и Мамченко, стихи которого «В краях чужих», по его собственному настоянию, напечатаны под инициалами «В.А.», так как они, откровенно говоря, до неузнаваемости исковерканы редакцией, на горе Виктора. Я никакого гонорара не получил, но мне было дороже всякого гонорара то, что под моим именем, так же как и под именем Ильи, было поставлено «СССР». И я решил, что буду охотно «служить социалистическому реализму на своих харчах», а потом в «Записных книжках» Ильфа нашел объяснение: «У нас общественной работой считается то, за что не платят денег». На этом я и успокоился.

Кстати, дорогой Николай Павлович, меня очень огорчило одно явное недоразумение, которое я хотел бы рассеять. Говоря о стихах Мамченко, Вы пишите «во всяком случае, ваше выражение, как мне передавали: “стихи его выше моего понимания” — вряд ли справедливо».

Тот, кто вам это сказал, явно меня с кем-то перепутал. Я подумал: «кто же “из нас” мог так отозваться о Мамченко? Пожалуй, Гол. — Кутузов, может быть Н.Н. Кнорринг?» О неопершихся стихах Виктора, думаю, ни тот, ни другой сказать этого не могли бы. Что касается меня — дело обстоит так: я связан с Виктором 35-летней очень крепкой, искренней, не только литературной, но и глубоко человеческой дружбой и даже человеческой любовью.

Эту «руку дружбы» Виктор протянул мне при первой нашей встрече, т. е. при первом же нашем споре, ибо спорили мы с ним всю жизнь, но спорили мы не потому, что в разные вещи верили, а потому что были нам дороги одни и те же ценности. Мы были очень не похожи «по манере и стилю» в поэзии, может быть, и в жизни, но всегда ценили друг друга, бережно и внимательно относились друг к другу.

Виктору свойственна — и в этом его органическая оригинальность — «высокая косноязычность» (у него всегда был «свой голос»), она очень сильно сказывалась в его длинных ранних стихах, но и мимо их нельзя было пройти равнодушно. Критики делились на два лагеря — одни яростно его отрицали: Ходасевич, Голенищев-Кутузов и др., другие видели в нем подлинного поэта, глубоко оригинального, с очень «своим» голосом — (Георгий Адамович, Мочульский, Гиппиус, Георгий Иванов и др.).

Но стоило узнать Мамченко как человека — он неизменно оставлял в душе глубокий след. И об этом свидетельствуют такие люди, как Лев Шестов, Л.М.Ремизов, З.Н.Гиппиус (хотя и стерва, но умная женщина), Адамович, Мочульский и многие другие. Редко можно встретить человека, который бы с такой яростью, искренностью и прямотой, абсолютно не считаясь с последствиями, а кстати, и формой выражения, защищал свои верования, как бы стремился к правде и чистоте.

Как-то во время войны, в Париже, Виктора пригласили, впервые, в одну семью, где собирались литераторы, поэты, художники, ученые, политики. Это была семья профессора Г.П. Федотова (Г.П. один из «легальных марксистов», сподвижник Н.А. Бердяева, С.С. Булгакова и т. д. — сам очень талантливый человек) — семья, которую я очень любил и с которой был очень близок. Меня на этом вечере не было. И вот когда встретился с

Еленой Николаевной Федотовой, она мне сказала: «Вот, опять поленились придти к нам, а у нас был Мамченко, если бы Вы знали, на какую высоту он поднял беседу и споры». А Ел. Ник. на своем веку повидала немало замечательных людей.

Мамченко принадлежит к тем поэтам, которые не застывают

в определенном выработанном ими «штампе». Он все время рос, и вырастая, менялся, однако оставаясь самим собой. И через, в начале может быть, очень косноязычную сложность, шел к чистейшей ясности и насыщенной глубиной простоте.

Я не знаю, видели ли Вы его предпоследнюю книгу «Певчий час», в ней есть прекрасные стихи! Мне очень хочется переписать Вам хотя бы два.

Кстати, перечитываю сейчас дневники моей покойной жены Ирины Кнорринг. Вот один из дней большой давности: 21/II 1927 г. …«после “Вечера поэтов” пошли в Ротонду. Юрий (это я) с Мамченкой просто в любви объяснялись друг другу. Я поняла, что безумно ревную Юрия к «Союзу поэтов», к Мамченко, к поэзии. А Юрий только и говорит, что о Мамченко, да о стихах…»

Пишу это Вам ради восстановления истины и чтобы рассеять очень огорчившее меня недоразумение. С Мамченко у меня были и очень сложные и подчас очень запутанные отношения в жизни, много больше четверти века прошли мы рядом, плечо к плечу, была у нас глубокая потребность делиться и исканиями, и сомнениями (причем спорили мы иногда с пеной у рта) и, убежден, мы были нужны друг другу. И только с Виктором (за рубежом, вместе мы обрели потерянную было Родину), за эти девять лет моего пребывания на родине, я регулярно переписываюсь, все время поддерживая духовную связь, потребность в которой мы испытываем, думаю, оба. И с каждой его новой книгой я все больше люблю его стихи, не только потому, что, на мой взгляд, они прекрасны, но очень близки мне по духу.

На обратном пути из Кисловодска заехал я в Астрахань, нужно было повидать директора Астраханского заповедника Ю.В. Курочкина, и остался я в Астрахани на неделю! Совершенно опьянел от «волжского духа» — смолы, ворвани, рыбы, ветра, мазута, ранней весны. Впервые за 9 лет всем своим существом ощутил Россию. Теснимый восторгом, грустью, нежностью, смутными детскими воспоминаниями, бродил по городу, по окраинным улицам с изумительными деревянными, крытыми тесом, домишками, украшенными сплошь кружевной деревянной резьбой. Обошел всю Астрахань, включительно до старого кладбища, на котором сохранились, хотя и в плачевном состоянии, старые склепы. В Астрахани я никогда не бывал, но ведь среднюю школу кончил я в Нижнем, а Волга вернула мне мое далекое отрочество. Не скрою от Вас и горьких чувств — астраханский кремль, теперь его реставрируют, с соборами XVII века — это ведь замечательные памятники древнего русского

зодчества! Но в каком они состоянии! Я человек, чуждый религии, но полный «исторических эмоций», люблю и чувствую старину и историю своего народа, гордясь его творческим гением. Внешний фасад, видимо, буден восстановлен, но внутреннее убранство храмов — погибло навеки! Стенная живопись загублена полностью, об этом мне в кремле рассказали люди, причастные к реставрации. В зданиях стояли военные гарнизоны. Видел я, как разрушается временем и людскими руками еще несколько старинных церквей в городе, ведь это же архитектурные памятники, вместо дровяных складов можно было бы устроить в них какие-нибудь музеи, хотя бы анти религиозные. У великого народа история не может начинаться с сегодняшнего дня, как бы велик этот день ни был. Все замечательные вещи в истории создавались людьми «своего времени» и нельзя же уничтожать их на том основании, что их сознание не соответствует нашему.

В самом скором времени пришлю Вам несколько материалов для «Ох. Пр.» — может быть, подойдет. Ник. Ник. (Кнорринг — Н.Ч.) благодарит за память и шлет Вам сердечный привет. Еще раз спасибо Вам за письмо. Крепко жму Вашу руку. Искренне Ваш Юрий Софиев».

(Газетная вырезка из «Русских Новостей», № 991 — «В семье Леонида Андреева», Е.К. и другая вырезка, из «Лит. Газеты» от 4/VI 64 г. «О моем отце» Вадима Андреева, письмо из Женевы, Швейцария — Н.Ч.).

(Газетная вырезка «Кончина Джавахарлала Неру» — Н.Ч.)

На меня произвела отвратительное впечатление речь Нассера в Порт-Саиде. Необузданный национализм — зоологического фашистского типа и стиля. Смехотворно приписывать, как это Делает Насер, всю полноту победы героическому арабскому народу и ни звуком не упомянуть о роли Сов. Союза, фактически остановившего агрессию. Не будь нашего демарша — разве была бы возможна их победа? Хрущев справедливо указал на это в ответной речи.

Из письма Рае (Миллер, в Париж — Н.Ч.).

…Очень мне интересно, как существует Кеша Пинко? Он мой старый товарищ, еще с дней юности, но мы с ним люди очень разных убеждении. Когда я уезжал из Парижа, он все меня пугал, что мне будет «очень скучно жить». Все зависит от человека, именно он сам и предопределяет свою судьбу. Я нашел свое счастье на родине, здесь моя жизнь приобрела реальный смысл,

ведь ты знаешь, там я ее просидел на чемодане, как бы на вокзале в ожидании поезда. Поезда ждал долго, но, в конце концов, дождался — ты помнишь мои стихи:

Прошло у нас лет немало
По чужим, дворам на постой.
Может быть время, настало
Спешить на работу домой.

Сожалею об одном, что возвращение произошло слишком поздно (хотя вовремя!) — на ожидание ушло слишком много-бесплодных лет! Бесплодных ли? Вспомни другое мое стихотворение:

…Зашумели гнездом осиным
Европейские города.
Дотянулись повестью длинной
Поучительные года.

Там я слишком много тратил сил, физических и моральных, для того, чтобы добывать средства к существованию, и только урывками, после бессмысленной работы, занимался Творчеством. Здесь моя жизнь — это моя работа, которую я люблю, которая мне нужна и которая, я знаю, полезна и нужна нашей науке, а следовательно, обществу. А вот Кеша Пинко предпочитает судьбу парижского таксиста. Я часто думаю о тебе, Рая, и теперь я совершенно не знаю, что тебе лучше. Ведь, в общем, все мы осколки старого мира и это большое счастье, но весьма не легкое, найти свое место в мире новом. Я его, повторяю, нашел. Нашел, потому что упорно искал. Возвращение на родину — было одержимостью. И еще, это было совершенно логическое завершение всего моего пути, моих исканий, эволюции моего сознания, (…) порой через мучительные сомнения, но развивавшейся самостоятельно, без всяких посторонних влияний, как плод жизненного опыта, наблюдений, раздумий. Путь, начатый на школьной скамье с восторженного приятия Февральской революции, и полного непонимания и отрицания революции Октябрьской. Октябрь был воспринят, как гибель и развал России, как крушение великих принципов демократии,

«братского союза и свободы», как бунт черни, все это привело к Добровольческой Армии и отсюда и началось отрезвление, ибо белое движение обернулось самой черной Вандеей. Открылись глаза.

Rue d'Assasses — доклад…

8/VI, понедельник

«Чудны твои дела, Господи!»

Насер заявил публично Никите Сергеевичу, что «с помощью Всевышнего он надеется построить в Египте социализм».

Белла, следуя заветам не только политэкономии, но и Корана, тоже с помощью Аллаха строит социализм в Алжире. Негры, те, что строят у себя социализм, тоже прибегают к помощи своих идолов.

Вероятно, у христиан может возникнуть вопрос: почему Аллах и негритянские идолы столь прогрессивны, что им довольно участвовать в строительстве социализма, а их Христос столь реакционен, что ему это дело противопоказано?

Шутки шутками, а во всем этом есть нечто поистине новое, из которого можно заключить, что сегодняшний день совсем не похож на вчерашний. Из сегодняшнего дня прежде всего уходит Сталин, и нужно надеяться, что не смотря на бешеные усилия китайцев мумифицировать или даже оживить этот труп, — навсегда. Победит разум и человеческое достоинство. И жизнь вынуждает, может быть, volens nolens к известной толерантности современных (…). Сталин, подобно римскому папе, обладал всей полнотой истины и был непогрешим, даже в большей степени, чем папа, ибо папа только et cathedra, тогда как Сталин абсолютно, папа был никому не страшен со своей анафемой, потому что у него давно не было под рукой инквизиции, тогда как Сталин ею обладал в полной мере и его инквизиторы свободно могли стрелять людей в затылок и гноить сотнями тысяч в концлагерях.

Сталин восстановил обычай римских императоров — обожествлять себя и при жизни ставить себе памятники (почему после смерти их так охотно сбрасывали).

При таком положении вещей все несогласные, все «инакомыслящие» всегда именовались еретиками, предателями, ренегатами врагами народа и т. д., и отлучались от церкви, а нередко и от жизни.

Никогда в истории эта попытка приведения людских умов и верований к общему знаменателю не давала прочных и длительных результатов. Но в истории всегда были фанатики, и чаще всего огнем и мечом приводившие людей к общему

знаменателю — к единой и обязательной истине, эти люди всегда презирали терпимость, как слабость, как беспринципность, как равнодушие к истине и т. д.

И всегда были люди, которые жаждали свободы, для которых насильственное приведение к общеобязательному «единомыслию», к общему знаменателю — было унижением и оскорблением человеческого достоинства, они всегда думали, что «дух дышит там, где хочется», и это его право и с этим правом и связано человеческое достоинство.

Обе эти «людские потребы» «двигали» историю. Но по-разному. Первые, пожалуй, больше строили и созидали, вторые — неизбежно разрушали, но, разрушая, тем самым подготавливали почву для новых строителей, для новых начинаний.

Я часто думаю, как это хорошо, что после короткого «после сталинского смутного времени», у «кормила власти» стал Хрущев.

Не только потому, что он освободил страну от сталинского террора и произвола сталинских башибузуков, а потому что это не теоретик, а практик, т. е. безусловный реалист, очень реально воспринимающий жизнь, явления и факты, и не говорящий, «тем хуже для фактов…», а видимо про себя думающий, «тем хуже для устаревшей теории», ибо новые явления жизни естественно должны вносить новые творческие поправки в старую теорию. Хрущев не начетчик. Его совершенно неуёмная энергия, мотающая его по всему свету, все время расширяет его горизонты — этот человек, трезвого государственного ума, все время умножает свой реалистический жизненный опыт. Я верю, что он искренний поборник мира.

И думаю, что общение не только с государственными, но вообще, с людьми другого склада, другого мира опять-таки углубляет его жизненный опыт, а может быть, на некоторые вещи и явления открывает глаза.

Его поведение во время Карибского кризиса отмечено не только государственной, но и человеческой мудростью

Его дружеские контакты с Гаретом, с (…) и другими деловыми людьми, предпочитающими мирное сосуществование атомному самоубийству, указывают на широту его натуры, ума и взглядов, довольно удивительную для человека «нашего мира» (…)

…Конечно, и Хрущев, человек своей эпохи, своей среды, своего народа и своего времени тоже выше своей жопы, как и все, прыгнуть не может, требовать от него толерантности в западно-европейском понимании — нелепо, ему свойственно другое миропонимание, терпимость, вынуждающая к корректному

сосуществованию различных идеологий, ему чужда и враждебна, он слишком убежден в абсолютной правоте, в безусловной истине своих идей, чтобы допустить возможность какого бы то ни было релятивизма. И, может быть, и в самом деле верит, что стоит уничтожить классы, как не будет никаких «противоположных идеологий», а будет одна коммунистическая, и все люди придут к единомыслию, и наступит мир, тишина, дружба, любовь и благорастворение воздухов. А китайцы и иже с ними? См. датские ответы на вопросы.

Однако, разве это не подлинно новые и очень (…) веяния — признание за каждой страной, за каждым народом по-своему (сообразно своим историческим и национальным бытием) строить социализм, по существу, более того — по-своему понимать иди комментировать и основы основ — марксизм-ленинизм. Это право, в конце концов, признано за Югославией. По-своему строит социализм Польша и т. д.

При Сталине югославские товарищи осмелились думать по-своему и мы знаем, что из этого получилось.

По существу, и по сей день не изжиты идеологические разногласия, но это не мешает поддерживать не только дружеские межгосударственные отношения, но и поддерживать и партнерские контакты.

На принципе независимости и взаимоуважения складываются отношения и с братскими партиями, и я верю в наше невмешательство в их дела. Да и можно ли (…) командовать из единого центра? И Торез, и Тольятти определяют линию своего поведения прежде всего исходя из реальной обстановки в своих странах. Жизнь показала, что в отношениях между социалистическими государствами не так-то легко добиться единомыслия, а поведение китайцев, албанцев и иже с ними показывает, что «общий знаменатель» вещь вообще сомнительная.

Но вот что меня огорчает — упорный ропот мещанина-обывателя, того самого, который захлебывался от верноподданнических чувств к Сталину.

Хрущев у этого мещанина-обывателя не популярен, во-первых, поскольку у него (у обывателя) прошел страх (сдерживающее начало), он стал наглеть, вместо того, чтобы понять благо относительной свободы, которое он получил благодаря Хрущеву, приобретя тем самым человеческое достоинство, сведенное на нет Сталиным. Во-вторых, поскольку, без него, «хлеб насущный» является не только первейшим (что вполне законно и справедливо), но, пожалуй, и единственным требованием (что уже ущемляет достоинство человека), то

несмотря на то, что все мы живем гораздо лучше, чем десять лет тому назад (исключая, и то отчасти (пищепродукты), нынешний год), этот самый обыватель скулит, а подчас и рычит на трудности жизни, на то, что «Сталин цены снижал (спрашивается, какой ценой? Ценой полного разорения сельского хозяйства и т. д.), а при Хрущеве — цены растут».

Конечно, трудности есть, (…) но воздух после XX съезда стал свежим и чистым. Было бы наивно, говоря о сталинской эпохе, объяснять все страхом, страх сопутствовал, но не на нем все держалось, держалось-то, увы, на несомненно новом явлении нашего времени, на беспредельной вере в вождя, на беспредельном, трепетном и бескорыстном, искреннем преклонении перед ним. Тут не только Сталин, тут и Муссолини, тут и Гитлер — все они имели своих подлинных «энтузиастов» и, конечно, энтузиастов без кавычек, и при том это было не меньшинство, а большинство нации, это был «массовый психоз», способный вести на подвиг, а не только на преступление.

Я все-таки думаю (и не знаю — праведные эти мысли или еретичные!) — у каждого народа своя психология, точнее свое mentalite, органически выраставшее на его путях исторического развития (так как эти пути у различных народов складывались по-разному, то тут в какой-то мере «их бытие определяло их сознание»), возможен какой-то конфликт «национального характера», хотя и здесь, видимо, «биология» вытекала и из географии с ее специфическими природными и экономическими явлениями (климат и т. д.) и из исторического и политического бытия.

Народная мудрость, пожалуй, вложила это в очень точную формулу: что русскому хорошо, немцу смерть.

Или, пожалуй, опять-таки, и слепой отличит француза от немца, а англичанина от испанца, даже американца от англичанина. Ни для Англии, ни для Франции я не мыслю возможности «массового психоза», свойственного немцам (у этих (не Шиллера, не у Гете, не у Маркса, не у Энгельса, конечно!) marchisen peil, и стадная дисциплина — в крови!), чтобы это стало возможным в Англии или во Франции — нужно «перерождение» нации!

Каким бы престижем не пользовался во Франции политический деятель — это не спасет от острейших карикатур в печати, от того, что оппозиция будет честить его почем зря, а за стойкой бистро два приятеля — «смертельные политические враги» — за стаканом пикало будут вести публично беспощадные словесные бои вокруг его персоны:

— Il est con ton general, mon vicux!
— A non, vikus,con-c'est Ton Maurice!

Нужно сознаться, что совсем иначе складывалась наша отечественная история. Над нами, видимо, «тяготит наше проклятое прошлое», в это «прошлое» приходится включить и сталинский культ личности, ибо он одним прошлым в значительной степени и, определяется.

Я не знаю, насколько русский характер склонен к обожанию вождя — известный «культом» к «обожаемому монарху», конечно, существовал в известной среде (хотя и в узкой), не выдумана и известная вера в народе в «царя-батюшку», от которого скрывают «правду» злые баре.

Но наряду со срыванием шапок перед боярином наш мужик умел и смел, расстегнув штаны, издевательски потрясти перед тем же боярином и «срамным удом». (Летописи, хроники «Накось, выкуси!» И если Пугачеву для «законности» потребовался «Петр Федорович», то Степанова вольница вдохновлялась отрицанием этой «законности» (если не всякой?).

Но, во всяком случае, привычки к политической свободе у нас было маловато. Да и откуда же ей было взяться?

Герцен. Кн. Дашкова. Былое и Думы.

«В жалком подобострастии, в позорном раболепии нашего общества она (Катрин Вильмот) очень справедливо находит отражение рабства. Она с изумлением видит в залах и гостиных опять холопов без всякого нравственного чувства собственного достоинства. Ее удивляют гости, которые не смеют садиться и часы целые стоят у дверей, переступая с ноги на ногу, которым кивают головой, чтобы они ушли. Понятие добра и зла смешиваются в России с понятием быть в милости или немилости. Достоинство человека легко определяется по адрес-календарю, и от государя зависит, чтобы человека безусловно принимали за змею или осла».

Когда я пишу эти строки, я испытываю не только возмущение и стыд, но и физическую боль, потому что это не изжито и по сей день в психологии моего современника, а в практике? В этом почтительно-чиновничьем (опять Герцен) «Я считал бы для себя преступным, если б не исполнил и в сей настоящий год священного долга моего и не принес бы Вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокоторжественным праздником», — не только годы культа, но и сегодняшний еще день. (…) Ведь испокон веков

в России государственная власть была призвана управлять не только государственными делами, но и умами и душами граждан. Европа от этого раньше Освободилась. Ну, что ж, можно подрать уши поэту, писателю, художнику, композитору, а он будет кланяться и благодарить, кажется, и заверять, что исправится. Потом ситуация изменится и будет объявлено, что такое-то постановление «было ошибочным» и обиженный человек будет опять кланяться и благодарить. Ужасно!

Ужасно обидно за человека, который вовсе не звучит гордо в подобной практике. Эта та боль, которая точит душу. Думал и буду думать, что конечная цель всякой революции и в особенности социальной — человеческое достоинство, установление таких жизненных условий быта и институтов государственного управления, при которых «человек сможет зазвучать гордо», когда ничто не будет оскорблять человеческого достоинства, когда исчезнут и материальный, и духовный гнет. Вот почему я и выбрал этот путь — через преодоление рождения, воспитания, среды, через традиции и предрассудки, через годы мучительных сомнений и исканий — для меня открылись «жестоко и внятно (…) и чаяния Октября».

Вне социальной революции, никаким самоусовершенствованием этого ему не достигнуть, но и одной формальной революцией тем менее — Pro donna sua. Почему я так болезненно ощущаю всякое ущемление человеческого достоинства, эти «Обиды», наносимые людьми и жизнью, тому прекрасному образу, который должен обозначаться словом человек? Мещанин, хулиган, подхалим, холуй, человек-зверь, просто жестокий человек, отъевшаяся, оскотинившаяся свинья, упоенная самомнением, самодовольный пошляк и (…) дурак, принципиальный тупица, ханжа, охамевший от власти начальник и т. д. — все это вопиющее нанесение оскорбления действием понятию человек. Не только гнев, но и боль, и какая-то очень тоскливая боль.

С раннего отрочества запомнилась строка Щедрина, не помню откуда, но запомнилась навсегда: «Добродетели и пороки по существу суть свойства человеческой натуры» (формулировка приблизительна, но смысл именно таков) — соблазн заключен как бы в некоей нейтрализации обоих понятий, если не в уравнении. Только одни возвышают человека, другие низводят его до скота.

В известный период моей жизни я пережил этот соблазн. Еще раньше заворожил Достоевский амплитудой: — высота взлета и глубина падения — в особенности Митей Карамзиным. К Алеше я всегда относился как-то подозрительно, Ивана не любил.

**2.**

(Вырезка из газеты «Сопротивление слова» О.Михайлова о книге Олжаса Сулейменова «Ночь-парижанка»; Алма-Ата 1963 г. — Н.Ч.).

(Вырезка из «Литературной Газеты» за 20/VI 64 г. «Рынок продажных душ», автор Иосиф Киселев из Киева пишет о пьесе «За синим океаном» писателя и прогрессивного деятеля, как его аттестует автор, Юрия Косача, который разоблачает пособников гестапо на Украине, а также рассказывает о героях войны в Испании и о людях доброй воли. Юрий Косач внук Михайла Драгоманова и племянник Леси Украинки. В США он выпускал журнал «Вітчизна» — Н.Ч.).

Искренне рад за Юрия. Мамченко несколько лет тому назад писал мне, что Косач издает просоветский журнал в США и о том, что Юрий собирается вернуться на родину. Но, видимо, не вернулся. Кстати, так же, как и Вадим Андреев.

(Вырезка из газеты стихов В.Фирсова «Скрипка маршала» о Тухачевском и маленькая заметка о высказывании западногерманского клерикала Аурела фон Юхена о том, что атомная бомба уничтожит только тело, но не душу, так что нечего ее бояться, ибо нам все равно обещано вечное блаженство на небесах,

— Н.Ч.).

**3. 27/VI**

Столкновение двух стилей, двух mentalite. Сначала промелькнуло по радио — несмотря на то, что некоторая часть прессы (шведская) пытается опровергать… народ восторженно встречает посланца и т. д.

Обращения в речах стали более официально одушевленнее и, наконец, и в нашей прессе стало проскальзывать какое-то раздражение и вот — история с Карлом XII!

История по существу глупая, какой-то самостийный (…) олух демонстративно возложил венок Карлу XII, видимо, показывая себя соратником Мазепы и в пику Хрущеву. Но вот, что печально, видимо, какая-то часть шведской прессы раззвонила об этом идиотском факте. Это вызвало реплику Хрущева в его речи на очередном банкете. В ней был не только юмор, но и некоторое раздражение, символичным было и упоминание о холодном климате Швеции.

Все дело в том, что такие казусы непривычны для нашего (менталитета), у нас они просто невозможны, потому что у нас

нет оппозиционной прессы. А имеется только правительственная,

Ф. простодушно сказал мне:

— Что не смотрит шведское правительство, как же оно не приняло меры, или оно ведет двурушническую политику.

В тот-то и дело, что бедное шведское правительство совершенно бессильно в данном случае!

И еще одна вещь — в странах с тоталитарным режимом (авторитарном), какую бы окраску он не носит — красную или черную, налицо имеются не просто политические деятели, а вожди, потому — то так трудно бывает балансировать на грани, за которой начинается «культ личности». В западных демократиях налицо всего лишь политические деятели, более или менее популярные (наряду с полит. дельцами), да и то не у всего народа, а у единомышленников. Вождям приличествуют всенародные клики, (…) и т. д. «Бурные овации. Все встают».

Проходя мимо какого-нибудь западного премьера из вежливости можно приподнять шляпу, но это вовсе не обязательно, люди, обычно, просто из любопытства оборачиваются. Вот и выходит, что арабы нам близки и понятны, а «все прочие шведы» — не совсем.

Мульк Радж Ананд (индийский писатель).

«Поэт всегда был похож на старца, слишком слабого для совершения героических дел. Но он способен понимать все в силу своей повышенной чувствительности или полета своей фантазии, как это мы видим у слепых бардов».

**4.**

(Газетная вырезка «Неувядаемость», к 75-летию Анны Ахматовой, ее стихи и врезка о ней — Н.Ч.).

75 лет Анне Ахматовой! И эти, по существу довольно (…) строки. А сколько света, сколько взволнованной радости своими прежними стихами дала Ахматова людям своего, моего, Ирининого и последующим поколениям. Вся моя молодость, вся моя жизнь с Ириной пронизана сиянием ее слов.

**5.**

…Ощутил отсутствие «среды» (литературной, парижской), отсутствие Медона, в какой-то мере «моей трибуны», а не только Виктора…

Это я случайно снял с полки Бодлера и вдруг затопила какая-то смутная грусть — как бедно, как упрощенно мы живем, в смысле интеллектуальном и эмоциональном (время-то, конечно,

очень интересное, но не об этом разговор, о людях), как я сам огрубел и не похож на того, 20 и 30 годов Юрия. И нет никакой возможности восстановить себя, того, что бродил по Люксенбургу и останавливался у бюста Бодлера, задумчиво читал надпись на памятнике: «Cur c'est vraiment, seiporeu, le meilleur…», да, именно digirite в этом ardant sanqlot qui ronle d'age en age… — пришло в голову: памятник-то этот поставили, пожалуй, уже после войны? В сороковых годах. И может быть, очень хорошо, что Бодлер стоит не где-то там против Сената, рядом с королевами Франции, а в тенистой аллее allenqei, тихую rue A Aesas, недалеко от выхода и даже рядом с писсуаром.

В общем, мне казалось «je ne puis vivre akec, а оказалось — вздор — могу, только иногда уж очень грустновато…

(далее французский текст, цитата из Стендаля — Н.Ч.).

**6. 25 / VII Суббота.**

…Скажу тебе днях. Пройдут они.
У жизни будут дни — другие дни.
Не может быть, чтоб в сердце навсегда
Жила, была горючая беда.

В.Мамченко. «Воспитание сердца».

Горький вспоминает: «Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинственным оптимизмом материалиста…»

У Виктора эту черту точнее было бы назвать «воинственным оптимизмом идеалиста», но это глубочайшее его убеждение, что «не может быть, чтоб в сердце навсегда, жила, была горючая беда» — одна из очень характерных черт его натуры, его верований.

Мне грустно, что трудно верить в безусловное исчезновение беды из человеческой жизни — потому что, хотя бы, одна из самых горьких и пронзительных бед — утрата — основная закономерность бытия. Виктор знает об этой беде, но как-то, не знаю как, — верит или хочет верить в возможность «преодоления» смерти. По существу, это его «мироощущение» и питает его

«идеализм». Потому так трудны и жестоки были наши медонские споры о материализме. У Виктора от него органическое отталкивание, внутреннее «недоброжелательство», а, может быть, и нечто большее.

А ведь, в моей жизни, ничто меня так не трогало, так не умиляло, как просто человеческое счастье («Химера и Каменщик»), созерцание его — до взволнованных слез. И неотъемлемое, пронзительное: непрочность его, беззащитность, обреченность.

Какая непомерная тревога
Беречь тебя, пока не рассвело,
От произвола дьявола и Бога!

Я помню, какое огромное праздничное торжество, до стыдливых слез умиления, до страшного нервного возбуждения (я от радостной взволнованности не находил себе места) было у меня, еще мальчика, в 7–8 лет, когда в гости приходили люди, которых любили, искренне и радостно, как чутко и радостно переживал я эту атмосферу любви, теплоты, дружбы. И как болезненно переживал я фальшь!

Сейчас вспомнилось, как-то Владимир Смоленский по поводу «Каменщика и Химеры» заметил:

— К сожалению, Юрий, у тебя последняя строка как-то обесценивает (…) стихотворение: «Земное человеческое счастье» — не бог весть, какая ценность!

Для него это, действительно, так; только мне всегда с трудом верится, что без него и иже с ним «загробное блаженство» и все эти «райские кущи» ощущаются, как подлинная реальность. И еще это, столь характерное — сдабривание мистики похотью.

«Традиция» Вас. Вас. Розанова.

«Человек во время совокупления становится богом». Или это «поглядывание» на образок Богоматери в изголовье, когда спал с женой.

Всегда вспоминаю «Портрет Дориана Грея» о страстях и соблазнах, «которых мы слишком боялись и которым не посмели уступить».

А здесь потребность покропить «святой водой». А почему? А зачем? Вернее не в этой плоскости. Одна из страшных утрат — утрата чистоты.

Пронзительнейшая печаль.

Иногда в снах — мерзость, нечистота похоти. В снах ощущения от мучительной сладости.

Боже мой, с какой последней жаждой
Хотел я верности и чистоты.
Предельной дружбы, братской теплоты,
С надеждою встречался с каждым, с каждой.

Боже мой, с каким скандалом было встречено Станюковичем и многими это стихотворение, может быть, лучшее из всего, что я написал. И, быть может, лучшее, что было во мне. Честное и искреннее. А что в поэзии дороже искренности и правды!

Магия слов? Но это органическое начало, без него нет поэзии.

Из отзыва редактора «Рыболов-Спортсмен» о моих стихах: «… Ваше стихотворение написано на нужную тему». А как написано?

Вот и надушили «нужными темами» подлинную поэзию.

А мое, печатая, исковеркали поправками на скрупулезную логику и ясность. Школьную, ученическую.

**7. 30/VII**

(Газетная вырезка со стихами Майи Борисовой «Утренняя песня» и «Ленинградская ночь» — Н.Ч.).

Стихи попались на глаза случайно. Они меня вовсе не очаровали. Видно, как они очень тщательно, с большим старанием и напряжением «сделаны» и потому искусственны — во всем. Я не люблю такие стихи. Но, что меня поразило, ведь это типичная Анна Присманова, в особенности «Ленинградская ночь». Та же эпатирующая игра словами: «Ах, площадь, ваша роль — куда уж площе? / Не проще ль превратиться вам в качели?»

Не знаю, могла ли Борисова прочитать хоть одно стихотворение Присмановой? Словом — влияние или «сродство душ»? И рядом поразительное — тоже типичное для Присмановой обращение «на вы» к площадям, водосточным трубам и пр.

Кстати, есть аллитерации — какие-то «спонтанные» и есть аллитерации — иногда весело, а чаще мучительно выдумываемые. Впрочем, истоки Борисовой могут быть и в Пастернаке.

Расстаянные тайны выдавал,
Влюбленных выдувал из подворотен,
Как стеклодувы кубки выдувают…

Стеклодувы притянуты за уши только ради аллитерации, игры слов, вздор! Ибо отсутствует, как раз, то, чего поэтесса и добивается, — магия слов. Это нельзя выдумать, тут (…) обнаруживается подделка.

Это органично для подлинной поэзии и для подлинного таланта. Вот она, магия слов:

Перекличка парохода
С пароходом, вдалеке.

С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

Блок.

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит…

Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас.

Ты полетишь, как камень зыбкий,
В сияющую пустоту.

Вырос стройный и высокий.
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.

А.Ахматова.

И тоже себя рискую привести:

Гонит ветер
Ворохом крылатым.
Вянущие листья, тополей.

Об этих стихах Георгий Адамович написал:
«У Софиева некоторые строки как бы светятся изнутри» и еще что-то вроде «среди тысячи стихов сразу их отличишь, как только на них наткнешься» и т. д.

А, может быть, я и даже безусловно несправедлив, потому то надо радоваться, что в газете появляются стихи не на «нужную тему», не на злобу дня, не рифмованная публицистика, а стихи, хотя и вычурные, с утомляющей и пустой словесной игрой, но все-таки стихи.

**8. 1/VIII**

Несколько дней тому назад заметил у себя опухоль у левой ключицы. Показывал врачам, показал и Клаве. Ряд предположений: аорта (но не пульсирует) верхушки легких (эмфизема), лимфатические узлы, жировик (чепуха!) и т. д.

Забавен мой лечащий врач Евг. Дмитр. Бычкова. Когда просил подписать курортную карту в Кисловодск: «А вдруг Вы там “распишитесь” (загнусь), вот тогда мне здесь влетит».

Теперь, пожимая плечами: «Посмотрим, понаблюдаем, все равно операцию делать Вам поздно…»

Несомненная последовательница «социалистического реализма».

**9.**

Всё по-прежнему: ветер весенний с полей,
И подснежник сквозь слой прошлогодней листвы,
Или ветер солёный у южных морей,
Или запах высокой июньской травы.
Всё по-прежнему: поздний осенний закат,
Или в небе тугие плывут облака,
Или мир отражений уносит река,
Или чья-то пронзительной грусти строка…
Всё по-прежнему: в небе летят журавли,
И идёт человек, и возносит мечту,
Ту, что бережно мы чрез века пронесли —
Верность (человечность), дружбу, любовь, доброту, (чистоту)…
Всё по-прежнему: звёздного неба восторг,
И такой же горячий взволнованный спор,
О беде и о счастье людской разговор.
А таёжная ночь над рекой у огня…
Всё по-прежнему!
Только не будет меня!

5/VIII 64 г.

**10. 6/VIII**

Встретил у Ник. Ник. Н.В.Баранова. После часовой болтовни этого человека чувствуешь себя так, как будто весь вывалялся в говне. Этот человек никогда не слушает собеседника, он все заранее знает, что любой человек скажет, и потому он не дает говорить никому, непрерывно извергает поток пошлостей, с потрясающим апломбом и все и вся мажет даже не черной краской, а именно говном.

Он все знает, он все понимает, он все видит, все предвидит, всегда информирован какими-то необыкновенными личностями, собственные его деяния всегда гениальны, и его диссертация, которую он пишет уже 10 лет — все ему говорят, что это не кандидатская, а, конечно, докторская, но, к сожалению ни один ученый совет, по своей (…) не в состоянии ее принять. И всякий раз думается: кто он?

Хлестаков или провокатор?

**11. 19/VIII**

Вечером были Ник. Ник. (Кнорринг — Н.Ч.), Наум Моисеевич Коржавин (Мандель) и Верочка Брагина, дочь поэта Алексея

Брагина.

Для меня очень интересный вечер.

**12. 23/VIII. Воскресенье.**

Утром поехал в Илийск, т. к. (…) опоздал на последний автобус. Встретился с Александром Васильевичем Гуцевичем. Они меня ждали с Дубицким. Припасли бутылочку шампанского.

Встретились тепло. Глюмочка организовала еду, я привез вино, сухое и «Тайфи». Очень мило провели вчетвером вечер. Ходили купаться в затон — я первый раз за это лето. А лето-то прошло. Спал на дворе под пологом. И впервые, как отметил Александр Васильевич, температура на рассвете была +10 градусов. До этой ночи никогда ниже +14–15 градусов не опускалась.

А мне кажется, что только-только прошел апрель! Черт знает, как летит время! А летят-то уже сочтенные дни!

Гурцевич рассказывал о комплексной экспедиции 37 года в Уссурийскую тайгу — таежный энцефалит. Они поместились в леспромхозе и перед их приездом, т. к. энцефалит свирепствовал, в леспромхозе были заказаны гробы и гробы эти, добротные, были сложены как раз у помещения, отведенного для экспедиции.

Так что это было первое впечатление, мало чарующее. Шесть человек из их отряда заболело энцефалитом. Трое умерло.

**13.**

(Газетная вырезка с фотографией камбоджийского пленника, надпись: «Что его ждет?..» — Н.Ч.)

Страшный оскал гражданской войны. Ни одна война не бывает так бесчеловечна и беспощадна, никогда ненависть, злоба, изуверство не принимают таких страшных размеров, как в гражданской войне.

**14.**

Григ. Петников

«Открытые страницы»
Крым. издат., 1963 г.
Ник. Асееву

Не говори, мой друг,
Ты ж знаешь сам:
Здесь вырваны листы.
Там не хватает строк…

Ну, что ж!
Они вернутся светлой ночью,
А утром гаснут — как звезда —
Потом, заполнив темный прочерк,
Всю правду
Скажут вам в глаза.

1956 г.

## Их имена

Пора наветов, страуса и беды
Прошла!.. А в глубине остались
Пропащих лет упорные следы,
Которые быльем не порастают…

Где по ночам — за «воронами» вслед —
Их выводила смерть из проволочного ада,
И кровью залитый рассвет
Входил в бараков длинные громады.

Что может быть мрачнее долгих лет,
Проведенных за черным частоколом?..
Но ты прочтешь когда-нибудь о них —
Подымет пахарь простреленного черепа осколок.

Ты не найдешь на стенах надписей и дат:
И стен тех нет, и писем написать не дали,
В глухую ночь поэтов и солдат
Захороненья, с полем поравнялись.

А может, в этот самый день,
Цвела пшеница, дождь прощался в долях,
Когда в краю терпенья провожала тень
Их смертным снегом с елей осыпала.

…И бедный Лям стучится к нам в окно,
И утренняя дудочка его играет,
Пробита пулей — все равно
В руках у детства песня, оживает.

Услышите когда-нибудь в бору

На дереве высоком, нежный голос:
То скрипка Ляма на ветру
Звучит на ветке беззащитно-голой.

Или в один из тусклых, вечеров
У зоны наметет и острый обозначит холмик.
Она идет — бессонная — искать тот ров:
Одни снега…Но буря поднимает волны.

Потом пойдут ручьи: весна покажет все!
Хотя историки гримировали время,
Но правда ведь у нас одна, —
Она снимает лжи навязанное бремя…

Август 1956 г.

Григ. Петников один из сотоварищей Велемира Хлебникова — «второй председатель земного шара». Живет он все время в Крыму. Его сборник, между прочим, с прекрасным карандашным портретом, сделанным Юрием Павловичем Анненковым, привез Петр Мих.

Интересные стихи.

В pendent к «Их имена» сегодня по телео смотрел II серию «Тишины».

Книгу я прочел (в «Новом мире»), вероятно, год-два назад.

Фильм прекрасный.

Будь оно проклято, это страшное время.

И как прекрасно наряду с человеческой тупостью, подлостью, трусостью и низостью (сцена заседания партбюро и голосования) сияет человеческое благородство и чистота, и мужество — Морозов, Сергей и его друзья. И хочется верить, что и в то подлое время были и такие живые люди.

И я невольно перевожу взгляд на моих сослуживцев, многие из них пережили это время в «сознательном возрасте» и я мысленно сажаю их за этот стол этого заседания партбюро.

Где же мера человека? Кто из них, как Морозов, решительно и смело поднял бы руку на «кто против?» Во всяком случае не Галузо, может быть, Слудский? А (…)? А Боев???

Но очень возможно, пожалуй, Мариковский?

В общем, как это страшно. Где же мера человека? А я сам? Возможно. На людях. С внутренним душевным отчаяньем. Когда думаешь об этих вещах — мутная, тоскливая боль — «обида за

человека».

А сколько душ, может быть, и не очень слабых исковеркало и оподлило это время «культа». И такие глубокие корни его опутали почву и живы еще и в наши дни.

П.М. в Ялте встретил случайно Н.И.Столярову. Бутовский жил на даче М.Н. Изоргиной (художница). Ее дача рядом сдачей-музеем Максимилиана Волошина, на которой живет по сие время жена поэта. В орбиты этих домов и попадают люди искусства — приезжие из Москвы и Ленинграда, и потому Петр всегда и привозит оттуда литературные сплетни и новости. Бутовский узнал, что появилась Н.И. — секретарша Эренбурга — и, зная от меня о ней, пошел знакомиться. Оказывается, Наташа, приехав в 35 году, вскоре попала в лагерь Долинку в Казахстане и отсидела в период культа 19 лет жизни! Приехала почти девочкой, а вышла на грани старости! Ни за что ни про что!

Пропащих лет упорные следы,
Которые быльем не порастают!

А разве виновные, большие и малые, прислужники культа — получили должное возмездие?

Разве лагерные палачи не сидят себе спокойненько на пенсиях? Да еще на полковничьих пенсиях?

И. Бродский. Пилигримы

Мимо ристалищ и магазинов,
Мимо широких кладбищ,
Мимо храмов и баров,
Мимо больших базаров.
Горя и мира мимо.
Мимо Мекки и Рима,
Синим солнцем палимы,
Идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
Нищи, полуодеты,
Глаза их полны заката,
Сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни

И вспыхивают зарницы.
И звезды горят над ними,
И хрипло кричат им птицы.
Что мир остается прежним,
Да, мир остается прежним,
Ослепительно снежным,
И сомнительно нежным.
Мир останется лживым,
Мир останется прежним,
Может быть, постижимым,
Но все-таки безбрежным.
И, значит, не будет толка
От веры в себя и в Бога.
…И, значит, остались только
Иллюзия и дорога.
И быть на земле закатам,
И быть на земле рассветам,
Удобрить ее солдатам,
Одобрить ее поэтам.

Это стихи московского поэта И. Бродского. Бутовский привез их от Наташи. В Москве он пользуется большой популярностью, хотя его нигде не печатают, по рассказам Н., цензура такие вещи, конечно, не пропускает.

## ТЕТРАДЬ XIV, 1964–1965 гг. (сентябрь — март)

**1.**

(Статьи из парижских газет: М. В. Вишняка «Азартный ре портер о себе, о своих и о других», о воспоминаниях Льва Любимова «На чужбине», 1963 г. и «Новые книги» Ю.Терапиано а книге А.Позова «Медитации древней церкви. Умное делание» Мюнхен, 1964 г.; из газеты «Голос Родины» статья Ю.Ульянова «Я не разочаровался», о возвращении на Родину Н.Н. Кнорринга, август, 1964 г., № 43 (816) — Н.Ч.).

«Я не разочаровался.

Чего только не наслушаешься от недругов о Родине, когда находишься на чужбине. Но настоящую правду узнаешь только тогда, когда все увидишь своими глазами…

В 1955 году на Родину из Франции вернулся Николай Николаевич Кнорринг, в прошлом педагог, журналист,

постоянный сотрудник русской парижской газеты «Последние новости».

Многие наши зарубежные соотечественники, вероятно, помнят его по газетным выступлениям, а также по книгам, изданным в парижской «Библиотеке иллюстрированной России», таким, например, как «Генерал Скобелев» и «Сфаят» (очерки из жизни русского морского корпуса в Африке).

В июне нынешнего года Николаю Николаевичу исполнилось 84 года. Девять лет назад он вернулся на Родину, пробыв в эмиграции 35 лет. Теперь он живет в городе Алма-Ате.

О встрече с ним я и хочу рассказать.

В конце 1919 года вихрь революционных событий подхватил Кнорринга, бывшего в то время директором одной из харьковских гимназий, и вынес его, как тысячи других, далеко за пределы Родины — в Африку. Здесь, в портовой крепости Бизерте, обосновался в то время русский морской корпус.

— Там, — рассказывает Николай Николаевич, — и пробыл я первые четыре года после бегства из России. Преподавал историю. А потом, когда состоялся первый выпуск наших учеников, надо было куда-то ехать, и я решил поехать в Париж.

Все остальное время до возвращения на Родину я прожил в Париже.

Вернувшись, я стал подумывать о книге воспоминаний и сейчас уже приступил к ней, кое-что уже написал. И вот, когда я теперь пытаюсь восстановить в памяти весь свой нелегкий жизненный путь — иначе, просто мою биографию, то итоги получаются грустные.

Двадцать пять лет я был музыкальным критиком парижских «Последних новостей». Работал членом правления Тургеневской библиотеки — это была самая большая русская библиотека за границей. Преподавал в Народном университете, писал, пробовал заниматься научной работой… А в основном вся моя жизнь в эмиграции прошла без определенного дела, которому бы я мог посвятить себя полностью. Иные в эмиграции посвятили себя политике, но я в общем политикой интересовался мало, хотя, откровенно говоря, в России я придерживался земской линии, примыкал к кадетам, а в эмиграции тяготел к левым ее силам.

И хотя я много лет прожил в эмиграции, но в своих мемуарах, вероятно, о самой эмиграции писать не буду. Почему? Во-первых, потому что я не специалист, не профессионал-политик, а без этого трудно рассказывать о жизни русской эмиграции, в частности, о Франции; во-вторых, об этом уже много написано, так что добавить что-либо новое просто трудно. Если я и буду писать об эмиграции, то только о той ее стороне, которую хорошо

знал: о «Последних новостях», о Народном университете, о Милюкове, которого я близко знал.

На мой вопрос о связи с теми нашими соотечественниками, кто еще остался и живет во Франции, Н.Н. ответил:

— Из старой эмиграции, из тех, кого я давно и хорошо знал, сейчас почти никого не осталось. Конечно, я поддерживаю связь с «Русскими новостями», ведь в этой газете я проработал больше четверти века. Еще и сейчас пишу туда иногда и по существу по газете слежу за всеми новостями тамошней жизни. Больше, пожалуй, я поддерживаю связь с теми, кого знал во Франции и кто теперь возвратился и живет здесь, в Советском Союзе, в частности, в Алма-Ате.

Это, например, Баранов Николай Васильевич, мой ученик еще по морскому корпусу в Бизерте. Гардемарином он уехал во Францию окончил Сорбонну, кажется, даже два факультета — географический и геологический. Сейчас он профессор Алма-атинского университета.

Из других могу назвать Суворина, потомка знаменитого Суворина. Он живет сейчас под Алма-Атой, в Каскелене, работает на плодоконсервном комбинате, а еще Подгорного. Он экономист по специальности, хорошо здесь устроен и успешно работает.

— Ну, а как сложилась ваша судьба после возвращения на Родину? — задаю я последний вопрос.

— Я прослужил здесь некоторое время библиотекарем в Академии наук Казахской ССР, — говорит Н.Н. — Но потом эта работа стала трудноватой в мои уже преклонные годы. Так что я вышел в «отставку» и сейчас на пенсии.

Еще будучи сотрудником «Последних новостей» в отделе библиографии, я перечитал бесконечное количество советской литературы, прежде всего художественной, о которой давал отзывы в газете. И о советской жизни имел вполне отчетливое представление. И я не разочаровался, когда узнал лично новую жизнь моей страны.

Ю.Ульянов, «Голос Родины», № 45(816), август 1964 г.»

(Газетные вырезки о кончине поэта Михаила Светлова и тут же стихотворение его «Каховка», переписанная от руки Ю.Софиевым, — Н.Ч.).

(Вырезка из журнала «Огонек», № 34, август 1964 г. «Русские сердца» и фотографии героев Французского сопротивления — Бориса Дикого (Вильде), Анатолия Левицкого (А.Рогаля-Левицкого), княжны В.А. Оболенской, Игоря Александровича Кривошеина — всех их Ю.Софиев знал — Н.Ч.).

15/X

После потрясающей вести о космическом корабле «Восход» с тремя космонавтами на борту, не менее потрясающее сообщение об уходе Хрущева. Насчет «преклонного возраста и ухудшения состояния здоровья» общее мнение можно резюмировать, верится с трудом. Причины, видимо, глубже и серьезнее. Создается впечатление, что это событие было столь же неожиданно и для Хрущева. 13-го он беседовал с космонавтами по телефону и выразил надежду скоро встретиться с ними, в Москве. Словом, по целому ряду фактов и высказываний ни «преклонный возраст», ни «ухудшение здоровья» никак не чувствовалось. Общее недоумение и любопытство. Но так как наша пресса не дает пока что никаких комментариев — в народе рождаются самые дикие слухи. Пришел Турсун — молодой шофер:

— Слышал, Юрий Борисович, говорят, Хрущева исключили из партии!

— Не, — говорю, — не слышал и, откровенно говоря, не думаю, что дело примет такой оборот.

Тут же подумал: «А почему? Что мы знаем? Что происходит на самом деле? Ведь, пожалуй, это весьма похоже на “дворцовый кремлевский переворот”: qui vivre-verra…».

(Газетная вырезка «Встречи с Тыняновым» Н. Чуковского — Н.Ч.).

**2.**

В ночь с 25 на 26 октября выпал первый снег. Температура +1 днем. Весь день идет мокрый снег. Сад, крыши — все покрыто снегом. А у меня, видимо, грипп. Воспалены нос и горло. На работу не пошел. Настроение мрачное. О зиме думаю с раздражением и печалью. К зиме я не приспособлен и теперь уже она меня не радует при всяких обстоятельствах. А зима в этом году ранняя. Обычно 7 ноября бывает солнечно и тепло. А хочется пережить и эту зиму…

А ведь было время, когда снег приводил меня в восторженное возбуждение, радовал и манил в снежные дали, в заснеженные леса, полные снежной тишины и следов зверей и птиц. Tont passe, tont casse, tont lasse? Неужели?

«Тихо падает снег», а на что, не помню, «на крыши» и т. д. На парижские крыши. Неповторимые парижские крыши.

Это кусочек строчки из стихов Довида Кнута. Почему-то они запали в память навсегда. Он погиб после войны в Израиле, куда он уехал из Парижа. Умер от опухоли в мозгу. Талантливейший

поэт. Никакой не еврейский, а русский, а судьба провела его мимо России и он никому неизвестен.

Умерла от рака и Софочка Гробой, чудесная женщина, большая моя приятельница, первая жена Кнута. Последняя его жена была какая-то французская поэтесса, совсем молоденькая, вроде моей Сони (Соне, русской эмигрантке в Париже, в которую одно время был влюблен Юрий Софиев, было 16 лет. Ей посвящен цикл стихов, — Н.Ч.). На одном из вечеров в «Советском Патриоте», где я был хозяином, а Кнут гостем, он меня познакомил с ней, полушутя подчеркнув: «Софиев, это моя жена. Моя жена!» Я был с Соней и Кнут как бы подчеркивал: «Я не менее удачлив, чем ты». Обе эти молодые женщины, действительно были прелестны, хотя Соня была избалованная и дрянная девчонка. Я помню, как мне завидовал бедный Ан. Петрович Ладинский. До последних его дней у этого большого поэта была очень живая, очень молодая душа. И как ему не хотелось стареть. Мы шли с ним по тихой, ночной московской улочке. Была зима. Он провожал меня на метро после вечера, проведенного в семье его брата, где он жил. Ладинский, высокий, худой, горбился и кутался в меховой воротник.

Завел разговор о женщинах:

— Ну, вы еще молодцом (это был ноябрь 1955 г.), а у меня, — и без горькой досады он коснулся рукой виска, — волосы все седые!

Однако это не помешало ему влюбиться в прелестную Тамару (Аскольдовну?) — увы, в жену младшего брата, и не только влюбиться, но и влюбить в себя и увести жену брата…

Но кто знает, может быть, именно поздняя страсть в такой сложной (…) обстановке и привела его к раннему инфаркту. Говорят, Тамара, после смерти Ладинского, вернулась к мужу. Говорят и другое, что взбешенный брат, полковник, будто бы, войск МВД, угрожал Антонину расправой через связи в КГБ. Увы, эта практика сталинских дней!

Впрочем, говорят же, у гроба Антонина он безутешно рыдал — простив все и прося прощения.

Сложная штука жизнь, сложная штука человеческая страсть, сложная штука человеческая душа и судить ее по шаблонным нормам могут только прямолинейно-принципиальные люди.

Неправедный суд!

**3. 1/XI Воскресенье.**

По радио слушаю Симонова — «Помнишь, Алеша…». Картавит — и я: «уа». Читает просто, выразительно.

Так же он читал в 1947, в Париже, на квартире А.В. Руманова

и произвел тогда на нас очень приятное впечатление.

Эренбург в тот вечер держал себя генералом, читать отказался.

**4.**

(Газетная вырезка: «Мужество Рихарда Зорге» и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза от 5 ноября 1964 г. — Н.Ч.).

Пожалуй, самым странным в этой истории является одно обстоятельство — Зорге погиб в 1944, с тех пор прошло 20 лет и понадобилось, чтобы французский режиссер выпустил в 1964 году фильм «Кто вы, доктор Зорге?», чтобы в нашей печати о Зорге вспомнили (…), а если бы этой картины не появилось — видимо, эта жизнь и этот человек так бы и пребывали в абсолютной неизвестности.

А когда он провалился, вероятно, те, кому он служил, от него отреклись.

**5.**

(Газетные вырезки, вероятно, зарубежные: «Мрачные годы» и «Свет» — воспоминания об А.И. Куприне его дочери, К. Куприной — Н.Ч.).

Странный казус — Куприн не плохо знал природу, а с липой попал впросак. Куприн описывает весну и пишет:

«Завтра-послезавтра ждем зацветет липа. Как прелестно она запахнет».

Ждать как запахнет липа, А.И. придется довольно долго. Липа цветет не весной, а летом — в конце июня, в начале июля. В Париже так же, как и у нас.

Липень — славянское название месяца июля.

**6.**

(Фото с подписью: «Евгений Брониславович Сосинский» — Н.Ч.).

Впервые узнал от В.Б. (брата Е.Б. Сосинского, Владимира Брониславовича, — Н.Ч.), что Женя умер в 1958 г., в Париже, от уремии. Он хотел вернуться на родину вместе с семьей Владимира.

Жени был невероятный пиетет по отношению к младшему, Владимиру. Он говорил о брате с каким-то, как бы испуганным, восторженным обожанием и восхищением. Женя умел молчать.

В 1955 г. летом Вл. Сосинский впервые попал в Москву и затем вернулся в США через Париж.

В Париже братья встретились и Женя узнал от Вл. о трагедии А.П. Маркова и И.А. Кривошеина — то, что когда они вернулись, Берия засадил их на 25 лет!

К счастью, подох Сталин, Берия поставили к стенке и Маркова, и Кривошеина реабилитировали. Обычно такие вещи не проходят даром в судьбе человека. Марков и Кривошеин были уже в Москве, Марков рассказал Сосинскому о своей трагедии, но просил в Париже об этом никому не рассказывать.

Вл. Рассказал брату. Евгений знал, что я еду на родину. Евгений очень хорошо относился ко мне, ему очень хотелось, видимо, предупредить меня, но он был связан словом и он умер бы сам скорее, чем «подвести» брата! Он делал мне какие-то смутные намеки, но вразумительно так-таки ничего не рассказал. А если бы рассказал? Ведь это не остановило бы меня от твердо принятого решения. Хотя разоблачения Сталина еще не было, но Марков и Кривошеин уже были реабилитированы и жили в Москве. Но это невеселое известие без сомнения очень усложнило бы и без того сложное душевное состояние.

**7.**

(Газетная вырезка «Премия Таормина вручена»: «На днях после окончания работы Руководящего совета Европейского сообщества писателей, в сицилийском городе Катания состоялось вручение литературной премии Таормина советской поэтессе Ахматовой» и здесь же: «15 декабря Оксфордский университет принял решение о присвоении А.А.Ахматовой почетной степени доктора филологии» — Н.Ч.).

От всей души радуюсь этому событию. Вей моя юность пронизана ее чудесной поэзией, вся наша любовь с Ириной и все лучшее, что было в жизни, органически связано со звучанием, ритмом, образами ахматовских стихов.

Пишу эти строки и вдруг «Баркаролла» Чайковского (по радио, на столе), а за окном в моем саду «осень ранняя развесила флаги пестрые…»

И хорошо, что все это пришло при жизни, в конце пути, после всех этих идиотских и грубых выпадов по ее адресу.

Песня, которая мне очень нравится. Кажется, из кинофильма «Тишина» по роману Бондарева.

Дымилась роща, под горою

И вместе с ней пылал закат.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

(И т. д., песня «На безымянной высоте», — Н.Ч.).
Точно успел записать по радио.

**8.**
(Листок вложен, озаглавленный:
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Мысли записаны отрывочно, многие слова не закончены и невнятны — Н.Ч.).

С чего начинается родина?
Мне хочется поставить этот вопрос несколько под другим углом. Где и когда чувство родины ощущается человеком особенно остро, Особенно пронзительно? Может быть, в разлуке, в особенности, когда эта разлука бывает вынужденной и когда человеку приходится мучить себя выбором.

К берегам родной Итаки
Ты вернешься ль, Одиссей?

Еще, и в особенности, потеря Родины (…) одним из трагических моментов своей жизни, когда теряешь все свои привычные физические силы, чтобы преодолеть (…) беду, (…) испытание и с честью (…).
Потому вынужденный отрыв от родины, от (…) своего пути особенно глубоко и (…) ощущается человеком, лишенном своей родины.
А о любви этой органической в человеке, о ней я хорошо знаю и читал стихи Пушкина:

Два чувства дивно близки, нам,
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

**9.**

(Снова газетная вырезка о награждении орденами СССР разведывательной организации, работавшей под руководством Р.Зорге: Макса Клаузена и Бранко Вукелича (посмертно) — Н.Ч.).

«Чудны дела твои, господи!»

Ведь, это следствие только того факта, что французскому режиссеру пришло в голову создать фильм «Кто вы, доктор Зорге?» Через двадцать лет после гибели Зорге! А, ведь, не появись этот фильм, не обойди он экраны всего мира — нет сомнения, что и Зорге, и его награждение 20 лет спустя, и его соратники, все это было бы погребено в «засекреченных деяниях».

Очень уж осторожное у нас отношение к гласности, очень еще сильна склонность к засекречиванию.

**10.**

(Газетная вырезка «Последний из могикан», к кончине Уинстона Черчилля Эрнста Генри — Н.Ч.).

(Карикатурный рисунок из журнала: выступление какого-то веселого чернобородого человека с рукой в кармане брюк, а вокруг толстяки-зрители, и вырезка со стихами Виктора Мамченко (Париж): «О Родине, о Жизни, о Борьбе», — Н.Ч.).

Родина

…смотрю в Тебя! О, как чудесны дали
В глазах Твоих от этого огня,
И как они от ноши не устали —
Глаза Твои, — от мира и меня!

Летит широко сердце голубое
В таких, знакомых близких небесах,
Что кажется — желание любое
Отмерено на солнечных весах.

Ты кажешься, суровой и холодной
Для недругов Твоей любви большой…
Да будет так, и будешь Ты свободной
С моей к Тебе прикованной душой.

Человека убили
И ночь была,
и звезд предсветный знак,
и лебеди летели
и трубили,
на все смотрел я,
но не видел — как
убийцы
человека
вдруг
убили.
Когда узнал,
рассвет мне на земле
повторным показался
тем рассветом,
когда о правде
грезили в семье,
когда расстрел
наутро
был ответом.
Настойчивая память иногда
сжимает время,
время — неподвижно…
Я помню,
да:
военная беда
людей сжигает,
вот кричат,
вот слышно —
вот слышен в темноте
предсветный шаг
облавы на людей,
которым нужны
свобода,
равенство
и где душа
с другой душой живет,
и души
дружны!
Но для беды
так быть
никак нельзя:
среди людей,
среди их трудной дружбы,

глупейшей провокацией скользя,
все та же мерзость
в мире
ищет
службы.
Она — вот здесь,
она — и там опять,
свое сует,
каналья,
первородство, —
откормленная девка,
чтоб «гулять»,
чтоб сжечь и юность
проклятым, уродством…
Убили человека.
Средь врагов
с гвоздикою стоял,
с улыбкой!
И дрогнул мир
аттических богов:
всплеснуло
сердце
Золотою
Рыбкой.

(«Поэт Виктор Андреевич Мамченко родился в 1901 году. Его перу принадлежит шесть книжек стихов, изданных в Париже. Первый сборник под названием «Тяжелые птицы» увидел свет в 1936 году, последний — шестой — «Воспитание сердца» в 1964 году.

Виктор Мамченко, бесспорно, зрелый стихотворец. Поэтические произведения его реалистичны. Разумеется, являясь эмигрантом и живя среди них, он много стихов посвятил именно этой близкой ему теме.

Большое количество стихотворений поэт написал о борьбе с фашизмом, о мире, о людях доброй воли. Поэт любит свою Родину, верит в ее настоящее и будущее.

Ниже публикуем стихи из последней книги В.А.Мамченко» — предисловие к публикации, — Н.Ч.).

Журнал «Родина», № 5, сентябрь-октябрь 1964 г. Издание советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом.

Брамс — «Венгерский танец № 5»

Лежит на пляже кверху пузом
Полу-фашист, полу-эсэр,
Герой Советского Союза
Гемаль Абдель на всех Насер.

Остроумная эпиграмма, которая ходит у нас по городу.

**11.**

(Открытка с гончей собакой «На охоте» и поздравлением с днем рождения от Люды К. — Н.Ч.).

20/II. Суббота.

Любопытно, вспомнила об этой дате только Катюша, она убежала на школьный вечер, но сказала матери: «Не забудь!» Наталья Федоровна пришла поздравить и принесла очень вкусные горячие пирожки.

Прибежал Гриша, принес журналы. Я ему сказал, что открою один секрет, если он никому об этом не скажет: сегодня мой день рождения! Гришка очень огорчился.

— А я думал 23-го!

Мы с ним закусили и выпили по рюмке домашней вишневки. Он все горевал:

— Ах, как нехорошо вышло!

Зашел Вова Ким.

У меня была уверенность, что никто из семьи, ни Игорь, ни Ник. Ник. эту дату не заметят. Так оно и есть, конечно.

Хотел было пойти к соседям, к Маруее и Ване, купил бутылку вина и сладости для детей, но потом раздумал. Вова ушел в десятом часу. Поздно. Ребята уже, видимо, легли.

Неожиданно опять замолчало радио. Где-то в сети. В квартире полное безмолвие. Чок лежит, у порога, положив голову на вытянутые лапы. Мурка за спиной на чемодане. Стоит ей перелезть ко мне на колени, как Чок начинает устраивать бурные сцены ревности.

Еще один год прожит.

Обойдемся без итогов.

«День прошел и слава богу!»

Пытаюсь продолжить статью «О литературе и об авторах» для «Р.Н.».

Впрочем, никакого энтузиазма. Усталость, боль в ногах.

Тянет в кровать и взяться за Ключевского. Перечитываю его Московскую Русь.

«История! Податливый судья!»

Строчка из моих забытых стихов 30-х годов Кончались они: «Но где-то на предельной глубине / Пугающее слово: невозможно».

О том, как трудно человеческой совести принять (простить и оправдать) прежде всего насилие в человеческой жизни.

Припомнил — читая — блестящие страницы Ключевского о том, с какой подлостью и низостью московские скопидомы (в «сундуках приданое копили и тебя невестою растили…» М.Волошин) делали свое положительное историческое дело, «Собирали землю русскую». Сколачивали русское государство.

Толстой нападал на bicn publique, которым оправдывались все злодеяния и гнусности человеческие, но ведь и государство, эта гнуснейшая штуковина, во имя которого совершено столько преступлений, одна из личин того же bicn publique.

(Открытка с видом Третьяковской галереи и поздравлением с днем рождения от Зои и Тани, а также от Ивана и Маруси, соседей, с видом Красной площади, от Валеры и Сережи, с видом на Лужники, от Коли — с видом на площадь Свердова — вся семья поздравила, и от внука Сережи, вид Москвы с литографии Энгельмана по оригиналу А. Кадоля. 1820-е годы из подборки открыток «Пушкин в Москве». Под открытками, которых нет, подпись Ю.Б.: «От моих дорогих юных друзей Наташи Г., Ларисы, Толи, Нади, Томы и Вали» — Н.Ч.).

(Бюллетень для голосования на имя Ю.Софиева, 14 марта 1965 г. — выборы в местные Советы депутатов трудящихся Каз. ССР — Н.Ч.).

**12. 19/III 65 г.**

Впервые

Человек открыл люк космического корабля и шагнул в просторы Вселенной.

Если бы могли воскреснуть все те провидцы, которые были убеждены, что русскому народу суждены великие свершения, вероятно, они испытали бы чувство радостного и гордого удовлетворения. Пока что история освоения космоса полностью входит в одну из глав истории русского народа.

Действительность становится настолько фантастичной, что начинаешь верить — что даже в тот ничтожный отрезок времени, который, может быть, еще отпущен мне, откроет люк и Иванов,

Петров или Сидоров, как-то теперь это становится само собой разумеющимся, что это будет именно Иванов, Петров или Сидоров — шагнет на Луну.

Вообще говоря: здорово!

И, говоря откровенно, очень бы хотелось дожить до этого дня! Дожить, вопреки всему!

Почему-то меня больше всего пугали космические лучи и метеоры и потому, казалось, что этот шаг из люка во Вселенную «дело далекого будущего». А Леонов взял и шагнул.

(Фото смеющейся женщины в пестром платье — Н.Ч.)

Ведь ты во всем, ее убранстве.
Увидел музу дальних, странствий.

Гумилев.

(На обороте тетради выписка из Дневников Ирины Кнорринг о встрече ее с Юрием Софиевым, 23 сентября 1926 г., Четверг; 30 сентября 1926 г. снова Четверг, — ИМ.).

## ТЕТРАДЬ XVI, март-октябрь, 1965 год. (корреспонденция, вырезки, заметки)

**1.**

(Вырезки из журналов с переводами стихов Юлиана Тувима, Маршака, Асеева и Чуковского; и стихов польской поэтессы Вислявы Шимборской в переводе Анны Ахматовой; Вл. Сосинский «Встреча в Потсдаме», журнал «Наш Современник», 1964 г. № 11; записка от девочек Наташи, Жени и Тани с поздравлением с Днем рождения. — Н.Ч.).

Вл. Бр. Сосинский прислал «Вопросы литературы» № 1, 1965 г. Статья «На очной ставке с историей» о творчестве Альбера Камю С. Великовского — очень интересно, конечно, не там, где корректирует, вразумляет, наставляет Камю и высказывает наше официальное кредо, а там, где он более-менее объективно рассказывает о мировоззрении Камю, о его «Чуме». «Чуму» я не читал, и, увы, не прочитаю, а очень хотелось бы. Печальный удел знакомиться с зарубежной литературой по комментариям отечественных комментаторов!

А что если попросить Раю выслать «Чуму».

**2.**

(Газетная вырезка «Памятная записка Пальмиро Тольятти», «Правда», 30 сентября 1964 г., № 254 (16840) — Н.Ч.).

П.М. Бутовский вернул мне статью Тольятти, чему я очень рад, т. к. считаю это «заявление» чрезвычайно знаменательным и очень интересным документом. Думаю, что он очень характерен для коммунистов европейского мышления, органически чуждых, в силу исторических традиций, антидемократическим, чрезмерно авторитарным, а отсюда неизбежно, тоталитарным тенденциям.

Кстати, он опровергает пропагандистские утверждения буржуазной прессы, что все коммунистические партии действуют по указке Москвы.

Мне кажется, что «самостоятельность» мышления Тольятти — налицо. Довольно явственны и расхождений с нашей точкой зрения.

Особенно глубоко расхождения во взгляде на искусство, вероятно, рано или поздно, это вызовет комментарии и, должно быть, полемику, но пока «Памятная записка» остается без каких бы то ни было комментариев. Очень интересна мысль об антирелигиозной пропаганде и об отношении к верующим —

двусмысленность этого отношения бесспорна, так же как и примитивная гнусность антирелигиозной пропаганды, которая ведется так, что никого не убеждает, но озлобляет и оскорбляет верующих, в быту и в обществе могущих быть активными и полезными гражданами. Бывают и такие перлы — «вот, мол-де, космонавты попали в космос, «на 7-ое небо», а бога не обнаружили», или деятельность попов сводится к сознательному обману верующих и к обогащению за счет их глупости, и т. д.

Был у меня такой период в жизни, когда мне казалось необъяснимым: как, мол, умный образованный человек может верить во всякую мистическую чепуху? Потом жизнь свела меня близко с такими людьми, как Н.А. Бердяев, проф. С.С.Булгаков, проф. С.С. Безобразов, проф. В.В. Зеньковский, проф. Н.Н Афанасьев, И.И. Бунаков-Фондаминский, И.П. Демидов, Керн, проф. Г.П. Федотов и многими другими, которых у меня не хватило бы ни смелости, ни глупости назвать дураками и невеждами.

Булгаков, Зеньковский, Безобразов, Керн, Афанасьев и опять-таки «многие другие» приняли священство, т. е. стали очень образованными попами, заподозрить их в чем-нибудь, кроме искренней и бескорыстной веры, было бы нелепо и смешно, помимо Достоевского, по-своему Л. Толстого, и прочих больших людей русской культуры к религиозным людям, просто верующим, нужно причислить А.Блока, А.Ахматову, Вяч. Иванова, наконец, Вл. Соловьева и опять-таки и т. д.

Приблизило ли это обстоятельство меня к их мировоззрению — ни на йоту! Я по-прежнему остался Фомой-неверным. Это убедило меня, что я абсолютно чужд, глух и нем к мистическому восприятию мира, хотя в детстве я пережил (необычайно сильно, до слуховых и зрительных галлюцинаций!) очень сильную религиозную экзальтацию. Но что есть люди, с которыми ничего не поделаешь, которым органически свойственно, именно мистическое восприятие мира. Кто из нас прав — они или мы, к сожалению, абсолютно недоказуемо. Кстати: материя есть результат творческого акта бога, и материя бесконечна и существует извечно, не имеет ни начала, ни конца — одинаково фантастично и недопустимо для ума человеческого.

(Газетная вырезка с фото: «Второй съезд писателей РСФСР, Фазу Алиева, Анна Ахматова, Ольга Берггольц и Антонина Коптяева» — Н.Ч.).

**3.**

(Газетная вырезка с сообщением о смерти «жены и друга

Алексея Максимовича Горького Екатерины Павловны Пешковой, последовавшей на 88-м году жизни после тяжелой болезни» — Н.Ч.)

«Литературная Газета № 39 суббота 27 марта 1965 г.

Это скромное извещение я случайно обнаружил в левом крайнем углу на последней странице газеты.

Так, видимо, не по моей вине, мне и не удалось встретиться и познакомиться с Ек. Павловной. Я не решился позвонить ей, когда приехал в Москву, не хотелось «навязывать» ей свои родственные связи и в письме она выразила мне потом сожаление об этом.

А потом, почти за 10 лет, я так и не выбрался ни разу в Москву и не смог воспользоваться ее приглашением.

Наши «родственные» отношения весьма отдаленны. Мама, Лева и Макс их весьма поддерживали, не столько с Ек. Павловной сколько, видимо, с ее матерью Марией Александровной, и как писала мне Ек. Павловна, Лева был ее фаворитом.

Судя по рассказам Левы, он с Максом одно время вертелись около Наташи Пешковой, жены Максима, за которой, кстати, волочился Ягода.

А родственные отношения наши таковы:

Лев Родионов

1

1

Александр Львович, Семен Львович

2

Мария, Зоя, Ангелина и др. Николай Семенович и др.

2

Мария Александровна (выходит замуж за Павла Волжина), Лидия Николаевна (моя мать)

1

Еватерина Павловна (Пешкова).

Другими словами, мать Ек. Павловны, Мария Александровна Волжина, двоюродная сестра моего деда Николая Семеновича Родионова, а моя мать и Ек. Павловна троюродные сестры по материнской линии (Родионовы).

А за семейным столом деда в детстве я постоянно слышал пересуды и возмущение бабушки Любови Ивановны с ее подругами по институту, с Марией Николаевной фон Гольдсигальской и др., по адресу Ек. Павловны (она была петербургская институтка, кажется, смолянка), вышедшей замуж за «босяка» Горького! А, ведь, бабушка была далеко не глупая женщина, много читала, свободно владела французским и

немецким языками, следила за иностранной литературой, но была всецело человеком «своего круга» — очень набожной, с сословными предрассудками, с крайне правыми монархическими убеждениями, причем была очень активной и страстной в вопросах политики и религии. И разве не забавно, что еще на моей памяти существовало общество и ведь, в какой-то мере, более или менее культурное, в котором могла бытовать несусветная чушь!

— Подумайте, ma chere, девушка из хорошей дворянской семьи Волжиных и, вдруг, вышла замуж за «босяка» и «бунтаря» Горького!

Или собственное «горе» моей бабушки: ее обожаемый сын Коленька и вдруг женился на «какой-то тульской купчишке».

Вера Николаевна Сазонова, моя тетя, была из купеческой окончив гимназию, она вышла замуж за дядю Колю, он только что вышел из училища в Запасную артиллерийскую бригаду, стоявшую в Серпухове, 19-ти летним подпоручиком. Всю жизнь бабушка не могла простить ему этой mesallianse! Причем дядя Коля вовсе не женился на купеческих деньгах. Денег никаких не было. Приданого — никакого. Так как дети были сиротами — братья студентами, старшая сестра Лидия Николаевна была замужем за командиром батареи, в которую вышел дядя.

Дядя был красавцем, играл на скрипке, хорошо рисовал, пел и был умен. По рассказам мамы — дядя увлекся Лидией Николаевной, которая ему аккомпанировала на рояле, тогда спешно за роялем ее заменила младшая сестра Верочка, «которую нужно было устроить», словом, «Крейцерова соната» сделала свое дело,

Я не знаю, были ли они счастливы? У дяди, по-моему, был не легкий характер, но, во всяком случае, прошли они всю жизнь до глубокой старости бок о бок, вместе. Именно эта студенческая среда жены и сделала дядю социалистом, что и помогло ему, «преодолев классовое сознание», понять и принять Октябрьскую революцию.

По рассказам вдовы Миши — в последние годы жизни дядя Коля любил вспоминать о том, что он «не мало сделал для Октябрьской революции», и это правда, — во время гражданской войны он стоял во главе артиллерийского снабжения всего Восточного фронта, против Колчака. И один из первых среди высших офицеров-артиллеристов принял участие в создании Красной Армии.

Между прочим, по-моему, у него служил и Лева.

**4.**

Вчера пережил большое волнение, по радио, в передаче «Литературные вечера», впервые в жизни услышал живой голос Анны Ахматовой. Читала свои стихи, медленно, нараспев, с ахматовскими интонациями, между прочим, она картавит.

Чтобы понять мое волнение, нужно знать, что значит Ахматова в моей жизни, в моей судьбе. Все самые взволнованные, самые значительные моменты в жизни моей, так или иначе связаны со стихами Ахматовой. Вся моя Белградская университетская юность — это Ахматова, Блок, Гумилев. Мое увлечение Марианной Галльской — все пронизано стихами Ахматовой.

Не забуду я товарища
И беспутного и нежного.

……

Осень рыжая развесила
Флаги пестрые на вязах… и т. д.

Не только первоначальный период любви нашей с Ирой, и вся наша жизнь.

**5.**

(Записка: «На интересное Ваше письмо отвечу из Кисловодска, где буду с 10-го». — Н.Ч.).

Вл. Сосинский прислал № 2 «Вопросы литературы» с вложенной запиской. Завидую! Когда наступил апрель, с необыкновенной силой нахлынули прошлогодние кисловодские впечатления.

**6.**

(Газетная вырезка: «Чьи же стихи?» под рубрикой «Реплика», где приводятся стихи «Перед весной бывают дни такие…», подписанные преподавателем Литературного института поэтом Василием Журавлевым, которые тот напечатал в журнале «Октябрь», а стихи эти на самом деле — плагиат. — Н.Ч.).

Комментарии излишни!

Пожалуй, кроме одного — поразительно невежество редакции. Впрочем, может, не удивительно, и это, принимая во внимание, что главный редактор «Октября» В.Кочетов. А все-таки,

любопытно, если бы Журавлев ответил, в самом деле, почему он занялся плагиатом?

(Страничка французского текста, выписки из Бернарда Шоу, Бартелемео; две фотографии девочек: Люды и Любы Шумиловых — Н.Ч.).

**7.**

Хоть украшают именем Беллона
И Морен эту бойню, но цена
И суть ее во все века одна.

Байрон. VIII. Дон Жуан.

Всегда он grand история берет,
События, детали опуская.

Да, эти «детали» и есть страшноватенькое в истории, и обычно самое омерзительное.

**8.**

…Мне интересно, что Владимир (Сосинский — Н.Ч.) хочет мне написать по поводу моего письма.

Я писал о том, что совсем не могу писать стихов, что дошел до «непоправимо белой страницы», что постоянно натыкаюсь в большинстве написанных стихов на совершенно нестерпимую для меня полуправду или просто на откровенную ложь и фальшь, что подлинное искусство — только при последней бесстрашной искренности и правде, освобожденной от всех побочных факторов, условных и относительных. Оголенная человеческая душа, с содранною кожей, которая поет, звенит, захлебывается от восторга и которая от боли ужаса и отвращения, печали, трепещет в самой глуби жизни и мира.

Конечно, я писал совсем не такими словами, писал сдержанно и спокойно — но что чаще и чаще в бесконечных стихах, которые я читаю, я не нахожу ничего кроме раздражительной и скучнейшей, никому не нужной шелухи, постоянно с условной правдой, с условными ценностями.

Но дело не в этом, это тоже чепуха. Но вот что я заметил, если раньше для меня основное в поэзии, основное в жизни было «мира восторг беспредельный», который вообще-то заслонял от меня не только «сердца горестные заметы», но и боль, (…)и печаль бытия, то теперь получается нечто обратное,

«Мира восторг беспредельный» теперь все чаще и чаще заслоняется «сердца горестными заметами», болью, негодованием, печалью, ненавистью к фальши, демагогии, полуправде.

**9.**

Прочел в «Лит. Газете».

К Шолохову в станицу приехали очередные различные делегации.

В одной из бесед «большой писатель земли русской» между прочим выразил сожаление, что в учебных заведениях (средних и высших) заброшено «военное обучение», военная подготовка

Сердце Шолохова вероятно радует, что все пацаны чуть ли не с трехлетнего возраста с утра до вечера носятся с деревянными самодельными автоматами, поливая друг друга: «тра-та-та-та, тра-та-та-та-та — ты убит!»

А я думаю, что человечество изживет войну только тогда, когда самая мысль об этом диком деянии человечества будет казаться мерзостью, когда дети органически утратят «самую способность играть в войну», когда некогда существовавшая военная подготовка детей школьного возраста будет расцениваться, как преступление против человечества и человечности.

А писатель «по-настоящему большой», талантище огромный. Хотя с «трезвой государственной точки зрения» моя позиция — нелепость. Шолоховская — «разумна».

Грустно. Последней ненавистью ненавижу войну.

**10. 12/V**

«Самое главное — жить и работать на совесть; смотреть, слушать, учиться и понимать; и писать о том, что изучил как следует, не раньше этого, но и не слишком долго спустя»

Смерть после полудня

Э.Хемингуэй.

Тоже, как это верно! Но и не слишком долго спустя. Heles! C est mon cas!

Потому что «Все, что память сберечь ни старается, / Потонуло в безумных годах». И видимо потонуло совершенно безнадежно. И

еще потому, что «времена меняются и мы меняемся с ними вместе», и мне теперешнему очень трудно восстановить меня тогдашнего, чтобы правдиво рассказать о себе, о людях, о событиях, так, как я видел и чувствовал, воспринимал и понимал их тогда.

Помню впечатление от «дневника» Зинаиды Николаевны Гиппиус — когда он писался? Это сомнение вызвалось «слишком гениальным прозрением и ясновидением» и наталкивало на мысль о «заднем числе».

**11. 16/V**

Отправил письмо Виктору в Медон (Мамченко — Н.Ч.).

Опять Хемингуэй:

«Охотиться, удить рыбу, читать книги, писать, описывать все, что видишь, — вот что для меня самое дорогое».

Хемингуэй, Зеленые холмы Аризоны.

Если в начале поставить: странствовать и изучение природы и рисование, тогда мне нечего будет к этому прибавить. Именно так с младенчества хотел я прожить жизнь. Но, увы, прожил я ее очень глупо. Если не считать странствий и большой настоящей любви, хотя и глубоко трагичной.

Растратил почти по-пустому.

Ленью прибил творчество.

Совсем не развил кой-какие данные, имевшиеся в юности, для того чтобы стать рисовальщиком. Настоящий ученый из меня вряд ли получился бы, но натуралист и писатель-натуралист получиться бы мог.

**12.**

В № 4 «Простора» подборка стихов (16 стихотворений) Осипа Мандельштама с небольшим предисловием Ильи Эренбурга.

«Двадцатые годы нашего века были необычайной эпохой русской поэзии, их можно сравнить с теми десятилетиями, когда жили и писали Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Боратынский и др. поэты пушкинской поры.

В двадцатые годы были написаны замечательные поэмы и стихотворения Маяковского, Есенина, Ахматовой, Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама: «Про это», «Сестра моя жизнь», «Тристиа», «Поэма конца», «Анно домини», последние произведения Есенина»…

Я бы прибавил Ходасевича, его «Европейскую ночь».

Затем Эренбург рассказывает о судьбе Мандельштама.

«В 1919 году он очутился в Коктебеле, там разведчики Врангеля его арестовали, обвинив в том, что он якобы работал в

ЧК города Николаева (где он никогда не был). Мандельштама хотели убить, спас его поэт М.Волошин. Мандельштаму удалось убежать из белого Крыма в Батуми. Там его арестовала меньшевистская полиция: «в газете его называли “двойным агентом” — Врангеля и большевиков». Его освободили по настоянию грузинских поэтов. Мы вместе с ним проделали, полный бурных происшествий, путь из Тбилиси в Москву. В Ленинграде, потом в Москве он бедствовал, жил хуже других, но продолжал писать чудесные, порой радостные стихи. В 1934 году его арестовали за стихотворение о Сталине. Его отправили в ссылку, он спускался по Каме и заболел острым нервным расстройством. Это было задолго до 1937 года, и защитникам поэта удалось заменить ссылку в далекое холодное село поселением на три года в Воронеже.

Осип Эмильевич оправился, стал много писать. В январе 1938 года А.А.Фадеев показал мне гранки «Нового мира» и сказал, что попытается вернуть Мандельштама читателям. А несколько месяцев спустя Мандельштама арестовали, как ранее репрессированного, и приговорили к пяти годам лагерей. Он умер в пересылочном лагере неподалеку от Владивостока, где содержали репрессированных до начала навигации. Я видел людей, бывших в том лагере; они рассказывали, что Мандельштам был болен, чрезвычайно истощен, мечтал о ломте хлеба, о кусочке сахара, мерз и возле костра декламировал свои стихи, или сонеты Петрарки по-итальянски. Он запомнился многим — до последнего часа оставался поэтом».

Какой ужас! И еще, и еще вспоминаются прекрасные строки Волошина:

Труден подвиг русского поэта,
И судьба, недобрая ведет.
Пушкина — под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.

И не все ли равно, кто становится палачами свободного вдохновенного слова — Николаевские бенкендорфы или сталинские каты. И самое нестерпимое и страшное, что и для тех и для других все их преступления прошли безнаказанно.

В журнале помещен портрет Мандельштама. Я только сейчас догадался, на кого он похож! — На Вл. Унковского, которого А.М. Ремизов под именем «африканского доктора» (Унковский был выслан из Африки французскими властями, как говорили, за

неуемный разврат с негритянками).

А, если сказать по правде, лицо Мандельштама («вислоухий приказчик») как-то «не вяжется» с его прекрасными стихами.

В общем-то, я знаю только «Tristia» и то ослабевшая моя память хранит только чудесный аромат этой книги.

Конечно, я мог бы привезти с собой из Парижа все книги стихов из моей библиотеки, но я побоялся «быть не лояльным», т. к. Богомолов посоветовал не брать «эмигрантских изданий», а «Tristia» была издана, вероятно, в Берлине. Не привез я и Ходасевича, не говоря уже о всех моих друзьях, хотя ничего антисоветского в этих стихах не было.

Хотя вот что пишет Вл. Сосинский, вернувшийся на родину через 5 лет после меня (в 60-м г.). Он вез с собой 5 тетрадей стихов Марины Цветаевой, переписанные им из периодических изданий, «кстати сказать, были у меня отобраны на московской таможне». Я же вез в двух больших ящиках более 100 книг, русских и французских, при мне ящики были вскрыты на московской таможне, вежливый молодой таможенный чиновник не стал осматривать содержимое, в ящике лежал список книг, сделанный мною, он просмотрел его и сказал, «французские книги нужно было бы просмотреть, но я верю, что у Вас ничего нет такого, что не следовало бы привозить с собой из Франции», и ящики тут же были заколочены.

**13.**

(Газетная вырезка, «Вместо фельетона»: «Ответ рассерженным» — Н.Ч.).

В.В.Шевченко — «вероятно, это очень страшные люди, люди, лишенные чувства юмора — представьте себе Ю.Б.?» — Наученный горьким опытом, очень себя представляю.

Между прочим, дал эту вырезку прочесть К. Судя по отсутствию эффекта — совершенно не дошло. Поистине удивительно!

14. 27/V

Пришло известие из Ленинграда — умер академик Ев. Никон. Павловский. Вернулся в Ленинград из Душанбе (на самолете). Тромбоз сосудов головного мозга, отек легких.

Галузо и Ременцова (Осменцова?) завтра летят на похороны. Я с ним встретился впервые, когда он приезжал в Алма-Ату на паразит. Конференцию.

**15.**

3/VI, четверг.

Совершенно неожиданное письмо от Прилепских. Они уже 8 лет в Краснодаре.

4/VI

Отправил письмо Прилепским. Был очень удивлен, что Прилепские вернулись на родину.

(Газетные вырезки: «Воспитание эмоций» академика П. Анохина; «Гости» рассказ Геннадия Паушина из Казани на конкурс «Известий»; «Памяти поэта», к пятилетию со дня смерти Б.Л. Пастернака — «Русские Новости», № 1941, 1965 г. Подборка материалов подготовлена московским сотрудником газеты, писателем Н.П. Смирновым — Н.Ч.).

**16.**

Из письма Ник. П. Смирнову.

…А сегодня пришел очередной номер «РН» и я с большим волнением и радостью прочитал Ваш благородный и мужественный «Последний путь». Я очень люблю Пастернака и был уверен, что все преходящее пройдет и канет, ибо «довлеет дневи злоба его», а подлинная и высокая поэзия пребудет вечной.

Труден подвиг русского поэта,
И судьба недобрая ведет:
Пушкина — под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот…

Все-таки эти стихи Волошина нет-нет, да и вспоминаются. Потому Вы меня так порадовали описанием его похорон. Пришли те, кому он был тоже дорог, и пришло много; значит, многим он был дорог и нужен. В общем-то, это судьба подлинного искусства, ибо действительно принадлежит народу. И даже хорошо, что поэт был лишен, из-за трагических обстоятельств, чисто официальных похорон. Ибо не всякое обилие народа

— убедительно и далеко не все речи лишены оскорбительной полуправды.

Очень радостно было узнать, что среди пронзительно-щемящего «Встречались писатели» были Паустовский и Каверин. Всегда хочется по-детски верить, что большие писатели, к тому же близкие и любимые, доставившие тебе много прекрасных минут в жизни своим творчеством — не могут не быть прекрасными людьми.

Увы! по-взрослому иногда выходи и иначе. Еще об «Истории»

Карамзина сказано:

…он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

(Эти стихотворные строки были вычеркнуты — Н.Ч.).

В порядке «сердца горестных замет». Иногда вдруг замечаешь, что самое что ни на есть нормальное человеческое поведение мы возносим на несвойственную ему высоту.

Может быть, оттого, что слишком уж много в мире эдакой предусмотрительной, осторожненькой, разумной подлости, то ли «страха ради иудейского», то ли ради комфортабельного благополучия. А, в общем, просто мне захотелось крепко и сердечно пожать Вам руку за теплые и хорошие строки о поэте.

18/VII. Отправил письма Рае и Л. с сообщением о болезни.

(Конверт с подписью: «Копия письма/ написанного Л. и Рае (брату Льву Бек-Софиеву и Раисе Миллер в Париж — Н.Ч.) из больницы, когда состояние мое не внушало мне никакого доверия» — Н.Ч.).

22/VII, 65 г, из больницы.

Дорогой мой Лева!

Пишу тебе в горизонтальном положении и в очень неважном состоянии. Ни подняться, ни двигаться нельзя. Большое тебе спасибо за то, что ты взял на себя заботу об Ириной могиле. Вся сложность в том, что отсюда ничего нельзя сделать. Спасибо и за прекрасные цветные фото, вызывающие у нас admiration. О чем грущу, что жизненные дороги наши под конец жизни разошлись, но это не влияет на мою братскую любовь к тебе.

Крепко тебя обнимаю, желаю тебе добра и счастья. Любящий тебя твой брат Юрий.

Вспоминаю детство, в особенности Дальний Восток и Старую Руссу — Манск. Римму, когда вспоминаю Нижний. Вообще, далекие милые образы и видения мира, включая и Тюрингию.

Дорогая моя Рая!

Получил твое письмо со статьей, спасибо, в момент, когда меня «Скорая помощь» выволокла из дому в больницу. Откровенно говоря — выплыву ли на этот раз — не знаю.

В общем-то нелепо и глупо, как раз почти вся жизнь, схватил инфаркт. Спасал Чока, которого загрызла огромная овчарка. Волнение, резкие движения — и я свалился.

Но мог ли я остаться равнодушным к его судьбе? Как видишь, встреча в Ленинграде под сомнением. Спасибо за все. Крепко тебя целую. Твой (…) Юрий. Привет всем.

**17.**

Г. Колосов, ст. преподаватель кафедры русской журналистики Каз. ГУ, кандидат филологических наук напечатал в «Ленинской Смене» статью «Как надо писать очерки».

Между прочим, в ней имеется такой пассаж.

«Вспомните рассказ А. П. Чехова “Спать хочется”, нянька душит ребенка, который мешает ей спать. Чехов написал по этому поводу рассказ — беллетристическое произведение, иными словами, ограничился образным воспроизведением отрезка жизни. Но об этом можно было бы дать заметку, сообщив лишь о самом факте: “28 января нянька, раздраженная непрерывным плачем ребенка, удушила его”. Можно было бы пойти и другим путем. Проанализировать этот же случай и связанные с ним факты, вскрыть причину происшедшего и сделать вывод: “До чего доводит эксплуатация нянек”, т. е. написать корреспонденцию. Но если бы Чехов поставил перед собой другую цель, захотел бы вложить в содержание материала не только картину бесправного труда в дореволюционное время, но и в какой-то мере вскрыть “логику фактов” и “химию поступков”, социальные причины, ведущие к бесправию, дать им свое объяснение и оценку, он вольно или невольно прибегнул бы к жанру очерка, позволяющему выступить во всеоружии публицистических и художественных средств одновременно».

Эти мудрые рассуждения a propus Чеховского рассказ помнили мне одну запись И.Ильфа из его записных книжек:

«Выскочили две девушки с голыми и худыми, как у журавлей, ногами. Они исполнили танец, о котором конферансье сказал: “Этот балетный номер, товарищи, дает нам яркое, товарищи, представление о половых отношениях в эпоху феодализма.”»

Или старый анекдот времен революции.

Старушка в зоологическом саду впервые увидела верблюда, всплеснула руками: «Вот, сволочи большевики до чего лошадь довели!»

«Вот сволочи буржуи в эпоху феодализма до чего нянек довели!»

Бедный Антон Павлович, к сожалению, не догадался, «в

какой-то мере вскрыть “логику фактов” и “химию поступков”».

**18. ОБ АНЧАРЕ.**

Не раз обсуждался вопрос о существовании анчара. Высказывалось мнение, что поэт описал легендарное, а не реально существующее дерево.

«В действительности, — пишет профессор А. Драгавцев, — такое дерево существует. Оно растет в тропических районах Юго-Восточной Азии и имеет сходное с народным ботаническое название антиарис токсикария. Дерево это принадлежит к общему семейству с нашей шелковицей, но имеет очень ядовитый сок.

Действие сока анчара аналогично сильному яду кураре, добываемому на Амазонке из некоторых лиан, кору и древесину которых долго варят. Сок анчара без всякого приготовления обладает столь же сильным действием».

В описании Пушкина неправильно лишь то, что анчар растет в пустынях и выделяет ядовитую смолу. При обследовании тропического леса острова Хайнань (Южный Китай) было обнаружено огромное дерево незнакомого вида, имевшее ствол более семи метров в диаметре.

Как выяснилось позже, это был анчар. Обмер дерева, его (…) и попытка собрать гербарий прошли безнаказанно».

Название месяцев у славян крепко связаны с проявлениями природы: июль — липец (время цветения липы).

**19.**

(Газетная вырезка «Данте на русском языке», «Русские новости», № 1044, 18/ VI, 65 г. Париж — Н.Ч.).

24/ VII

Илья (Голенищев-Кутузов — Н.Ч.) прислал «Новый мир», № 66 г.

С его переводом Данте «Стихи о каменной даме» и довольно трагическое письмо.

25/ VII

Отослал письмо Илье.

(Выписка из Ремарка, Сен Шанель; проспект «Выставка книг по искусству. Альбер Скира, Дом дружбы — Москва, июнь 1965 года» и надписью на нем: «Вот чем я сейчас занят! И будет в этой коллекции книга о средневековом русском искусстве», сделанная, вероятно, Голенищевым-Кутузовым, — Н.Ч.).

**20.**

(Газетная вырезка со стихами Андрея Вознесенского «Больная баллада», «Неустроенный монолог», «Баллада — яблоня» — Н.Ч.).

(Открытка с видом кремля в Нижнем Новгороде (г. Горький) и подпись Ю.Софиева)

В глубине, правее башни здание моего корпуса, где я учился с 1912–1917 гг. Перевелся из Хабаровского края.

**21.**

Воспоминание С.Ю. Витте.

«Граф Бенкендорф — ярый католик, но тем не менее весьма порядочный человек».

В другом месте о генерале Гессе, дворцовом коменданте при Николае II: «… сами Гессе еврейского происхождения, в них есть значительная доля еврейской крови. В наружности генерала Гессе это не было заметно, но в наружности его брата, который был в Киеве губернатором (тоже вследствие влияния Козлянинова), еврейский тип резко проглядывал, что не мешало как киевскому губернатору Гессе, так и генералу Гессе быть людьми весьма порядочными».

Эти «но тем не менее» и «что не мешало» великолепны! Но самое печальное, что и в наше советское время весьма нередко можно услышать: «хотя он еврей, но хороший человек».

**22.**

О Марии Алексеевне Крыжановской, артистке МХАТа.

Для письма Виктору (Мамченко — Н.Ч.).

«Кстати, образ этой большой артистки и этого человека тоже прошел через мою жизнь каким-то удивительно чистым и прекрасным сиянием. Она поразила меня своим талантом удивительным и своим не менее прекрасным обликом при нашей первой встрече в мои студенческие годы в Белграде — парижская группа приезжала на гастроли.

Нас, молодежь, Мария Алексеевна тогда не только очаровала, но и буквально потрясла, и это очарование все усиливалось в последующие уже парижские наши встречи, так я и пронес этот чудесный образ высокого подлинного искусства, прекрасного человека и прелестной женщины через всю мою жизнь.

При встрече поклонись ей от меня».

27/VII

Отправил письмо Мамченко.

**23.**

«Воспоминания» Витте.

Ялта, 45. Портсмутский мир.

«Когда я был в Париже, то я получил письмо от одного из столпов нашей революции — Бурцева, который выражал, что нужно уничтожить самодержавие, и если мир может тому воспрепятствовать, то не нужно заключать его. Письмо это я переслал графу Ламсдорфу, который показал его государю. Оно хранится в моем архиве…»

Владимир Львович Бурцев — маленький, щуплый, с небольшой козлиной бородкой, суетливый и верткий. Так сказать, эсеровский контрразведчик, сыщик по призванию. Я не был с ним близко знаком, но постоянно сталкивался на различных парижских сборищах. Один из эмигрантских одержимых. Вел аскетический образ жизни, ютился в дешевых меблиришках, по рассказам — (…) чайник на примусе и чай, как основа питания. В эмиграции он скатился направо, и стал правее самых правых эсеров. Был одержим идеей «общего дела», т. е. создания «общего фронта борьбы» с большевиками. Все свои силы отдавал на издание и изыскание средств на свой листок «Общее дело», который то появлялся на свет божий, то исчезал за истощением всяких средств. Я совершенно не помню, с кем он его выпускал, что именно проповедовал, так как никогда этого «Общего дела» не читал, лишь мельком просматривал, да и появлялось оно на парижском горизонте очень эпизодически. Ничего кроме слепой ненависти и дикой злобы к советской России у людей этого типа не было, к ним можно причислить и Д.С. Мережковского, массивного, косоплечего, с пылающими глазами, истерически провозглашавшего: «Хоть с чертом — против большевиков!» и на этом основании благословившего и Муссолини, и Гитлера.

Бурцев во время оккупации был очень обижен на немцев за то, что они не обратили на него никакого внимания и не посадили его, как «страшного революционера» за решетку. Здесь сказался эсеровский романтизм, для которого тюремная решетка, ссылка — были прежде всего «почетными грамотами», но нужно ради исторической объективности отметить, что при всей гнусности Николаевкого режима из николаевских тюрем и ссылок все же было легче вылезти живым, чем из душегубок Гитлера. Гитлер сумел переплюнуть прочих заплечных дел мастеров. Говорят, умирая, Бурцев просил, «чтобы его послали к своим». Впрочем, я не знаю, кто из эсеров, кроме И.И. Бунакова-Фундаминского попал в лапы к гитлеровцам. Вишняк, Зензинов, (…) и др. своевременно удрали в Америку.

(Газетная вырезка «Здесь пройдет автобус туристов» В.Степанова, о дороге на Иссык-Куль; газетная статья Е. Кнорре об астрономии «Судьбы звезд» — Н.Ч.)

**24.**

(Длинная фото-открытка с видами Женевы от Баранова: «Привет дорогому человеку и гражданину. Шли совет срочно. (…) Крепко обнимаем. Твои Барановы» — Н.Ч.).

… Без жалости, все смерть разит:
И звезды ею сокрушатся,
И солнца ею потушатся,
И всем мирам она грозит…

Державин.

И еще: Река Времен…

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То жерлом вечности пожрется
И общей не минет судьбы.

5 миллиардов лет, которые остались солнцу(?), если не произойдет какой-нибудь космической катастрофы, для человечества практически это вечность, хотя все же «вечность» относительная.

И, конечно, не прямая линия, а замкнутые круги — цикличность. Еще в Монтаржи, из ранних моих стихов:

От зарожденья до разрухи
Кружит широкая дорога.

Только эти две строчки и запомнил. Оптимисты скажут: практически — вечность. А принимая во внимание человеческий возраст около миллиона лет и достижения технического

прогресса за последние десятилетия — человечество переживет солнце и улетит на другие «молодые» миры. Все может быть. Или закончит свой цикл «золотым, но безысходным веком».

Как мы мало еще знаем, хотя каждый день приносит расширение и углубление информации. Вчера по радио: влияние процессов, происходящих на солнце… на вспышки инфарктов на земле.

«О, флейта Экклезиаста, поющая вечную песню / О том, что все преходяще, / Все тленно и неповторимо, / О том, что растущее знанье / Преумножает печаль» (Синий дым). Впрочем, это я содрал у царя Соломона!»

**25.**

Смерть Феликса Фора

«Воспоминания» Витте.

«…Сам по себе, по своим дарованиям Феликс Фор ничего выдающегося из себя не представлял. Жена его, которая по летам вполне соответствовала его возрасту, была простая, буржуазная француженка, весьма скромная, и, по-видимому, шокировавшая его в торжественных случаях.

Феликс Фор продолжал ловеласничать и, что не составляет секрета, кончил свою жизнь крайне трагически и для человека, в особенности пожилого, а тем более для президента республики, крайне неприлично: у него произошел разрыв сердца, когда он находился наедине, в комнате, с одной дамой, женой известного художника Стендаль, которая год или два тому назад имела в Париже скандальный процесс, будучи обвинена в убийстве или в соучастии в убийстве своего мужа. Она, кажется, жива, но живет в Англии. Бывая часто в Биаррице, я много о ней слышал, когда она была еще девицей; она там жила и родилась, кажется, в Байоне (7 верст от Биаррица). Дама эта была очень красивая.

Лица, которые на крик этой дамы вошли в ту комнату, где был президент Фор, застали картину, которую трудно изобразить: Фор находился в самом неприличном положении, мертвый, с рукою, охватившей ее густые прекрасные волосы, а она стояла около него на коленях.

Любопытно, что Ник. Ник. (Кнорринг — Н.Ч.), прожив во Франции 30 лет, так и не понял, при каких обстоятельствах умер Феликс Фор. Он решил, что вся соль в том, что Фор выхватил мертвой рукой волосы дамы.

Витте пишет: Фор находился в самом неприличном положении (которое трудно изобразить), мертвый, с рукою,

охватившей ее густые прекрасные волосы, а она стояла около него на коленях.

«Самое неприличное положение» заключалось в том, что дама, стоя перед ним на коленях, делала президенту «минет» и в самый патетический момент Фор умер от разрыва сердца, так как Фор судорожно охватывал ее волосы, то дама и не смогла сразу освободиться от мертвой руки.

Именно эту картину и застали вбежавшие, и каждому французу это известно. Для Франции это вполне «нормальное», обыденное явление. Половые «извращения» — «art amandis» вовсе не являются занятием кокоток, любая респектабельная дама общества — почтенная мать семейства, в этом искусстве не уступит любой «жрице любви». Эта «изысканность» прежде всего гнездится в буржуазной, а в равной мере в любой, в том числе и рабочей семье. Обо всем этом в свое время уже рассказал Золя.

Мне вспоминается рассказ В.Н.Малянтовича (известный эмиграции русский художник — Н.Ч.). Он присутствовал на каком-то съезде в русско-французском обществе, главным образом, людей искусства. Против него сидела молоденькая (16–17 лет) маркиза. За десертом два соседа маркизы обрезали шкурку банана таким образом, что он принял форму члена, и любезно предложили соседке «sucar», как обычно разговор принял пошловато-сальный характер о «тонкостях любви». К слову, Малянский сознался, что дожив до своего возраста (55–57 лет), он очень наивен в этих делах и ни разу в жизни не испытывал подобного рода ощущений. «Нужно было, Юрий Борисович, видеть, с каким презрительным удивлением посмотрела на меня эта девчонка, словно говоря, “какой же ты мужчина, на что же ты годен?”»

Мой хозяин cher Varene не Феликс Фор и не умер подобно ему, но однажды был застигнут в своем рабочем кабинете, когда, подобно Фору, «находился в самом неприличном положении», одним из служащих.

В двадцатых годах после моего переезда из Монтаржи в Париж я, переменив несколько антеприз, наконец устроился рабочим во одном торговом предприятии Varene Freres, торговавшем en gros фарфором, фаянсом и прочими articles de menaqe. Устроил меня Кеша Пинко, который работал там. Братья Varene охотно брали русских и застал я там не мало забавных типов. Во главе предприятия стояли два брата. Старший — cher Aime был просто хозяином, необычайный работяга, хотя ему и было много за 60, целый день возился с рабочими. Вскоре я стал

chef de equips, с моими ребятами я ездил разгружать вагоны с товаром, затем распределял их и устанавливал по местам в огромном, крытом стеклянной крышей, помещении. Обычно с нами работал Aime. Это был необычайный ворчун и крикун при случае, но по существу очень добрый старик, смертельно ненавидевший лентяев и ловчил, но уважавший труд, и сам его не боявшийся. Разгружать товар, уложенный в ящиках с опилками, стружками или сеном, в жаркий день, обливаясь потом и задыхаясь от пыли, дело не особенно приятное. Старик вымазывался как черт, уставал к концу дня гораздо больше нас, но был счастлив.

Всю жизнь человек работал и его увлекал, как страсть, самый процесс работы. Без него работа шла бы, может быть, слаженнее, так как он не совался бы со своими распоряжениями и толкотней. Cher Клод был несколькими годами моложе Aime, но он стоял во главе предприятия, занимал административный пост — он был директором. Он был крупнее и грузнее старшего брата, с бритым грубовато-топорным лицом (Aime носил усы и эспаньолку — почему рабочие и окружающие звали его «козлом»). Директор по-медвежьи косолапо проходил по помещениям предприятия, здоровался с нами и иногда удостаивал нас разговором в таком духе: «А есть ли в России трамваи?», «А правда ли, что в города иногда забегают медведи и волки? En si berie!» Он нес подобную чушь, вовсе не пытаясь шутить, не от глупости даже, он нес ее совершенно всерьез, от своего неведения, от потрясающего невежества (что касалось России), хотя он в молодости кончил духовную семинарию.

Именно с этим cher Клодом и произошел нёкий казус, не смотря на «духовное воспитание», он был типичным французским буржуа или просто средним французом, и потому использовал свое положение на поприще «Cnercher la femunne». У него была личная секретарша Сюзан, дама лет 35. Она была потрясающа по роскошеству телес, она именно потрясала ими, проходя по двору и улыбчиво здороваясь с сослуживцами.

При каждом ее движении, при ее величавом и довольно твердом шаге, ритмически и упруго сотрясались ее груди, ягодицы и все тело, не расхлябанно, а какой-то упругой мелкой дрожью. При виде ее у Козловского отвисала нижняя челюсть, и не выдержав, он исчезал в уборную, возвращался из нее бледный, вялый и растерянный. Это был довольно мерзкий тип эротомана. Революция его застала в старших классах Кадетского корпуса, попав в эмиграцию, он так и остался на всю жизнь «кадетом». Попав во Францию, по своей патологической натуре он воспринял все самое худшее — ананирование в писсуарах, или на скамейках

общественных садов и скверов — «любовь на расстоянии». Бледный, с призрачной синевой кожи, с порочными кругами под глазами, он мог говорить только о женщинах, причем только в определенном духе — как-то надсадно он высказывал вслух, смакуя подробности, свои порочные видения. Цинизм и бесстыдство его не знали границ. Его девизом служила та надпись мелом на общественных писсуарах, которую малюют такие же патологические типы, в особенности, в студенческих кварталах Парижа: «A das le hontel» — «Долой стыд!» и совместно ананируют в таких писсуарах, под сенью этого девиза

Итак, у cher Клода была секретарша Сюзан. В этом здании было много стекла, стеклянные стены, стеклянные двери во внутренних кабинетах. Директорская дверь была тоже стеклянной, но перед ней находилась комната секретарши с глухой дверью. Cher Клод не любил, когда его беспокоили в его кабинете. Обычно по внутреннему телефону предварительно обращались к секретарше. Но однажды один из служащих, имея какое-то дело именно к секретарше, почтительно и осторожно приотворил дверь, намереваясь вызвать Сюзан, и в дверях замер, через стеклянную дверь директорского кабинета, пораженный «самым неприличным положением», в котором находился директор: cher Клод был погружен в удобное директорское кресло, Сюзана стояла перед ним на коленях и «обрабатывала» ртом и языком директорский член. А он трепал ее кудрявые волосы. Они были слишком увлечены друг другом, чтобы обращать внимание на дверь. Конечно, весть сия мгновенно перелетела из уха в ухо, вероятно, она дошла и до Сюзаны, а, может быть и до cher Клода.

Если бы у Сюзаны не было законного мужа, она, вероятно, презрительно передернула бы плечами — et pourquoi pas? Но, видимо, она сделала то же самое и при наличии мужа. Во всяком случае, ничего в предприятии Varene Freres не изменилось.

Cher Клод так же время от времени благожелательно интересовался трамваями и медведями, а прелестная Сюзан по-прежнему губительно действовала на кадета Козловского.

**26.**

(Письмо, написанное карандашом — Н.Ч.)

Юрий Борисович!

Вчера С.Н.Боев сказал мне, что вы уже дома. На этой неделе я очень занята. Вчера ходили вечером в театр на МХАТ, смотрели «Идеальный муж», в субботу тоже на «Кремлевские куранты» — ерунда. Играют артисты хорошо, билеты дорогие. Теперь пойдем в четверг на «Три сестры». Выходит, я целую неделю занята. С.Н.

говорил мне, чтобы я с вами пошла в магазин покупать костюм. Это нужно заранее договориться. Вы скажите, когда мне придти, и я с вами пойду покупать костюм. У меня работ мало. Работаю потихонечку. Вы как чувствуете себя? Позвоните или напишите Я смогу к вам придти на той неделе. А если вы хотите пойти в магазин, то можно в пятницу или субботу,

Получила письмо и газету на ваше имя, может, через Игоря передам, если он здесь. К папе приехала сестра его с внучкой. С ними тоже надо погулять. Не успела кончить. Поправляйтесь. Вам привет от Тамерлана и папы с мамой.

С приветом, Люда.

P.S. Встретимся и сговоримся с вами.

Из письма Сосинскому

Спасибо большое за «Вопросы литературы». Было очень интересно прочитать статью Ильи Голенищева-Кутузова о Данте — многомудро, но дельно и интересно, и, видимо, со знанием дела.

В самом начале 20-х годов в Белградском университете у проф. (…).В.Аничкова было три ученика — два балбеса: Алексей Дураков и я, а Илья, собственно, и был настоящим учеником, который должен был, сидя на охапке сена у ног учителя, перенять всю его премудрость и шествовать с оным светильником далее. Илья был целеустремлен, упорен в работе и потрясал нас своей эрудицией. Оставаясь поэтом, Илья упорно шествовал к вершинам учености, и нужно сказать, что довольно скоро по «добротности фактуры» перегнал своего учителя. Блок, в дневниках, очень зло и очень уничижительно отзывался об Аничкове. Метко, но не совсем справедливо, потому что не захотел отметить наряду со смешными и отрицательными сторонами одно несомненно ценное качество у этого человека. Это был, я его знал уже стариком, необычайно великодушный и очень благожелательный к людям человек. И по существу, по-настоящему добрый. А я, например, эти качества в человеке считаю далеко не последними. Алексей Дураков, на мой вкус, писал прелестные стихи и во время оккупации (Югославии, где он был учителем словесности в гимназии) погиб, попав в окружение, на партизанском пулемете, расстреляв до последнего патроны своей пулеметной ленты.

В те далекие годы мы были молоды, бесконечно острили и издевались друг над другом, но на всю жизнь я сохранил неизменную любовь к моим друзьям юности. Я искренне рад и горжусь, что у моих друзей оказались весьма незаурядные судьбы. Увы, самой скромной и ординарной оказалась моя собственная

судьба. Но (это) не столь важно…

16/ VII Отправил письмо Сосинскому
19/ VII Отправил письмо и 10 фото Братусам
6/ 9 Отправил письмо Братусам с 6 фото.

**27.**

(Телеграмма от Раисы Миллер: «Звони 17 числа утром комната 432 Рая Ленинград Гостиница Астория»; газетная вырезка «Дом Хемингуэя» Поля Хофмана; статья Ю. Тыссовского «Африканский Маугли» — Н.Ч.).

Корреспонденция:
Москва
Голенищеву-Кутузову, Н.П. Смирнову, П.Л. Вайншенкер, Вл. Б. Сосинскому, Г. Мышецкой, Л.Любимову.
Ленинград
И.В. Братус, Ахаматовой.
Краснодар
И. Прилепскому
Париж
Мамченко, Терапиано, Леве (Бек-Софиеву)
Рае (Миллер)
Могилевскому

22/9 Отправил ответное письмо И. Родионову.

(Фото, где Ю.Б. Софиев и подпись: «Созрели сливы в моем саду»).

**28.**

(Вырезки из газеты «Русские новости»: «Книжная полка», автор О.К., 28/9 65 г. № 1059, Париж, о книге А.Гингера «Сердце»; о нем же в № 1056 за этот же год, но уже некролог о смерти поэта; Ю.Терапиано «Памяти Александра Гингера» — Н.Ч.).

(Фото-открытка с видом Парижа: Rue du General — Leclers, и письмом от Раисы Миллер: «Помнишь ли нашу главную улицу? Ты поднимался по ней не раз. Налево — магазины (…) — его при тебе не было, и за оградой был большой сад. Как вышли фото? Пришли, пожалуйста. У нас настало лето» — Н.Ч.).

(Вырезка из газеты «Голос родины» № 48, июнь 1965 г.).

Птица
Она летит наперекор беде, —
Во тьме ль отставшая,
или больная, —
Далекая ликующая стая
Уже над гнездами теперь —
в труде.

А эта здесь и дышит горячо,
Чтобы крылатое продолжить тленье,
И силится тяжелое паденье
Переложить на слабое плечо.

Давно тебе пора понять —
Не нужная ты больше певчей рати,
Ты бьешься здесь за жизнь опять,

А радость там… Лети! Лети!

Виктор Мамченко.
Париж.

В подлиннике:

Чтобы крылатое продолжить дленье.
……
Переложить на легкое крыло.

И последняя строфа:

О, как понять? С тобой — с ума сойти,
Не нужная ты больше певчей рати.
Ты бьешься, здесь собою жизни ради,
А не для радости… Лети! Лети!

Прежде всего, в подлиннике мне не понятно «собою», — это обычное мамченковское «косноязычие», может быть, «сама с собою» (что плохо), но вся строфа пронзительно трагична (с ума сойти!). Образ бьющейся во тьме, отставшей от стаи, большой птицы — образ, вызывающий сочувствие и сострадание — убедителен. И строка «не нужная ты больше певчей рати» звучит

вовсе не осуждающе, с горечью незаслуженно-горестной судьбы!

Нужно знать историю этого стихотворения. Виктор говорит о самом себе, о своей судьбе и написаны стихи под впечатлением нашего (моего, Ник. Ник.) отъезда на родину в ноябре 1955 года, под впечатлением нашего расставания на парижском вокзале.

Виктор очень болезненно переживал наш отъезд и свою невозможность, под предлогом болезни, возвращения на родину, свой фактический отказ от возвращения, остро сознавая, что остается в Париже «ради жизни, а не ради радости», Я не уверен, что состояние его здоровья было непреодолимым препятствием для возвращения, думаю, причины были более сложными, а главной — нет, главной был сам Виктор, вся его натура — динамичная во внутренней жизни и очень статичная (вся во власти отстоявшихся привычек) во внешнем мире, — во всяком случае, одной из главных — его отношения с Еленой Владимировной Ионовой. Но даже не будь Елены, я не уверен, решился бы Виктор на такую перемену жизни, как отъезд на родину, ведь это путешествие из одного мира в совершенно другой и я опять-таки не уверен, смог ли бы Виктор акклиматизироваться у нас или сколь мучительна была бы для него эта акклиматизация, и еще что бы он стал делать на родине? Сумел бы утвердить («в порядке становления») себя, как это удалось сделать Ладинскому, Любимову, наконец, мне? Все это трудные вопросы с неясными ответами?

Но что же сделала из последней строфы рука редактора? — действительно, как пишет Виктор: можно заплакать!

(Вырезка из этой же газеты со стихами В. Мамченко «Вика Оболенская» — Н.Ч.).

**29.**

Элегия Масснэ. Виолончель. Поет Обухова: «Не дал мне вновь (…)…».

10/X

Возможно, открывали заказное письмо Рае с документом для заверения в (…) консульстве. Леве — просьба через газету разыскать Володю, 2 «Простора» для Мамченко и Терапиано.

**30.**

(Отдельный листок — Н.Ч.)

2/VIII, 2, 15дня.

Ни души, а мне очень плохо. Немеют, очень противно, конечности. Был участковый врач. Отменил лекарства, т. к. почти ничего не ем, а питаюсь лекарствами — отравляю организм.

Прописал глюкозу, но когда сестра начинает ее вводить —? попросил Катю купить ее по рецепту. Плохо стало не с утра, а часов с 10. подмел комнату и стало плохо. Но такое ощущение, что жизненные силы уходят из организма и состояние мерзкое. Ощущение вздутия желудка и это душит. К тому же пасмурная, неподвижно-душная атмосфера.

Давление врач не смерил.

Определил «жесткое» дыхание, в левом легком в особенности, и гнойные пробки в миндалинах.

Лежать муторно, хочется двигаться, хотелось бы позвонить Надежде Федоровне Боевой, вероятно, от гнетущего одиночества и потому что она изумительно человечный, отзывчивый и прекрасный человек — вся семья для меня самая близкая. Но телефона у меня нет и вокруг никого нет. А вообще — спокойствие и сдержанность…

**31.**

(Письмо к Елене Лютц в Париж, хранящееся в тетради № XVI — Н.Ч.).

Дорогая моя Лена!

Наши письма разошлись на несколько дней, потому вслед за отправленным шлю это — в ответ на полученное от 24/12.

Не сговариваясь, может быть, от приближения Нового года, мы оба затронули в них тему о счастье. Я боюсь, как бы не впасть в фальшивую риторику в этом письме. Хотелось бы найти спокойные и обычные слова, но которые бы верно и точно выразили мои чувства, мои переживания. Все, что ты пишешь, — от большого душевного благородства и от большой любви, но тем не менее и безнадежное, тот тупик, в который ты уперлась.

И вместе с тем, зная тебя, я ничего не могу возразить на твою фразу «не привычка, не боязнь перемен, а чисто материальное неблагополучие и взятые на себя моральные обязательства, приковали меня к месту».

Я знаю, что эти факторы будут действовать до конца наших дней, именно последний, т. к. тебе одной всегда бы хватило материальных средств, чтобы приехать ко мне, и именно этим моральным обязательством по отношению к В. (Виктору Мамченко, тяжело больному, за которым ухаживала Елена Лютц, бывшая когда-то его гражданская жена, но потом они расстались, однако сохраняли дружеские отношения и она помогала В. Мамченко, который был совершенно одинок. С Юрием Софиевым у Елены Лютц был роман, — Н.Ч.) и твоей матери мы и приносим в жертву нашу судьбу, наше личное счастье.

Позволь мне оглянуться назад и, может быть, внести еще один немаловажный фактор, сыгравший немаловажную роль в наших отношениях, в нашей судьбе.

Ты помнишь день, когда нас жизнь связала?
Вот четверть века протекло с тех пор…

Теперь уже перевалило за 30 лет. И почти с тех же пор в твоем отношении ко мне, в твоей любви, присутствовали два чувства. Я помню эту фразу, сказанную тобой, тоже четверть века тому назад. «И все-таки никогда я тебя не выпущу из моей судьбы»; и второе, никогда тебя не покидавшее — глубокое недоверие ко мне. Увы, вполне оправданное не только моим поведением, но и всей моей натурой.

Вероятно, в «Певчем часе» В.(Виктор Мамченко — Н.Ч.) это стихотворение посвящено нам с тобой.

Ледяная и живет
Та судьба кострами.
Не иди, когда зовет
Легкими перстни.

Я должен признать, что этот образ Виктором найден очень удачно. Много было в моей жизни этих костров. Но вот что следует заметить — я не разводил эти костры, я не лгал, я сам горел этим огнем, испепеляясь на жизненном ветру, этот огонь захлестывал меня.

И так — чтобы всего себя отдать
(Иначе мелко все и все ничтожно),
И так, чтоб мучиться и так чтоб ждать…
Нет, для меня иначе невозможно.

Горе, конечно, в том, что пламя палило и другие души. Но костры, как и полагается кострам, сгорали и рассеивались пеплом. И когда я оборачиваюсь на мою судьбу, то ясно вижу, что

через всю мою жизнь и по пятнам этого пепла проходят две женщины, не опаленные и всегда живые, — Ирина и ты. И как-то только с тобой и Ириной и связывается и вспоминается эта жизнь. Только два ваших образа оказываются слитыми понятиями жена-любовница — друг, то есть, самый близкий, самый любимый и необходимый человек на свете.

Ты была всему очевидица, и я знаю, как больно обжигало тебя это пламя. И по отношению к тебе, а в свое время и к Ирине, это предательство.

Но вот теперь, Лена, можно объективно сказать, что: ни у меня, ни у тебя на свете нет более близкого человека, чем каждый из нас по отношению друг к другу. И теперь, когда мы оба стоим

У края надвигающейся ночи,

Все временное и случайное развеяно ветром времени, а осталась та подлинная, настоящая близость, которая как бы скована цементом очень долгих лет.

И вот я думаю, что самым роковым в наших отношениях оказалось это недоверие, ибо именно оно помешало тебе в свое время разрубить этот гордиев узел, оставить В. и связать свою судьбу с моей.

«Сейчас прошли два года, первые трудности уже прошли, сейчас твоя жизнь должна была бы наладиться». Да, она более или менее и наладилась. Прежде всего, потому, что на родине встретили меня тепло и благожелательно, потому что мне удалось устроиться так, что я могу всей душой отдаться любимой работе, и, наконец, я привык к новым условиям жизни и не чувствую себя чужим. На все это у меня хватило сил. Но когда ты мне о новом личном счастье у границы моих 60-ти лет, ты понимаешь, родная, что это не то же самое, что освоиться в новых условиях жизни. Я не чувствую себя стариком, но на это у меня не только нет сил, но это, вероятно, просто и невозможно. Отчасти об этом я тебе писал в предыдущем письме. На этот счет не стоит строить иллюзия. Здесь одиночество, вероятно, станет неизбежным уделом. Я тебе писал, что какую-то теплоту в мою жизнь вносят некоторые приятельские отношения, но ты их, видимо, ложно истолковала.

Сейчас как-то трудно мне думать о будущем, как-то очень настойчивы стали одинокие ночные мысли о «склоне лет», все неувереннее думается о завтрашнем дне, т. к. все себя дает чувствовать и сердце, и кровеносные сосуды, и еще черт его знает что, увы, от нашего «духа» вещи вполне независимые и самостоятельные, но от которых мы всецело зависим. Усталость, одышка и прочая гадость — словом, все прелести старости. Каждый из нас может прожить еще и 10–15 лет, но и может

скопытиться каждый день…

## ТЕТРАДЬ XVII, 1965 год, сентябрь, октябрь-январь 1966 год

**1.**

Грибоедов. Сочинения. Госуд. Изд. Худ. лит. Москва-Ленинград. («Путевые письма к С.Н. Бегичеву), 1959 г., стр. 398–399.

«…На середине перехода дорога вилась вокруг горы и привела нас к реке Храме. Мы ехали по ее течению, а на склоне гора подалась влево и очистила нам вид на мост великолепный!

В диких, снегом занесенных, степях вдруг наехали на такое прекрасное произведение архитектуры, ей-богу. Утешно! И удивляет! Я долго им любовался, обозревал со всех сторон; он из кирпича; как искусно сведен и огромен……..

…….В нескольких саженях от этого

моста заложен был другой; начатки из плиты много обещали; не знаю — почему так близко к этому, почему не кончен, почему так роскошно пеклись о переправе через незначительную речку, между тем на Куре, древней Цирусе Страбона, нет ничего подобного этому. Как бы то ни было, Сенаккюрпи, или, как русские его называют, «Красивый мост», свидетельствует в пользу лучшего времени если не для просвещения, потому что Бетанкур мог быть выписной, то по крайней мере царствования какого-нибудь из здешних царей или одного из Софиев, любителя изящного.

Софии — точнее Сефевиды — династия шахов Персии (1502–1736), основанная потомком шиитских имамов Измаилом I Сефевием (1499–1525).

По рассказу дяди, младшего брата отца, Аббас-кули-бека Софиева, полковника — военного юриста, «Красивый мост» построен одним из беков Софиевых — любителем архитектуры, нашим предком (будто бы?). Это мой вопрос.

Беки Софиевы или Сафиевы? Отец писал и так, и так, но обычно писал Сафиев.

Ираклий Андроников
«Лермонтов в Грузии в 1837 году».

Изд. Союза писателей Грузии.
«Заря Востока»
Тбилиси, 1958 г.
Неверная гипотеза, стр. 146.

«Хотя Ениколоков не указал ни года, ни номера газеты, откуда добывал сообщения или факты, тем не менее нам удалось выяснить, что автором сказок, о которых он говорит, был Мирза Мамед-Али Сафиев, фельетонист газеты «Закавказский вестник». Причем сказки его печатались совсем не «в ту пору», когда Лермонтов находился в Тифлисе, и даже не в 1830-х годах, а гораздо позже — в 1853–1855 годах.

Сноска: Мирза Мамед-Али Сафиев. «Мудрая царевна», «Восточная сказка». «Закавказский вестник», 1853 г. № 38; «Встреча казия с ученым вором». «Закав. вест.», 1853, № 44; «Мечеть Баба-Самеда», «Закав. Вест.», 1853, № 19; «Нечто о шахе Гюддрече», «ЗКВ», 1853, № 28; «Предрассудок», «ЗКВ», 1853,№ 10; «Мусульманская свадьба в Ленкорани», «ЗКВ», 1854, № 12; «Исповедь пилигрима, восточное сказание», «ЗКВ», 1854, № 10; «Щедрый инкогнито», «ЗКВ», 1854, № 31; «Восточные любовники», «ЗКВ», 1854, № 19 и т. д.

**2.**

(Газетная вырезка «Бессильная злоба агрессоров», о войне во Вьетнаме — Н.Ч.).

Один из случайных дней 1965 года.
8 сентября 65 года. «Известия».
Среди других событий — кровь.

**3.**

(Газетная вырезка «Преступник ходит рядом… (из полицейской хроники)», о преступности в США, — Н.Ч.).

Не мешало бы присоединить к этой веселой хронике «из милицейских отчетов Москвы» или хотя бы Алма-Аты… Увы, картина получилась бы не менее утешительная.

(Памятка «Сроки охоты» от Казглавохоты и Казохотсоюза — Н.Ч.).

**4. 24/X Воскресенье.**

…Слушая говор колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

В исполнении Надежды Андреевны Обуховой. Чудесно.
И еще И.С.Тургенев:

Как грустный взгляд люблю я осень…

«Поэтическая тетрадь» — по радио. В мою юность «Утро туманное, утро седое…» исполняла Вера Панина — цыганка. Я очень любил эту граммофонную пластинку, т. к. живую Панину никогда не слышал.

Возможно, что на другой стороне пластинки был «Уголок» — весьма пошловатый «цыганский» романс:

Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и шорохов полна.
Я вас ждала с такой безумной страстью,
Я все забыла, и млела у окна.
Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои…

«Утро туманное» был очень популярным романсом, и постоянно звучал в русских гостиных, но я не ошибусь, если скажу, что почти никто из слушающих не знал, чьи это стихи.

Я сам неоднократно проводил этот опрос из любопытства, почти с неизменным результатом: — Не знаю!

Сейчас из отдаленнейших углов нашей страны часто летит просьба в отдел «По просьбе слушателей» радио исполнить, или прочитать «Дорогу» Тургенева.

(Переписанное от руки стихот. Е. Евтушенко «Д. Шостаковичу», журнал «Москва»,№ 6, 1965 г., с замечаниями Ю.Софиева: «Ненужная, слабая строка», «второе рождение» — Н.Ч.).

**5.**

(Газетная вырезка о визите французского министра иностранных дел Кув де Мюрвиля в СССР и о том, что генерал де

Голль продолжает широкомасштабную операцию сближения с Восточной Европой — Н.Ч.).

«Траги-курьезная ситуация». Деголевская международная политика в какой-то мере нас, конечно, устраивает. Независимая политика по отношению к США, доходящая до серьезных разногласий между Францией и Америкой, некоторое охлаждение с ФРГ — инцидент с признанием, конечно, косвенным, а не так как он был освещен в нашем лагере, незыблемости восточных границ, весьма обозливший немцев (Западных) и наконец явное сближение в известных границах, однако, все это вполне для нас приемлемо и желательно.

С другой стороны, мы не можем же не поддерживать, — конечно, чисто платонически, не вмешиваясь во внутренние дела Франции, — демократический блок, в который входит и Фр. Компартия, ведущий борьбу против «личной власти» де Голля и борющийся за кандидатуру Миттсланда(?). Обычно, ни для кого не секрет, что, если победит Миттсланд, (что почти невероятно, если де Голль выставит свою кандидатуру), то его внешняя политика будет направлена на сближение и налаживание отношений с США, что в конце концов означает поддержку НАТО и т. д.

Словом, эта победа демократических сил во Франции вряд ли сулит нам особо радужные перспективы. Почему, думается — победа де Голля вряд ли огорчит наших руководителей, а поражение Миттсланда вряд ли их сильно опечалит.

В общем-то, la situation evt tres amusante.

**6.**

Из письма Богословскому в Москву.

… Инициаторами этого журнала («Числа») были поэты, в прошлом связанные с петербургским «Цехом поэтов» — молодые соратники Гумилева: Ник. Лвдеевич Оцуп, Геор. Виктор. Адамович, Георгий Вл. Иванов, Ирина Вл. Одоевцева и группа так называемых «молодых (…) поэтов» (поэтов, начавших свою литературную деятельность уже за рубежом), большинство которых Вы видите на фотографии, в том числе вашего корреспондента. Возникновению «Чисел» предшествовали, конечно, бесконечные организационные разговоры и споры в монпарнасских литературных кафе. В общей сложности это была попытка создать журнал «чисто литературный», руководимый средним поколением писателей и широко открывающий доступ «молодым».

Дело в том, (что) все газеты и журналы в эмиграции, в том числе и «Современные Записки», разумеется, находились в руках политиков и по-тогдашнему убеждению зарубежных литераторов «собственно литература» в этих изданиях была на задворках. Насколько я помню (легко ошибиться, не имея под руками «Чисел»), это не было провозглашением принципа «Искусство для искусства», но во всяком случае это была попытка полностью уйти из-под опеки П.Милюкова, его «Последние Новости», «Звено», Семенова «Возрождение», П.Струве «Россия и славянство», в свое время «Русская Мысль» (журнал), А. Керенского («Дни»), наконец, Ависеньтьева-Руднева-Бунакова «Современные Записки», Сухомлина и др. «Воля России», от вынужденной оглядки на

этих редакторов-политиков.

Был ли Поплавский (Борис Поплавский, поэт — Н.Ч.) центральной фигурой для всего направления, связанного с этим журналом? Нет. Поплавский был одним из сотрудников «из молодых».

А в то время только в «Числах» Поплавский мог напечатать «Аполлона Безобразова». Конечно, и Оцуп, и Адамович, так сказать, «руководящие товарищи “Чисел”», видели, понимали замечательное дарование Бориса. Эта одаренность и сделала его центральной фигурой журнала, но я думаю, что центральной фигурой всего направления журнала, как вообще какого бы то ни было направления, Борис вряд ли мог стать — слишком он был противоречив по самой своей натуре, метался от «взлетов и падений», видимо, находясь в постоянном поиске своего нелегкого духовного пути.

Что касается самого названия «Чисел», я не помню, кому оно принадлежит, кто его предложил, возможно, тот же Оцуп, но, может быть, Иванов или Гиппиус.

Во всяком случае, вероятнее всего, как мне кажется, это дань не столько Пифагору, сколько Гумилеву.

30/X

Отправил письмо А.П.Богословскому в Москву.

13/XI

Получил от Богословского рукописный «Дирижабль неизвестного направления» Поплавского.

**7.**

(Фото с подписью Ю.С. «Село Феропонтово. Монастырь, где гениальные фрески Дионисия!» — Н.Ч.).

Он (А.И. Герцен) вытянул руку из-под манжеты и указал на

что-то:

— Видите, желвак! У меня диабет, и как только какое-нибудь волнение — сейчас и выскочит вот такая история.

От диабета он ведь и угас так рано. Воспаление не унесло бы его без этого осложнения в виде нарыва легкого!»

Из воспоминаний Боборыкина «За полвека» — выпущенные издательством «Художественная литература» в 1965 г. (2 тома), которые я и приобрел на днях, случайно на них наткнувшись, не без удивления. Читаю с интересом, раньше я их не читал. Герцен умер в 1870 году 58-и лет. У Ирины (Кнорринг — Н.Ч.) была другая, более страшная форма диабета, она могла жить только впрыскивая ежедневно (16 лет!) инсулин, который изобрели за 19 лет до ее заболевания.

Болел диабетом и Николай Александрович Бердяев, но уже «старческой формой». Основное — диета без инсулина. Он умер после войны в Париже, получив советский паспорт в 1964 году, но, оставаясь, конечно, при своих философских и религиозных убеждениях.

**8.**

(Выписки из К. Чуковского о М. Зощенко, без комментариев — Н.Ч.).

(Газетная вырезка о смерти Эрнеста Хемингуэя — Н.Ч.).

По радио — какой— то тенор:
«И целует Емщика…»

20/XI «цыдулку» В.Б. Сосинскому.

**9. 20\XI Суббота.**

(Длинная выписка из журнала «Москва» 7, 65 г. «О Гийоме Аполлинере» И.Эренбурга» и французский текст — Н.Ч.).

25/XI
Юбилей С.Н.Боева.

**10. 2/ XI**

Слушая его стихи по радио: кому завидую — Леониду Мартынову. Завидую, конечно, не низко, а радостно, восторженно — как он может, так по-своему, сочно, свежо, неожиданно воспринимать мир и находить «лучшие слова» и ставить их «в лучшем порядке».

**11. 29/XI**

(Фото с подписью: «У Наташи Трофименко. Таня и я» — вечер, накрытый стол, Юрий Борисович и милая женщина в очках, ее фотографии собраны в отдельный альбом и хранятся в архиве Ю.Б. — Н.Ч.).

**12. 6/XII**

Отправил письмо Голенищеву-Кутузову с просьбой сообщить подробные сведения об Алексее Дуракове, который за свой подвиг посмертно награжден нашим правительством (недавняя статья в «Известиях»).

Москва,
Бережковская набережная, д. 12, кв. 223,
И.Н. Г.-К.

**13.**

(Вырезка из газеты о награждении Дуракова — посмертно: «Указ Президиума Верховного Совета СССР О награждении орденами и медалями СССР группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии» — Н.Ч.).

Звонил Н.Бабошин (Николай Бабошин, алматинский писатель Ш Н.Ч.), предлагает написать о Ал. Дуракове для «Простора».

Написал Илье Голенищеву-Кутузову в Москву с просьбой прислать curriculum vitae Алексея. Подробно о последних годах.

Левина (Льва Бек-Софиева, брата Юрия Борисовича, жившего в Париже, — Н.Ч.) надпись на одном из фото для Ирины и Игоря Братусов (друзья братьев Бек-Софиевых еще по Старой Руссе, по детству и отрочеству — Н.Ч.):

«С сердечной благодарностью за подарок к 43-х летию. 20 лет, прожитых здесь, за жизнь не считаю, хотя и процветаю.

Целую. Лев».

12/XII Выслал письма с фото Ир. Братус в Ленинград.

12/XII Леве и Рае, отослал.

**14.**

«Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать» — Пржевальский.

**15.**

(Большая статья об А.Дуракове в газете «Русские Новости», Париж: «За мужество и отвагу», награждение эмигрантов,

участников борьбы с оккупантами, а также статья «Советские поэты в Париже» А.Дедова, от 26/XI, 1965 г., № 1062, — Н.Ч.).

**16.**

Обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь с ними так, как будто они лучше того, что они представляют в действительности, мы заставляем их становиться лучше.

Гете.

«Чем больше я узнаю людей.
Тем больше люблю собак».
Шопенгауэр.

«Ваше слово, товарищ маузер!»
В.Маяковский.

Плакат-вывеска для XX века.

**17.**

(Прядь женских волос, кругом, как солнце с лучами, и подпись: «Наташа в солнечных бликах». — Н. Ч.)

**18.**

Родословная Бек-Софиевых

— В начале XIV (века) Ардебиль стал резиденцией местных Шейхов. Эти шейхи завоевали государственную власть в Азербайджане и Иране в начале XVI века. В Ардебиле находится некрополь династии Сефевидов (1501–1736). Место паломничества шиитов. Мавзолей шейха Сефи XVI в.

«На середине перехода дорога вилась вокруг горы и привела нас к реке Храме. Мы ехали по ее течению, а на склоне гора подалась влево и очистила нам вид на мост великолепный!.. В диких, снегом занесенных степях вдруг наехали на такое прекрасное произведение архитектуры, ей-богу. Утешно и удивляет!.. Я долго им любовался, обозревал со всех сторон; он из кирпича; как искусно сведен и огромен! Река обмывает только половину его, в другой половине караван-сарай, верно, пристройка к полуразрушенному; меня в этом мнении укрепляет то, что остальная часть состоит из четырех арок, которые все сведены чрезвычайно легко и с отличным вкусом, — нельзя, чтобы строитель не знал симметрии; верхи остры; первая от караван-сарая, или средняя, самая большая, по моему счету 40

шагов в диаметре: я ее мерил шедши и параллельно там, где течение реки уклоняется; третья арка больше второй, но меньше первой, четвертая равна второй. Караван-сарай велик, но лучше бы его не было; при мне большой зал был занят овцами; не знаю, куда их гонит верховой, который с конем своим расположился в ближайшем покое. С середины моста сход по круглой, витой, ветхой и заледеневшей лестнице, по которой я было себе шею сломил; это ведет в открытую галерею, которая висит над рекою. Тут путешественники, кто углем, кто карандашом, записывают свои имена или врезывают их в камень. Людское самолюбие любит марать бумаги и стены; однако и я, сошедши под большую арку, где эхо громогласное, учил его повторять мое имя. В нескольких саженях от этого моста заложен был другой; начатки из плиты много обещали; не знаю — почему так близко к этому, почему не кончен, почему так роскошно пеклись о переправе чрез незначительную речку, между тем на Куре, древней Цирусе Страбона, нет ничего подобного этому. Как бы то ни было, Сенаккюрте, или, как русские его называют, «Красивый мост», свидетельствует в пользу лучшего времени если не для просвещения, потому что Бетанкур мог быть выписной, то по крайней мере царствования какого-нибудь из здешних царей или одного из Софиев, любителя изящного».

Грибоедов, «Путевые заметки к К.С. Бегичеву».

Софии — точнее Сефевиды — династия шахов Персии (1502–1736), основанная потомком шиитских имамов Измаилом I Сефевием (1499–1525).

Вот именно отсюда дядя Бася (младший брат отца, Аббас-кули-бек Софиев), и вел нашу родословную беков Софиевых.

Я не знаю, какой документацией он обладал, и, помнится мне, по его словам, в каких-то архивных документах было сказано, что дед, его отец, Искандер-бек Софиев, Александр Платонович, кавалерийский полковник или генерал-майор в отставке, «происходил из Тифлиского (?) бекства». Что это значит — я совершенно не представляю.

По рассказам отца, дед маленьким мальчиком был будто бы вывезен с Кавказа Лорис-Меликовым и отдан в Шляхетский, 1-й Петербургский Кадетский корпус, потом, вероятно, был в «школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» (Николаевское кавалерийское военное училище) и вышел в кавалерийский полк, в какой, я не знаю, но, видимо, долгое время он служил в Ямбургском Уланском.

Отец говорил, что вышел он в гродненский гусарский

(Варшавская гвардия)(?). Во всяком случае, жизнь деда была связана с Польшей. Он был женат на сестре Якубовского, всю свою жизнь прослужившего в Литве, в гвардейском Польском полку в Варшаве.

Кончил службу генерал-лейтенантом и в Польше Пилсудского, жившего в своем имении (или имении своей жены Жозефины).

В гродненской губернии Якубовские, Юзефевичи — литовские татары.

У деда был дом в Друзениках, где одно время, будучи в отставке, он был городским головой. Умер он, видимо, в начале Революции в Петрограде.

Из разговоров с отцом у меня сложилось такое впечатление, он о деде (моем) знал очень мало, рассказывал о нем очень путано и весьма неуверенно. Причем у отца была одна слабость — он любил присочинить, да попросту о своем отце много и не знал.

(Газетная вырезка «Свет и тени Архангельского собора» Н. Черникова, о вскрытии гробниц царя Федора Ивановича и Грозного — Н.Ч.).

**19.**

…Пытайся одиночество в пути
Преодолеть задумчивостью строгой.
Храни восторг. И числа очерти.
И если ты любил, ты выиграл в итоге.
Хотя и это унесет дорога…

25/XII

Эти стихи в сущности пришли во сне, я с ними проснулся.

Возвращение к «Мыслителю» на Notre Dome, разные варианты все той же темы — с самим собой поединок — и в момент рождения, и в момент смерти, и на протяжении всего пути. Преодоление только в любви, в наиболее просветленные ее моменты полной взаимной отдачи.

И еще:

… Чтоб раболепствовать, Россия,
Ты разучилась навсегда!

Это, думая о «Полярной Звезде» — декабристов и Герцена, чтоб навсегда стала путеводной.

Ватман… Плотная, хорошо проклеенная тряпичная бумага. На каждом листе английского ватмана есть видимое водяное клеймо, обозначающее время его изготовления и фамилию основателя династии бумагопромышленников — Джеймса Ватмана (1402–1459).

«…Пламя свечей было неподвижно. Вздыхал орган, блики света дрожали на золотой чаше, которую поднял священник и в которой была кровь Христа, спасшего мир. К чему же она привела, эта кровь? К кровавым крестовым походам, к религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжению ведьм, убийству еретиков — и все во имя любви к ближнему».

«Ночь в Лиссабоне», Ремарк.

Мысль стара, как мир, но беспощадно бесспорна. А для меня мучительно неизбывна с юношеских лет, с ужасов и мерзостей гражданской войны (все во имя любви к ближнему и справедливости!). И потом, в студенческие Белградские годы (кружок Зерновых), и в особенности под холодными и крутыми сводами готических соборов Европы, и особенно на высокой балюстраде Notre Dame de Poris у «Мыслителя».

Она мне и сейчас продолжает казаться более глубокой значительной и безысходной, чем все актуальные социальные проблемы нашей эпохи.

Все делается во имя любви и справедливости и какие страшные дела делаются.

Старо как мир, а по-прежнему страшно.

И я счастлив, что никакой не пафос борьбы, не огонь фанатизма, а слезы над «Му-му», над «Шинелью», над «Хижиной дяди Тома» пронизывали и потрясали мое детство (на всю жизнь!).

… Падая от бедствии и усталости,
Никогда не отрекайся, ты
От последней к человеку жалости
И от простодушной теплоты,
Вопреки всему.

И все это сюсюканье о «добреньких», сюсюканье (под гордость!) о том, что жалость-де унижает человека — жалкий и тупой вздор как раз обедненных и иссушенных сердец, противостоящих подлинной, без уверток и оговорок, простой и великой человеческой доброте — источника человечности, единственно подлинного базиса для человеческой культуры.

Только ради человечности
Стоит строить, жертвовать и жить.

А у русского народа всегда было: жалеть = любить.
«Она его пожалела».
Это отмечал и Л.Толстой.

Русская литература. «Иллюзии и сны» XIX века. Но какие иллюзии и сны! А вот пришел XX век и Маяковский гаркнул:

— Ваше слово, товарищ маузер!

(…), и через заснеженную колючую проволоку, через удушье газовых камер, через едкий дым (…) печей и так далее и тому подобное окончательно иллюзии и сны XIX века были похоронены под пеплом Хиросимы.

**20.**

(Выписка из книги В.В.Сухомлина, 6 апреля 1941 года, о Бунине — Н.Ч.)

«…Бунин живет на вершине холма в вилле, предоставленной ему до конца войны знакомой англичанкой, уехавшей после падения Парижа на родину.

Кроме Буниных, на вилле живут два “молодых” эмигранта литератора, Бахрах и Зуров, поэтесса Галина Кузнецова и ее женоподобная приятельница, сестра философа Степуна».

Бунин рассказывает:

«Несколько лет тому назад Мережковский ездил в Варшаву, где тогда Философов издавал газету. Был принят Пилсудским! “Ну, что, как?” — спрашиваю. Хоть я вошел в кабинет, я сразу почувствовал присутствие Христа». Год спустя на мой вопрос о Пилсудском ответил:

— Обманул, сукин сын!»

Ездил Мережковский и к Муссолини. И опять: «Как только я

вошел в его громадный кабинет в Палаццо, я почувствовал присутствие Христа. Дуче, — говорю ему, — хочу писать книгу «Данте и Муссолини». Он отвечает: «Синьор Мережковский! Piano! Piano!» (…). Однако после этого свидания Мережковский прожил целый год в Италии с женой на счет Муссолини. Через год вернулся в Париж и говорит: «Обманул, сукин сын. Денег-то больше не дает».

Теперь Мережковский чувствует присутствие Христа в (…).

**21.**

29/I 66 г.

Из письма М.Ф. Голенищевой-Кутузовой.

… Когда-то в пору далекой, если и не юности, то во всяком случае в пору расцвета сил, я неосторожно написал:

Должно быть одиночества удел
Судьбой дарован мне, как испытанье…

Увы, теперь это стало неким пророчеством, а одиночество — подлинным испытанием. И особливо в зимнюю пору.

Когда-то мы с Лелей (Ильей Голенищевым-Кутузовым), Алексеем и Евгением Васильевичем любили (правда, на словах, или больше на словах) «преодолевать» очень многие важные вещи в духовной жизни человека. Теперь мне на деле, преодолевая мое реальное одиночество, а в равной мере известную, увы, не изжитую («еще»!) не благоустроенность быта, приходится преодолевать ежевечерние неизбывные домашне-хозяйственные тяготы. Принести из колонки воды, из сарая уголь и дрова, затопить печь, сварить ужин, ну, и т. д. Я ведь еще работаю, преодолевая порой смертельную усталость, но работа приносит мне не только удовлетворение (каждая новая монография с портретами тысячи глистов, начертанных моим пером), но и поддерживает мои силы, не только не хуже, но порой и лучше, чем все Validoli, Valocordini, напиханные по всем карманам. Время от времени «скорая помощь» перетаскивает меня в больницу. И когда с великими предосторожностями (никаких резких движений) меня укладывают на электрический стол и прижимают к моим конечностям электропровода для электрокардиограммы, я упорно под простыней показываю кукиш инфаркту: «На-кось, выкуси!»

Кто знает, может быть, это и спасает, как тот же кукиш при встрече с черной сутаной.

Видимо настало время для нас с Ильей, когда нам ничего не остается, как преодолевать, упорно и неуклонно, и беспощадно сопротивляться, а для облегчения иронизировать над самим собой.

Я, конечно, очень жалею, что мне не попалась ни одна из статей И.Н. об Алексее (Дуракове — Н.Ч.).

Из вашего письма догадываюсь, что «Люба» это и есть жена Алексея, которая, судя по газетам, была с ним в партизанском отряде. Но та ли это гречанка, которую Алексей поработил, запустив в нее Державиным?

Ну вот, «полночь наступила»… и из тьмы веков со стен прирейнских замков доносится пение ночных сторожей: qe lobt sei qoft des Herr,

Ihm qeschol Lob, Preis ind Her,

И если я их не послушаюсь и не лягу спать, то завтра опоздаю на работу.

**22.**

31/I понедельник.

А, может быть, я и не прав.

Ведь только Ира чувствовала, знала мою «суровую нежность». А, ведь, я с каждым днем все плотнее и плотнее заковываю себя в холодную броню своей внешней сдержанности из-за всю жизнь присущей мне, «стыдливости», обнаружить излишнюю чувствительность. А, может быть, Игорю как раз и не достает теплоты, ласки, сочувствия. А ругани на его голову в его жизни довольно. Ругани, может быть, и заслуженной, но ведь ругань сама по себе никогда никого исправить не может, не может и помочь человеку, или только в том случае ругань может стать благом, если человек чувствует, что его ругают любя, потому и ругают, потому что любят и болеют за него. Беда в том, что Игорь этого не чувствует.

А, может быть, и действительно трудно что-то почувствовать сквозь мое раздражение, сквозь очень плотные жестокие слова.

И, однако, разве он не смог бы заметить, как я скоро «отхожу» и часто тут же с той же «стыдливой сдержанностью» и показной сухостью предлагаю ему «тарелку супа» или каким-нибудь словом обнаруживаю заботу или теплоту в интонациях.

Но, может быть, это все в очень скудной dose? Через которую невозможно различить ни любовь, ни боль, ни пронзительную жалость, ни стыдливую суровую нежность? Потому что он действительно нелепый бедолага в жизни, или то, что можно назвать пронзительным, сжимающим сердце русским словом сиротина, у которого действительно после ранней смерти матери

было слишком мало теплоты, нежности. Подлинной любви и заботы. Конечно, единственным источником всего этого является дед. Ведь не было в его жизни ни одной по-настоящему любившей его женщины. Что особенно мне больно и обидно — может быть, он никогда не испытает великого счастья подлинной большой, взаимной любви. Неужели судьба обездолит его и в этом. Сегодня он мне сказал по щемящей пронзительности страшную вещь:

— Вот и Алексей (сын Игоря — Н.Ч.), он относится ко мне не хорошо. Он не называет меня «папа», он ищет другое слово, он говорит мне «отец».

— Я не папа, я не папа.

Игорь говорил невнятно, будучи сильно пьян. Но голос его звучал надрывной болью.

И хотел он сказать о великом своем бедолажестве — я не «папа» и у меня нет папы.

Но неужели он никогда не почувствовал, через всю мою душевную броню, в какое бы бешенство он не приводил бы меня своим поведением, я никогда бы не мог захлопнуть перед ним или за ним дверь дома и крикнуть: creve toi done.

В пьяном виде он говорил мне много оскорбительных, тяжелых да и страшных слов. Но потом спохватился, переборол себя вошел в мою комнату и сказал: «Прости меня, папа, ты забудь, что я тебе говорил». Мне следовало бы отдаться порыву сердца — обнять и поцеловать его, но я побоялся, что не сдержу слез, и я сдержался. И только ответил случайной и фальшивой фразой — я на тебя не сержусь, Игорь. Фальшивой по интонации.

Потому что действительно уже не сердился, уже победили жалость-любовь, боль. В моем понимании, в жалости нет ничего унизительного. Я много раз это подчеркивал.

А следовало бы обнять, поцеловать и сказать: прости меня, сынку, прости Игорешка.

Но сделать этого я не умею. Понимаю, что надо, хочу, а вот не умею, боюсь фальшивой интонации, театральности — все, конечно, не те слова — фразы и черт его знает, чего, может быть, (…) мокрых глаз.

А сказал он мне, что не считает меня за отца, что я не отец, а стена (стуча кулаком в стену), что я не человек, что он меня не уважает, а раньше когда-то уважал, и т. д. А ведь это значит одно, наболевшее: ты меня не любишь и мне от этого очень больно и никто кроме деда меня не любит. Вот это-то и есть неправда, что я его не люблю.

Но если поразмыслить, то, может быть, понять и почувствовать действительно трудно, что люблю. А кого же мне любить-то в жизни, кроме единственного сына, кого же мне

любить, за кого же мне болеть в моем круглом одиночестве?

А вот она ведь, со злобным сердцем, отказалась пустить его к себе, лишила его сочувствия, (…) в такой момент для него, и я-то ведь знаю, что придет момент, когда она с таким же злобным (…) сердцем крикнет ему:

— Creve toi done!

И захлопнет дверь, и спокойно ляжет спать.

**23.**

(Вклеен конверт со старым письмом Ирины Кнорринг — Н.Ч.).

5/IX 32 г.

Дорогой мой Юрий!

Мне очень неприятно, что вчера я была такая кислая и будто недовольная твоим приездом. У тебя не останется хорошего впечатления от этой поездки. Но — я просто-напросто устала от Шартра, ведь мы целый день там гоняли, вот на другой день усталость и сказалась.

Вот — все, что мне остается сказать тебе вдогонку.

Крепко, крепко целую. Ир.

(На обороте письма рукой Юрия Софиева приписка — Н.Ч.).

Хутора близ Шартра, где Ирина с Игорем, а Ел. Алекс. Голенищева-Кутузова с Лариком отдыхали летом 1932 г. Я приезжал на велосипеде. Это здесь написано стихотворение:

Земное счастье. Лето. Тишина.
Медлительное облако над садом.
Чуть пламенеющая даль видна.
Ты рядом — больше ничего не надо.

Как будто не было обид и зла,
Все эти годы с радостью приемлю.
В густом овсе кричат перепела.
На что ещё мы променяем землю.

Я большего не жду и не ищу,
Хоть каждый миг всегда несет разлуку.
И матовую от загара руку
Роняешь ты в высокую траву.

…И еще — недалеко от Шартра
Хлеб тяжелый у дорог пустых.
С сыном наперегонки с азартом
Со всех ног бросалась ты…

Было счастье.

А теперь боль воспоминаний, одиночество и еще раз боль.

31/I, понедельник, 1966 г. Алма-Ата.

**24. 1/II**

Выпал глубокий снег. Похолодание до 10 градусов. Тихо. Безветренно. Деревья отягощены снегом.

Почти все утро занял Кусов. Переводил ему статью о Ornithoelous Talazani. Потом закончил плакат для (…). По-моему, не плохо. Но весь день пронизан глубокой, тупой печалью.

**25.**

Чехов был страстным садоводом.

…Он чувствовал в росте куста, дерева то, что сильней всего его волновало, — утверждение жизни.

Куприн приводил его слова:

«…Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево, и. конечно, мне это дорого. Но и не это верно. Ведь здесь же до меня был пустырь и темные овраги, все в камнях и в чертополохе… Знаете ли, через триста, четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад».

Это то, из-за чего я не хочу менять свою берлогу на квартиру со всеми удобствами — этого я не могу объяснить ни Рае, ни всем тем, кто пристают ко мне с вопросами: почему я до сих пор не поменялся квартирой.

— «Послушайте, мною же посажено здесь каждое дерево». Но разве это убедительный аргумент для «реалистов»? А куда бы я не шел — в уборную, в сарай за углем, я обязательно останавливаюсь и полюбуюсь каждым — «вот это два года тому назад было совсем еще тоненьким». И мне бывает совестно перед каждым из них, если в засушливую погоду у меня не бывает сил из-за болезни полить их.

Всю жизнь как-то взволнованно-радостно я любил деревья, как родственные живые существа, так же как и зверей, и птиц.

Сердце…
…любит жизнь и ощущает общность

И родственную близость ко всему.

Как хорошо бывает жить на свете,
Когда средь нужных и полезных, дел,
Мы бережем, внимательные дети,
Сочувствие к цветам, орлу, воде
И нашу близость к голубой планете.

**26.**

(Газетные вырезки: «Дамоклов меч XX века» о «ядерном клубе»; «Опасности и надежды» Линдона Б. Джонсона — Н.Ч.).

12/II

Зачем понадобилось давать по телевизору сусальный, бодро-милитаристский фильм сталинской довоенной эпохи «Трактористы», с еще сравнительно молодой Орловой?

Тревожно.

Смотрел у соседей. И это искусство вполне понятно народу.

**27.**

8/ II

(Французские стихи, строфа из Anolre Chinier — Н.Ч.).

**28.**

12/ II

Из письма Виктору.

Сволочь есть везде и у нас она пасется в достаточном количестве, но мне поперек горла стоит ветхий Адам, потому что для меня совершенно ясно, что наше новое общество, рожденное великим творческим актом Ленина, может стать по-настоящему новым, глубоко человечным, зиждущимся (эту форму нельзя употреблять. Зиждется, зиждутся и все) на подлинном человеческом достоинстве, окончательно тогда, когда окончательно издохнет ветхий Адам, ибо для нашего общества требуется не только хороший, но и новый человек.

Удивительная вещь, между прочим, Виктор, это подлинно великое и новое в нашей жизни, как раз то, что меня так поражало и радовало, когда я приехал и в первые годы, когда были «свежи впечатления бытия» — теперь мне, рядовому советскому гражданину, уже начинает казаться само собой разумеющимся, обычным явлением нашей жизни. Это прежде всего, конечно, то, что культура стала достоянием широчайших

народных масс. Никогда, ни при каком другом строе это явление не могло бы внедриться в жизнь с такой быстротой и широтой.

**29.**

4 марта.

Тяжелый и неприятный сон. Сложный и запутанный.

Чья-то смерть в Институте — какая-то девушка. Путанные приготовления. Появление Ильи Голенищева-Кутузова, собирался ужинать. Франция перемешена с Алма-Атой. У него мое кашне — Раино. Он говорит, нет, это его, новое и чистое, а у меня, говорю, грязное. Иду и нахожу у него в кармане пальто действительно такое же, аккуратно сложенное. Он перепутал. Спешу на работу, пешком, потом на велосипеде. Опаздываю. Вдруг замечаю, что я в одной рубашке, без штанов. Повторяющийся сюжет. (Сон советника Попова). Не по смыслу, а внешне, без штанов. По улице идут солдаты, в походной форме, пехота. Среди солдат, в строю, много женщин в солдатской форме. Тревожное ощущение войны.

Мрачное безмолвие; как отары в ворота бойни. Покорная угрюмость.

Потом голос диктора.

Какой-то извиняющийся, но констатирующий, что где-то из Прибалтики, неизвестно, как это вышло, выпущены атомные ракеты.

«Повеяло свежестью, от образовавшихся двух огромных озер».

— Видимо, все, что осталось от Европы.

И еще запутанная несусветная чушь.

Когда-то в шутку, в студенческие годы, Илья пообещал, если умрет первым, явится мне — в доказательство бессмертия. Илья был верующим, по крайней мере, в юности.

Шутки шутками, а Илья, видимо, очень тяжело болен и я не знаю, что с ним: «И.Н. очень давно и очень тяжело болен, т. ч. не может Вам ответить на письмо…».

Тревога войны во сне — возможно, результат, «ура-патриотического барабанного боя» по радио, по телевизору и т. д. в связи с тревожно напряженным международным положением в последнее время. Америка прет напролом, закусив удила, сломя голову, во Вьетнаме. События в Сирии (неясно), события в Гане (увы, очень ясно) — реакционная военщина бросает страну в объятия той же Америки и (…). Кровь, убийства, жертвы.

И вечный бой! Покой нам только снится.

Сквозь кровь и пыль,
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…
И нет конца!..

Закат в крови! Из сердца кровь струится,
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

В юности, уже в Белграде, эти стихи потрясали нас — меня Дуракова, Голенищева. Но потрясали, как и сама юность, как-то радостно и романтически. Не смотря на уже пережитое кораблекрушение.

«Погиб и кормщик, и пловец,
Лишь я, таинственный певец.
На берег выброшен войною…»

И нам хотелось «сушить ризы под скалою» и петь не старые, а новые гимны, а покой мы презирали, он был нам не нужен.

Не нам жалеть о гибнущем, покое —
Покоя мы не знали никогда!
Там, где случайно соберутся двое
Во имя брата — мы спешим туда.

И нам казалось:

Так мы стоим с раскрытою думою,
Приветствуя эпохи грозный, бег.
Лишь человеческою теплотою
Мы озаряем беспощадный век.

А теперь, в конце пути, с какой силой звучит это страшное пророчество Блока — (великий поэт, он всю жизнь был моим Вергилием, самым необходимым, самым сокровенным, потрясающим сердце до последних глубин) — в него вложилась вся жизнь:

… И вечный бой,
Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль…
И нет конца! Закат в крови.
Из сердца кровь струится.
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Великий, гениальный поэт.

**30.**

«Если для Блока принятие Октябрьской революции было итогом его жизни, логически завершающим выводом из всего круга его многолетних мыслей, предчувствий, переживаний, — то для А. Белого это являлось следствием резкого и довольно внезапного перелома, произошедшего в его общественно-политических взглядах, поскольку он, конечно, не мог — при всей своей изолированности от освободительной борьбы народа — остаться равнодушным к ходу исторической жизни в России».

В.А. Орлов «Пути и судьбы»,
1963 г. «Советский писатель».

**31.**

«Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали (?) своих…»

«Однодум», Н.Лесков.

**32.**

(Переписанное от руки стихотворение Е. Евтушенко «С.Есенину», со многими вопросами Ю.С. — Н.Ч.).

Валя привезла эти стихи из Москвы, где они ходят по рукам в рукописи, как стихи Евтушенко. Все эти рукописи — нечто вроде современной «потайной» литературы.

**33.**

«… и молитвенницами за затолокший их мир Божий…»
Лесков.
«…несметного количества слеглого сена…»
там же.
«в разлатом циновочном вояже.
В своей нищебродкой жизни»

Из письма Рае

…Сам я в своей жизни, когда дело касалось меня, правда, не умел взвешивать и рассуждать, призывая на помощь здравый смысл. К «здравому смыслу» у меня всегда было ироническое и презрительное отношение — я жил чувством и страстями.

Мы только-только были объявлены женихом и невестой с Ириной (у нас не было еще физической связи), когда выяснилось, что Ирина неизлечимо заболела острой и тяжелой формой диабета. Я помню, какое возмущение у меня вызвали слова Ник. Ник., когда он заявил мне, что я вправе, в виду несчастных обстоятельств, отказаться от намерения жениться на Ирине. В мои 29 лет заявление Ник. Ник. показалось мне диким и оскорбительным. Мы очень любили с Ириной друг друга, и неужели от того, что бесконечно дорогой и любимый человек неизлечимо заболел, я мог разлюбить и отказаться от него?

Оборачиваясь на свою жизнь, я часто думаю, что никогда не был по-настоящему «взрослым» человеком, я всю свою жизнь оставался безрассудным юношей. И до седых волос так и не смог приобрести «почтенности», положительной солидности, не смотря на пузо. Сожалел ли я об этом? Нет. Никогда, нет! Сожалею о другом — слишком мало успел сделать в своей жизни, слишком много и бессмысленно зря растрачивал драгоценное время, слишком много с детства мечтал и мало действовал, слишком часто кипел впустую, постоянно искал, сомневался, постоянно боролся с самим собой. Некоторые вещи не могу себе простить. Между прочим, то, что в 1936 году не уехал вместе с Алешей Эйснером в Испанию, в интернациональную бригаду (для этого нужно было оставить на произвол судьбы умирающую Ирину, но не только это меня удерживало, на Иру сваливать нечего).

Я честно вел себя во время оккупации, но мало активно.

Не из трусости, а, видимо, по натуре своей я не борец.

Но я любил в своей жизни и любил по-настоящему, и это великое счастье, а вот ненавидеть по-настоящему не умел, именно поэтому и не стал борцом.

А свойственно мне не рациональное, а эмоциональное,

чувственное, эстетическое восприятие жизни, и, увы, скорее пассивное, чем активное, хотя люди думают обо мне иначе, но я-то себя знаю лучше, чем знают меня люди…

Полуправда — порожденье лжи.
Полуправда — порождает ложь.
Мы хватаемся, «во имя» за ножи.
Только нож всегда есть нож.

Полуправда все разъест, как ржа,
Все опошлит, все перевернет —
Совесть — в верткого ужа,
А свободу — в гнет.

Юрий Софиев
Отправил письмо Рае, 12/III.

«Никогда родина так не мила, как тогда, когда ее не видишь. Все маленькое, все скверненькое остается, а хорошее встает и рисуется в памяти»
Лесков (…)

Что ж, — пожалуй, еще круговая порука,
Или проще — у каждого рыльце в пушку.
Но я верю упорно: далекие внуки…

«…добрая слабость простительнее ревности не по разуму — в том деле, где нет средства применить ревность разумную».
«На краю света», Н. Лесков.

Вот, однако же, можно было с такой силой и с такой правдивостью и честностью «клеветать» на чиновничью, официальную Россию.

Не боялся этого делать и Салтыков-Щедрин, потому что был русским писателем, настоящим, а не Пупосвинном, хотя и носил вице-губернаторский мундир.

Одна из (…) «статей» понятия «русский писатель» — анти чиновничество, до конца правдивая, независимая от всякой казенщины, официальщины.

**34.**

Объяснял ребятам.

(Длинный список русских царей, кто за кем — от Ивана Грозного до Николая II, со всеми ответвлениями их родословной и небольшими комментариями: «Период от Екатерины I до Екатерины II, когда судьбы империи решались в “горячих постелях”». Определение М.Ал. Алданова» — Н.Ч.).

**35.**

О Дуракове.

Энергия стиха. Нежный, лирический, иногда переходящий в каламбурность.

О, удивительное Вранье,
Расскажешь — скажут, что вранье.

Напоминает Давыдовское:

Он весь был в немощи;
Теперь попал он в мощи.

Общее и бурное воодушевление.

Цветастый платок.
Она серьезнеет, (гл. серьезность(?)).
Хороший. Шебутной (?) только.

(Шкляр? Шкявер?) Григорий Георгиевич.
(…).
Создатель музея Рериха в Париже.
Активный фр. резистант.
Через него я устраивал документы для Тони Платоненко.

(Вырезка из газеты «Тарсис в Англии», перед процессом Синявского и Даниэля». Фото девушки в купальнике и соломенной шляпе в горах — Н.Ч.).

## ДНЕВНИК Ю. СОФИЕВА (Вырезки, заметки, корреспонденции. Март-январь 1966, 1967–1969)

**1.**

(Письмо кому-то — Н.Ч.).

10/IV

Многоуважаемый Леонид Натанович!

Извините, что отвечаю Вам с большим опозданием. Рад был Вашему письму. Я наконец начал работать у себя в Институте — вернее, дома, т. к. дирекция освободила меня от обязанности являться в лабораторию — прихожу только за материалом. Этим и объясняется мое опоздание с ответом. Я постараюсь постепенно ответить Вам на Ваши вопросы, но на некоторые из них, к сожалению, ответить не сумею. С Александром Салтыковым никогда не встречался, так как этот «глухой старый граф» был один из идеологов «Возрождения» — мира для моей среды враждебного. Салтыкову посвящает несколько строк Любимов «На чужбине» (216 стр.) — это был человек и «его круга» и его газеты. Ив. Лукаш тоже не бывал завсегдатаем парижской литературной среды и коротко с ним я знаком не был. Жил он под Парижем, в Медоне. Он умер, если не ошибаюсь, накануне войны. В мои студенческие годы, в Белграде — я впервые познакомился с его стилизованной романтикой 18 века. И нужно сказать, мы сразу запомнили его имя — белградская молодежь. Но впоследствии, в Париже, у меня с ним дальше шапочного знакомства дело не пошло. По работе случайные встречи с ним у меня оставляли всегда, все-таки, какое-то симпатичное впечатление.

Кстати о Белграде. Из всех центров русского расселения — Прага, Париж, Берлин, Брюссель и т. д. — Белград представлял из себя как бы концентрацию самых черносотенных моментов русской белой эмиграции. Если не ошибаюсь, чуть ли не до 1924 года словом, когда Пашича сменил Давидович, официальным представителем России в Белграде оставался бывший посол несуществующей царской России (даже не Временного правительства) Штрандман (?). Официально военным агентом был ген. Потоцкий, представлявший разгромленную врангелевскую армию. Единственной всесильной в среде эмиграции политической организацией был русский «Высший монархический Совет», возглавлявшийся неким Крупенским, вероятно, каким-то высшим чиновником несуществующей российской монархии. Все это ютилось под сенью короля Александра и, по-видимому, в (…) стране «русские беженцы» много лет получали правительственные пособия, сначала в

размере 412 динар, затем, кажется, наполовину сокращенные.

А. Суворин издавал в Белграде «Новое время», злобно травившее «либеральных» профессоров, которые вели себя в Белграде ниже травы, тише воды. 45-летняя давность не позволит мне уточнить все имена; я назову Вам только, те, к которым имел непосредственное отношение. Ев. Вас. Аничков — он читал романскую фонетику на фр. языке, по-русски же, будучи учеником Александра Веселовского, пропагандировал его идеи, читал и «Историю русского освободительного движения» (по существу, историю русской интеллигенции), и так как считал себя не только либералом, но и «несколько фантастическим социалистом» — А. Суворин в своей газете непрерывно «порол» его за «большевизлиство». Вероятно он Вам известен не только по «Весенним обрядовым песням», но и по беспощадному дневнику Блока, которого Ев. Вас. горестно называл своей «неразделенной любовью». Но старик это был великодушнейший.

Всеобщую историю, и русскую читал старик Афанасьев, когда-то он был проф. Киевского университета, но потом стал банковским деятелем, а в Белграде вернулся к своей педагогической деятельности. О нем, не помню по какому поводу, упоминает в своих воспоминаниях Витте.

Погодин (Харьковский университет) читал литературоведение. В.В.Зеньковский (Киевский университет) этику и еще что-то. Судьба его интересна. Один из эмигрантских апостолов «Православной культуры» и даже «Оцерковления жизни и культуры». Потом он перебрался в Париж, в числе целого ряда профессоров принял священство и был настоятелем одной из парижских «домашних» православных церквей. Написал «Историю русской философии», 2 тома.

Профессор Кульбякин, ставший впоследствии сербским академиком, проф. Белемович (кажется, математик). Ев. Вас. Спекторский, юрист, позднее переехал в Прагу. Кажется, в 1923 году из Сов. России приехал проф. С.С. Безобразов, впоследствии ставший тоже епископом!

Вот, кажется, «все, что память сберечь мне старается».

**2.**

(Газетная вырезка с портретом Анны Ахматовой и извещением о ее смерти, официальный некролог от Союза писателей СССР, РСФСР и Ленинграда; вырезка статьи — некролога Н. Рыленкова «Поэт» о ней же; вырезка из «Литературной газеты» № 29 от 8 марта 1966 г. со словами скорби К. Паустовского «Великий дар», Иоханнеса Семпера, Таллин, «Ее стихи остаются людям»; тут же «В редакцию

“Литературной газеты”» признательность всем, разделившим горе с семьей, от Пунина, Каминской, Гумилева — Н.Ч.).

(Газетная вырезка Н.Ульяновой «Рыбий катехизис», «Казахстанская правда», № 169, 24/VII 1966 г.).

**3.**

«Женщины, говорю, страдают, — повторил Михаил Никифоровича, и Константин различил его голос… К эшелону повели колонну, несколько сотен. И тут, значит, такая несуразица случилась. Недалече от товарного вокзала бабы, откуда ни возьмись — из дворов, из закоулков, из-за углов к колонне бросились.

Кричат, плачут, кто какое имя выкликивает.

Они, значит, к тюрьме из разных городов съехались, прятались кто где. Ну, крик, шум, плач, бабы в колонну втерлись, своих ищут …

Конвойные их выталкивают, перепугались, кабы чего не вышло до побега. Затворами щелкают… И — прикладами. Командуют колонне: «Бегом, так-растак!» Побежала колонн а, баб отогнали прикладами-то. И тут, слышу, один заключенный слезу вслух пустил, другой, вся колонна ревмя ревет — бабы довели, не выдержали мужчины, значит. Кричат: «За что женщин. Дайте с женами проститься!» «А разве это разрешено? Не положено

никак. А ежели какой побег?» Конвой в мат: «Бегом! Бегом!» Как тут не обозлиться?»

«Двое», Юрий Бондарев. Дела 1937 года.

**4.**

(Переснят отрывок из статьи Юрия Терапиано о казахстанской поэзии, вероятно, из «Дня поэзии», в «Русской Мысли», 18 декабря 1965 г. — Н.Ч.).

«Геннадия Иванова» («Иртыш течет на север»), Сергея Киселева («Счастье», «Волк» и др.), Леонида Кривощекова («Нет, не за глаза твои синие…»), Валентины Сааковой («Зависть»), Олжаса Сулейменова, Юрия Фатнева («Камни», — свежие образы).

Впервые печатаются неизвестные «казахстанские» стихи В. Луговского, С. Маркова, П. Васильева, В, Чугунова.

Сергей Марков дал три очень четких лирических коротких стихотворения. Отрывок В.Луговского «Сказка о печке», вступление, написанный покойным поэтом во время войны, в 1942 году в Алма-Ате, как всегда у Луговского, полон динамики и выразительности, хотя, может быть, он и не до конца отделан.

«На посещение Ново-Девичьего монастыря», стихотворение

трагически погибшего во время террора очень одаренного поэта Павла Васильева, «оставившего яркий след в советской поэзии 30-х годов», производит хорошее впечатление.

…Блестит над судьбами России.
Литой шишак монастыря,
И на кресты его косые
Продрогшая легла заря.

Заря боярская, холопья,
Она хранит крученый дым,
Колодезную темь и хлопья
От яростных, кремлевских зим.

Прими признание простое!
Я б ни за что сменить не смог
Твоей руки тепло большое
На плит могильный, холодок.

Нам жизнь — любых могил дороже,
И не поймем ни я, ни ты,
За что же мертвецам, за что же
Приносят песни и цветы…

Среди казахстанских поэтов мы видим и знакомое всем русским парижанам имя: Ирина Кнорринг.

Она умерла в Париже, во время немецкой оккупации, 23 января 1943, но стихи ее, привезенные в Россию, за нее «вернулись домой» и печатаются в некоторых советских сборниках, в том числе и в казахстанском «Дне поэзии».

Среди трех стихотворений Ирины Кнорринг помещено (недатированное) стихотворение о немецком солдате, не известное здесь, которое хочется привести полностью — оно намечает какую-то новую ноту в ее творчестве.

Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид…

Уверенный, твердый, железный,
Презревший лишенья и страх,
Взлетающий в звездные бездны,
Ныряющий в темных морях,

Еще — победитель-удачник
(«Куда только мы ни зашли!») —
Немецкий мечтательный мальчик
Гуляет но карте земли.

Он так подкупающе молод,
Так бодро шагает вперед,
Неся разоренье и голод
Повсюду, куда ни придет.

Его на бульварах Парижа
Так радует каждый пустяк:
Он губы застенчиво лижет,
Косясь на французский коньяк.

У пестрых витрин магазинов
Часами стоит, не идет,
Совсем по-ребячьи разинув
Свой красный, смеющийся рот.

А завтра, послушный приказу, —
С винтовкой на твердом плече
Пойдет — и не бросит ни разу
Простого вопроса: «Зачем?»

Зачем ему русские вьюги?
Разрушенные города?
На севере или на юге —
Везде — непременно — всегда?

Зачем ему гибнуть и драться
Среди разрушений и бед,
Когда за плечами лишь двадцать
Восторгом обманутых лет?

Неужто такая отрада —
Недолгих побед торжество?
Ведь запах смолы из Шварцвальда
Уже не коснется его.

И над безымянной могилой
Уже не поплачет никто.
— Далекий, обманутый, милый…
За что?

***

Н. Воробьев посвятил большую поэму (160 печатных страниц) булавинскому восстанию «Кондратий Булавин».*

* Н.Н. Воробьев, «Кондратий Булавин». Издание В.В. Чарковского. Монтерей, Калифорния, США, 1965 г.

Булавинское восстание случилось на Дону в царствование Петра Великого, по поводу теснения прав казацких, требования выдачи беглых крестьян и раскольников и тому подобных нарушений «старинных обыков».

Н.Н.Воробьев в своем «Предисловии» подчеркивает, что восстание было не против «носителя верховной власти», царя православного, в чьем лице олицетворялась русская национальная идея, а против «бояр лихих», что застили трон царский».

Сине над Черкасском небо божие.
Зноен и палящ июльский день.
Дремлет дуб, и у его подножия
Атаманский прикорнул курень.

В нем судьбою-мачехою сдавленный.
Словно дуб под натиском лавин.
Щерит зубы белые затравленный
Волк степной — Кондратий Булавин…

так начинается («Пролог») поэма, вся, до конца в тех же тонах и образах.

Интересующиеся казачьей историей прочтут эту поэму, думается, с интересом, чем и будут оправданы ее появление в свет и огромный труд, проделанный автором.

Ю. Терапиано.

P.S.

В моей статье Д.С. Мережковский («Русская Мысль», 27 ноября) в конце, в восьмой строке, вместо «Израиля» нужно читать: «Иакова».

Ю.Т.».

**5.**

(Справка о выборах в первичной организации ДОСААФ Института Зоологии АН Каз. ССР, где председателем комиссии был Софиев Юрий Борисович, беспартийный, художник. 10 января г., в состав комитета было избрано три члена ВЛКСМ и одна женщина — такая была градация. Рукой Ю.С. приписано: «Раскопки», т. е. он нашел эту бумагу, наводя в очередной раз порядок в своем рабочем столе — Н.Ч.).

**6.**

(Вырезка из газеты «Русские новости», материалы, посвященные С.Есенину: «Сергей Есенин, “цветок неповторимый” (к сорокалетию его смерти)» Е.Хохлова; «У гроба Есенина» Ник. Смирнова; подборка стихов поэта: «Россия», «Пушкину». «У последнего порога» и др. 1925 года — Н.Ч.).

**7.**

(Длинная поэма, в 17 глав, о комсомолке Таньке Наума Моисеевича Коржавина-Менделя, в этой поэме Юрием Борисовичем подчеркнуты строки:

Зло во имя добра!
Кто придумал нелепость такую?
Даже в трудные дни,
Даже в самой жестокой борьбе,
Если зло поощрять,
То оно на земле торжествует
Не во имя чего-то,
А просто само по себе.

(глава 9)

Ю.С. много думал об этом и мысли Коржавина совпадали с убеждениями Софиева. Юрий Борисович встречался в Алма-Ате с Коржавиным, который тогда жил в Караганде — Н.Ч.).

8.

Об Осипе Эмильевиче Мандельштаме.

«…В последний раз видел его весной 1938 года в Москве.

…Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой коды, но в нем жило настоящее мужество, прошли через всю его жизнь — до сонетов у лагерного костра…

В 1936 году он писал:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное, обугленное тело.
Осознавшее свою длину.

Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем «бессмертием».

А в моей памяти живой Осин Эмильевич, милый беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься: наконец-то он уезжает из Коктебеля! Про себя я подумал:

Кто может знать при слове — расставанье, —
Какая нам разлука предстоит…»

«Люди, годы, жизнь», Илья Эренбург.

«Передо мною копия письма Всеволода Эмильевича (Мейерхольда — Н.Ч.) жене, написанного 6 октября 1938 года из дачной местности Горенки: «Приехал я в Горенки 13-го, глянул на березы и ахнул… Смотри: эти листья рассыпаны по воздуху. Рассыпанные, они застыли, они будто замерзли… Застывшие, они чего-то как будто ждут. Кто их подстерегает? Секунды их последней жизни я считал как пульс умирающего.

Застану ли я их в живых тогда, когда я буду снова в Горенках: через день, через час…

Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти ее чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри, смотри на эти чудеса и… и не покидай меня, тебя любящего, тебя — жену, сестру, маму, друга, возлюбленную. Золотую, как эта природа, творящая чудеса! Зина, не покидай меня! Нет на свете ничего страшнее одиночества!» (Эти последние строки Ю.С. подчеркнул для себя, т. к. и сам переживал чувство одиночества — Н.Ч.).

«Мы расстались весной 1938 года — я уезжал в Испанию. Обнялись. Тяжелым было это расставание. Больше я его не видел: в июне 1939 года Мейерхольд был арестован в Ленинграде, 1 февраля 1940 года был приговорен к десяти годам без права переписки. Справка о смерти помечена 2 февраля.

В 1955 году молодой прокурор, никогда прежде не слыхавший имени Мейерхольда, рассказал мне о том, как был оклеветан Всеволод Эмильевич, он прочитал мне его заявление на закрытом заседании военного трибунала. “…Мне шестьдесят шесть лет. Я хочу, чтобы дочь и мои друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом”. Читая эти слова, прокурор встал. Встал и я.»

«Люди, годы, жизнь», Илья Эренбург.

Мы очень стыдливы и сдержанны, увы, из-за оглядки, но ведь от всего этого хочется кричать от боли и ужаса!

И как страшно самовластие в любых своих формах и проявлениях. И опять все мое существо восстает против узости, ограниченности, фанатизма, и, конечно, человеческой низости.

**9.**

(Стихи Ильи Фонякова с комментариями на полях Ю.Софиева — Н.Ч.).

***

Только подумать если,
Если решать конкретно —
Вот что всего труднее,
Вот что сложней всего:

(Словесный сор! — Ю.С.)

Много встречай я разных,
Громко, авторитетно,
Разное говоривших.
От имени твоего.

(Отсюда нужно было бы выжать воду, убрать первую строфу — Ю.С.)

Я их встречал в районной
И областной столице,
Вовремя поспевавших
Взгляды свои менять.

Родина, помоги мне
Сердцем не ошибиться,
Точно тебя услышать,
Верно тебя понять!

Новосибирск,
Илья Фоняков,
«Новый мир», № 1 1966 г.
(Но последняя строфа хороша! — Ю.С).

**10.**

29\ IV

«ТЕЩА…безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей; если бы дочь душила человека, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своим подолом».

«Супруги», Чехов.

Мне всегда казалось, что безумная любовь Ник. Ник. (Кнорринга— Н.Ч.) к Ирине, а теперь к Игорю носит тот же характер, у него, конечно, не от злодейства, а от слабости. При слабом характере — есть что-то жалкое в ней, стыдноватое. При сильном — страшноватенькое. Но всегда от нее как-то не по себе, неловко за человека.

**11.**

1/V
Чайка

…Как это море в солнечном ожоге
И волн расколыхавшаяся, гладь,
Душа всегда в волненье и тревоге,
Которых я не в силах, передать.

Георгий Леонидзе, пер. Пастернака.
Как это прекрасно и верно!

**12. 3/V**
…Кто бы и какие бы эти люди ни были — им принадлежит будущее.
Так пусть они будут счастливее нас.
Василь Быков. «Мертвым не больно»

**13. 3/V**
Все те же неотвязные мысли:
Нет! Нет, кто человечен,
Тот не смеет
Забыть
Ни Аушвица,
Ни Колымы,
Хиросимы…

14.
(Фото И. Фонякова из газеты — Н.Ч.).

«Родина, помоги мне
Сердцем не ошибиться,
Точно тебя услышать,
Верно тебя понять!»

Илья Фоняков, «Новый мир», № 1, 1966 г.

**15.**
(Газетная статья об Эжене Потье И. Артемова — Н.Ч.).

**16.**

(Поэма Аркадия Кулешова «Монолог», перевод с белорусского Яна Хмелевского, памяти белорусских поэтов Змитрона Астапенка и Юлия Таубена, переписанная Ю. Софиевым от руки — Н.Ч.).

**17.**

(Газетные вырезки «К событиям в Китае»; «Бесчинства и насилия хунвэйбинов не прекращаются»; «О «великой культурной революции» в Китае. По страницам китайской печати» — Н.Ч.).

Повторение прошлого! В будущем, может быть, какой-нибудь податливый «свой» историк стыдливо-снисходительно назовет это «некоторыми ошибками».

**18.**

Письмо Ирине Владимировне (И.В.Братус в Ленинград. Она знакомая Ю.Софиева гимназических лет по Старой Руссе — Н.Ч.)

«… дело в том, что я вовсе не отрекаюсь ни от тонких французских вин, ни от превосходной кухни и, может быть, у меня тоскливо засосет под ложечкой, если я вдруг вспомню, что уже 10 лет не дышал соленым морским ветром и не ощущал на языке железистый вкус устриц или остроту мюнстерского сыра.

«Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду».

Но если всего этого нет — решительно ничего не меняется в моей жизни и я вовсе не чувствую ни огорчений, ни обид на злодейку судьбу.

Я с детства был страстным «индейцем» и мечтал о вигваме. Потом меня зачаровал Блок (на всю жизнь).

…Смотрит чертой огневою
Рыцарю в очи закат
И над судьбой роковою
Звездные ночи горят.
Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовет океан.
Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно!
Путь твой грядущий — скитанье,

Шумный поет океан.
Радость, о, Радость-Страданье —
Боль неизведанных ран!
Всюду — беда и утраты,
Что́ тебя ждет впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Меть свои крепкие латы
Знаком креста на груди!

И еще образ Гумилева:

— Тот безумный охотник,
Что взойдя на нагую скалу,
В диком счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу.

Не знаю, потому ли, что напророчили поэты, но, в общем-то, все эти огневые закаты, звездные ночи, мира восторг беспредельный, скитанье, путь роковой и бесцельный и т. д. довольно основательно заполнили жизнь и bifteck saignant оказался совершенно бессильным, чтобы со всем этим наваждением бороться. Словом, благоустроенный быт оказался в загоне.

Благослови высокую судьбу:
Мы бедствия и странствия узнали…

…Блажен, кого судьба бросала
В юдоль изгнанья и войны…

…Вне всяческих благополучий
Не стал ли мир для нас светлей?
Мы сами проще и мудрей
И наша жизнь полней и лучше?

И т. д.

Возможно, что это в какой-то мере всего лишь реминисценция, ибо задолго до нас это было высказано и, конечно, с большей силой.

Блажен, кто посетил, сей мир
В его минуты роковые.

Но небольшая разница состоит только в том, что благополучнейший Тютчев (великий и гениальный, конечно), живя в благополучнейшую эпоху, пришел к этому прозрению умозрительно а наше поколение — активным путем, побывав на пиру у богов и, откровенно говоря, обожралось в достаточной мере этой «божественной пищей».

А небрежение к быту вошло у меня в дурную привычку и для «полного счастья» мне вовсе не нужны шифоньер, сервант и прочие чарующие многочисленные наименования чудесных предметов, но Раю (Миллер — Н.Ч.), при всей ее поэтической любви к закатам и звездным ночам, я знаю, это весьма огорчает.

Уже потому, что в женском обиходе все это совершенно необходимо и это невозможно заменить холостым, походным чемоданом под кроватью.

Ну, вот, я боюсь, что месячное пребывание у меня в «деревенской глуши», в моем вигваме, среди буйных джунглей моего сада, может несколько снизить ее высокий патриотический накал.

Как-то в послевоенные годы, когда Франция не пришла еще ни к своему прошлому, ни теперешнему благополучию, но, во всяком случае, уже достаточно оперилась после оккупации, я путешествовал на велосипеде с палаткой на багажнике по ее юго-западному побережью, точнее, вдоль Бискайского залива, до самой испанской границы. В Ла Рошеле меня настигла Рая и потребовала, чтобы из палатки я перебрался в отель. Через несколько дней она села на поезд, а я на велосипед и мы отправились через Байону, Биарицу в Сен-Жан-де Мод(?), чудесное местечко, недалеко от испанской границы. Тут я решительно потребовал реванша: категорически отверг отель и поставил мою палатку на самом берегу Атлантического океана,

на высоких скалах, под палящим солнцем. За миллионы лет беспокойные бискайские волны вырыли в скалах ниши и потому днем и ночью под палаткой раздавались глухие подземные удары огромных океанских волн.

Как-то на утро оказалось, что вместе с нами ночевала в палатке и огромная полевая крыса. Все эти прелести «на лоне природы» окончательно довели бедную Раю до отчаяния, но границ самопожертвования ее не было конца, хотя на третью ночь, полумертвая от страха, уверенная, что земля под палаткой рано или поздно должна провалиться в море, она переселилась в отель, а наутро уехала в Париж.

Вот почему я несколько озабочен, чтобы как-нибудь сделать ее пребывание в моем вигваме максимально приятным. Конечно, легче было бы построить виллу на Луне или Марсе, чем, скажем, провести водопровод, газ, центральное отопление, соорудить ванную комнату, теплую уборную и т. д. к ее приезду, тем более что я упрямо продолжаю думать, что живу совсем неплохо…»

**19.**

(Газетная вырёзка «Обострение обстановки в Китае» — Н.Ч.)

**20.**

«Русские новости» 1 июля 1966 г. № 1098

Интересная статья-отчет о «Вечере памяти Булгакова в Москве» Полины Львовны Вайншенкер, между прочим: «При всем жанровом многообразии, у Булгакова выделяются две постоянные, основные темы: одна из них — интеллигенция и революция, другая — проблема судьбы автора, право писателя на свое видение мира, тема творческой самостоятельности художника».

Трагическая тема! Во все времена!

**21.**

11/VII

Литературные вечера по радио.

Фр. стихи Тютчева переводил Брюсов и Фет. Не запомнил, кто читал свои переводы французских стихов Тютчева. По-моему, я видел эти переводы где-то уже в печати.

В общем-то нелепость и кощунство. Я убежден, что единственно возможный перевод фр. стихов (на любом иностранном языке) Тютчева, Лермонтова, Пушкина и т. д. это точный подстрочный перевод и ни в коем случае не стихотворный; кто же может написать по-русски стихи за Тютчева, Пушкина, Лермонтова и т. д. Если бы Тютчев решил

перевести свои фр. стихи на русский язык, разве эти тютчевские стихи были бы похожи на стихи любого иного переводчика их? Вчерашние стихи, может быть, и были не плохими переводами, только это было подражание Тютчеву, а вовсе не стихи Тютчева.

Сама затея мне кажется не только ненужной, но и нелепой.

22.

(Вырезка из фр. издания L Express, 16.1.66. «Poesie» — Н.Ч.)

Не плохо это: (фр. текст) И постоянная моя боль о «ветхом Адаме» — (фр. текст — Н.Ч.).

**23.**

(Вырезка из газеты «В Париже. Е. Каминка — Александровская (некролог) О. Кожевникова. Каминка была артисткой, хорошо читавшей поэтов, а муж ее играл Павла I Мережковского. Умерла она в Одессе, от паралича — после смерти единственного сына Юрия, в Инвалидном Доме — Н.Ч.).

Уходят старые друзья!

**24.**

(Газетная вырезка «Пекинские «ниспровергатели» советской литературы» А.Тамарина — Н.Ч.)

**25.**

Когда, плеща невоплощенно,
Себе эпоха ищет ритм,
Пусть у плеча невсполошенно
Свеча раздумия горит.
Каким угодно тешься пиром,
Лукавствуй, смейся и пляши,
Но за своим столом ты — Пимен,
Скрипящий перышком в тиши.
И что тебе рука царева,
Когда в своей ты келье скрыт?
И, как лукавый глаз циклопа,
В упор чернильница глядит.

Е. Евтушенко.

Глаз циклопа? — сомнительно. И всегда раздражают, как молотки по ушам: царевы-циклопа.

На ту же тему, его же:

…Поэты в России рождаются
С дантесовской пулей в груди.

Но мне на всю жизнь запомнились строки Максимилиана Волошина:

Труден подвиг русского поэта
И судьба недобрая ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.

И какая собранность и выразительность стиха.

Пэоны — Пушкина…

Достоевского…

Хотя, только что заметил: под дуло — «поддуло» (поддувать»). Стоит это заметить — отбиться от этого уже невозможно. «Уж ад ликует» — «Ушат ликует» (…)

**26. 1/VIII**

«Ленинская смена»

(Вырезка со стихами Беллы Ахмадулиной «Мазурка Шопена» — Н.Ч.).

Я вырезал эти стихи не потому, что они мне особенно понравились, кстати, совсем нет, но потому что почти не встречаю в печати стихи Ахмадуллиной, которые сразу запоминаются.

Как-то я напал на ее очерк, не помню, о чем, и он сразу остановил внимание — у Ахмадулиной свое видение мира, своя манера письма, очень свежая и свои слова и образы, все признаки подлинного таланта. Кроме того, это тот этап, видимо, молодой нашей советской поэзии, которая уже органически стремится самостоятельно, без чьей бы то ни было подсказки и указки, увидеть, понять и творчески воссоздать мир, во всем его многообразии.

Если не ошибаюсь, Ахмадулина жена Евтушенко. Евтушенко весь во власти гражданской поэзии, но тоже один из тех, кто пытается отстаивать право на свое самостоятельное видение мира.

**27.**

Из статьи Генриха Боровика, корр. АПН «Не очень таинственный пластырь», «Огонек», № 28, 1966 г.

«…Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд»: «Правительство следит за 200 миллионами американцев».

Эдвард Лонг (демократ от штата Миссури): «Я должен заявить, что право американца на неприкосновенность частной жизни — право приходить домой без страха, что кто-то наблюдает за каждым твоим шагом, право говорить свободно со своим адвокатом, представителем банка или со своей женой без боязни, что рядом работает магнитофон или радиопередатчик, — это право сегодня самым опасным образом игнорируется.»

D'accord! Но в порядке «сердца горестных замет» позволительно спросить в наше время, есть ли на нашей голубой планете такая счастливая Аркадия, где это право было бы гарантировано абсолютно и безусловно? Helai!

**28.**

(вырезка из газеты «Ленинская Смена», N9142, 24/VI, 66 г. Под рубрикой: «Дневники, воспоминания, письма» — Н.Ч.)

БИЕНИЕ РУССКОГО СЛОВА

Ирина Николаевна Кнорринг умерла в оккупированной гитлеровцами Франции в 1943 году. Из России ее четырнадцатилетней девочкой увезли в годы гражданской войны родители.

Судьба этого очень талантливого человека достойна глубокого сожаления. Оторванная от родной почвы, девушка жила в узком кругу духовно сломленных интеллигентов. И если она все-таки стала поэтом, то только потому, что не приняла «мелкий мир» эмиграции и всем сердцем стремилась на Родину. В сущности эти два мотива и являются главными в литературном наследии Кнорринг, в значительной своей части неопубликованном.

Грустные стихи писала поэтесса. Их пронизывают чувство глубокой неудовлетворенности «пустой» жизнью и жажда настоящего дела, которое, как понимает автор, делают там — в России. Человек предъявляет себе и окружающим требования по большому счету — и нелицемерно, честно осуждает все, что достойно осуждения. Трагично по самой своей «строчечной сути» звучат слова:

Россия! Печальное слово,
Потерянное навсегда,
В скитаньях напрасно-суровых,
В пустых и ненужных годах…
Зачем меня девочкой глупой
От страшной родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли!

Годы второй мировой войны и немецкой оккупации были последними годами жизни Ирины Кнорринг. Тяжелобольная, она пишет множество превосходных стихотворений, с напряжением сил следя за ходом событий, горячо переживая вместе с нашим народом его историческое испытание. Одно из ее стихотворений о войне неожиданно близко по настроению Светловскому «Итальянцу» — произведения эти написаны почти одновременно. Речь идет в нем об «обманутом немецком мальчике», которому суждена бессмысленная, ненужная гибель на берегах Волги. Тут и понимание закономерности такого конца, и горькое чувство гуманности, сожалеющего о человеческой жизни, брошенной на алтарь войны.

Семья Ирины Кнорринг давно уже на родине и живет в Алма-Ате. Большие подборки ее стихотворений публиковались в журнале «Простор». Казахстанский День поэзии 1965 года отвел поэтессе несколько своих страниц. Стихи ее возвращаются к русскому читателю, к тому, для кого она писала. Но одним из интереснейших литературных наследий является дневник Ирины Кнорринг, в котором немало ценных размышлений, фактов, становящихся историческими, необходимых для наиболее полного прослеживания пути развития русской литературы.

Сегодня мы открываем одну из страничек этого дневника, комментирует ее отец поэтессы Николай Николаевич КНОРРИНГ.

Поэзия Анны Ахматовой, ее стихи, имели очень большое влияние на творчество моей дочери Ирины Кнорринг. Между прочим, ее очень интересовали вопросы версификации, стихотворной техники, причем она не воздерживалась иногда от критических замечаний, по тону довольно смелых для их автора.

Когда в 1922 году в издательстве «Петрополис» вышел сборник Ахматовой «Четки», Ирина в своем дневнике посвятила разбору этого сборника несколько страниц. Вот, например, что она пишет по поводу стихотворения «Вечером»:

«Стихотворение можно назвать одним из удачных, т. е. правильных. Тон выдержан с первой строчки до последней. В области синтаксиса неправильна только одна строчка: «Так на наездниц смотрят стройных». Неестественная «стихотворная» расстановка слов. И главное, если сказать по-человечески, по-русски, то ни размер, ничего от этого не изменится. Почему так — не понимаю, может быть, Ахматова сознательно сделала такую расстановку слов, чтобы опоэтизировать прозу, чтобы не было простого прозаичного обиходного языка? Может быть, она и права и расстановка слов есть действительно та трудная, малозаметная грань, которая позволяет «прозе в поэзии» оставаться все-таки поэзией?.. Начато по обычаю отвлеченно, с описаний. И, пожалуй, на эту отвлеченность уделено слишком много места. Две строки было бы лучше. «Да мне сказал: я верный друг! И моего коснулся платья» — это хорошо. Чисто по-ахматовски — отмечено движение и только движение. Под этим движением скрывается и любовь, а может и ничего не быть. Вот — боязнь, что это только слова, проскальзывает в следующих строчках. Эти строки диктует разум или предчувствие. Но чувство сильнее, а в голосах скрипок, которые все-таки «скорбные голоса», слышатся совершенно неразумные, не внутренние слова: «Благослови же небеса: ты первый раз одна с любимым!» Против этого аргумента ничего не возразишь. В этих строках и есть вся трагедия. Создается иллюзия счастья, хотя она и видит лишь «смех в глазах его спокойных». Простое, естественное и очень понятное состояние».

В 1926 году в знак любви и уважения к поэзии Ахматовой Ирина посвятила ей трогательное стихотворение.

Над горами спокойные вспышки зарниц,
На столе — карандаш и тетрадь.
Ваши белые книги и шелест страниц,
И над ними — дрожанье косматых ресниц —
Разве все это можно отдать?
И пушистую прядь золотистых волос,
И туманное утро в росе,
И шуршанье колючих цветущих мимоз,
И гортанные песни, что ветер разнес
По безлюдным и гулким шоссе.
Это первое лето в мечтах и слезах,
И зловещее солнце в крови,
И какой-то наивный, ребяческий страх —
Все лежит в Вашем имени, в тихих стихах,

В непонятной тоске о любви.

Ирине не суждено было вернуться в Россию и лично познакомиться со своей старшей подругой по искусству. Но сборники ее стихов дошли до Ахматовой. По приезде в Москву я познакомился с знаменитой поэтессой на ее московской квартире (на Ордынке) и принес для нее все сборники стихов Ирины. Из дальнейших моих посещений Ахматовой я вынес впечатление, то стихи Ирины ее заинтересовали и ей понравились, — она этого не скрывала. Впоследствии в связи с возможностью публикации стихов Ирины в алма-атинском «Просторе» Анна Ахматова написала свой лестный отзыв о них: «По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно и скучно на Западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой Редины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие и честные стихи».

(Далее — рукой Юрия Софиева комментарии к этой статье — Н.Ч.).

Очень радостно, что имя Ирины стало известно на родине, это заслуга Ник. Ник., но грустно, что и вокруг имени Ирины создается эта, к сожалению, обычная у нас, полная полуправды, искажений, а то и заведомой фальсификации, «во имя» писанины. И Жовтис, и другие приходят к Ник. Ник. со смущенными извинениями… «Но вы сами понимаете, что иначе нельзя» и т. д.

«Оторванная от родной почвы, девушка жила в узком кругу — духовно сломленных интеллигентов. И если она все-таки стала поэтом, то только потому, что не приняла “мелкий мир” эмиграции и всем сердцем стремилась на Родину. В сущности эти два мотива и являются главными в литературном наследии Кнорринг, в значительной своей части неопубликованном.

Грустные стихи писала поэтесса. Их пронизывают чувство глубокой неудовлетворенности “пустой” жизнью и жажда настоящего дела, которое, как понимает автор, делают там — в России».

Вот образчик того, как критика с убийственной легкостью и упрощенчеством создает совершенно ложный образ поэта и его творчества, образ, совершенно не соответствующий

действительности.

Прежде всего, трагедия Ирины гораздо глубже и человечнее, чем «эти два мотива», а, во-вторых, Ира не стремилась на родину, «пустота» жизни не вытекала у нее из «мелкого мира» эмиграции, ее никогда не интересовали и не волновали «социальные мотивы», никогда ее не захватывало «искание социальной правды», и по существу, она «прошла мимо» самого факта свершившейся в мире социальной революции и как-то не задумывалась, не отдавала себе отчета, что эту великую революцию совершил ее народ.

Об этом свидетельствует не только ее творчество, но может быть в еще большей мере ее дневник. Ирина была прекрасным поэтом с подлинно трагической, а потому большой человеческой судьбой; русским поэтом, — вся в основном русле классической русской литературы — в русле глубокой и подлинной человечности, т. е. подлинного гуманизма (она ненавидела войну органически), она была совершенно чужда ожесточенному антагонизму двух разделяющих мир идеологий.

Лукаво и не умно сравнивать, сближать Светловского «Итальянца» с «Немецким мальчиком». Другая «Тональность». Для Ирины всякая война, как таковая, всегда была «немыслимым позором» для человека. Для нее были нестерпимы насилие и убийства, (…), и никакое «во имя» в ее глазах не могли их оправдать. Ирина была подлинной пацифистской.

А ее «немецкий мечтательный мальчик» произвел на меня двойственное впечатление. Ведь тогда шла война с Россией. Почти все мы были охвачены искренним патриотизмом. Трагически переживали наши поражения и восторженно наши успехи. Искренне восхищались героизмом советской армии. Что называется — до слез. У меня никогда не было ненависти ко всем немцам, или немцам «вообще». Я ненавидел фашизм и вовсе не отождествлял фашизм с немецким порядком и немецкой культурой. Хотя гитлеровский национал-социализм охватил большую часть немецкого народа, в особенности, во время успехов. Ненавидел я немецкий милитаризм. Моя во время войны ненависть к милитаризму врага еще довольно однобокая.

Спокойно и объективно мы о нем судили в мирное время. Это прежде всего касается психологии военного сословия, это — «военщина», возведенная на пьедестал. Это всегдашнее восхваление войны, всегдашняя готовность к ней, как к празднику! Военная доблесть — первейшее качество, затмевающее все остальные качества. Отсюда высокомерное презрение к «штатским», к «шпакам», монопольное присвоение патриотизма и любви к Отечеству.

Как все это мне знакомо по кадетским годам. Только в корпусе я увлекся совсем иным — с увлечением читал «Маленький гарнизон», не помню автора, немца, книгу, направленную против прусского милитаризма. А мечтал не столько о военных подвигах, а о мирных странствиях по России и по свету, мечтал о жизни в природе, об охоте, о стихах.

Пронзительно любил. Лермонтова. Читал «Валерик», всем своим существом отдаваясь этим прекрасным строчкам: «Странный человек! Чего он хочет? Небо ясно. Под небом места хватит всем, но непрестанно и напрасно, один враждует он. Зачем?». Эти лермонтовские строки, это «зачем?» запало мне в душу на всю жизнь. Все в ней жило, однако мне нелегко было выпутываться из многих мучительных противоречий. Нужно было преодолеть и военное воспитание, и рождение в военной семье, и наследственность многих военных поколений, власть традиций, власть привычек военной среды и т. д. А Ира была свободна от всего этого, ей не нужно было преодолевать мучительный душевный разлад, метаться между великим непротивленцем Толстым и «Тремя разговорами» Вл. Соловьева. Она была органической пацифисткой.

Пацифизм — отрицание войны, ненависть к ней, ко всякой войне, как способа разрешения конфликтов между людьми, между странами, между государствами. Для нее были бы совершенно неубедительны рассуждения о справедливых и несправедливых войнах. Эти рассуждения вызвали бы у Ирины глубокое возмущение, она приняла бы их как лукавое оправдание насилия и убийства, которые она ненавидела всем своим существом. Пацифисты опасные люди для любого государства. Ну-ка, развернем наш Толковый словарь Ожегова. «Пацифизм лицемерная буржуазная политика отказа от всяких войн, в том числе от национально-освободительных, революционных и других справедливых войн. П. — орудие подготовки новых войн под прикрытием фраз о мире» (изд. 1960 г.)

Ого! Пожалуй, пора прекратить дальнейшие рассуждения на эту тему! Бедная Ирка, ты не лицемерила, не придумывала никакой буржуазной политики, не подготавливала новых войн под прикрытием фраз о мире — ты просто всем своим чистым и человеческим существом ненавидела войну, ненавидела этот варварский способ людского спора, считала его пережитком истории и потому искренне считала себя пацифисткой.

**29.**
2 / VII

…Впрочем — так и всегда посредине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне
И своих же следов не найти.
Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла.

Пытаюсь припомнить образ Владислава Фелициановича

черты расплываются, но маячит что-то очень умное, порой беспощадно жестковатое, желчное и желтое (кожа).

…Кто (…) ответом
Желтоватым внушает поэтам
Отвращение злобу и страх.

Неправда. Мы с Ириной очень любили его стихи. Несколько раз был я на его воскресниках и тогда, когда они жили с Ниной Ник. Берберовой (ее я откровенно не любил), и после их разрыва (хотя в воскресенье она по-прежнему приходила к нему со всеми его друзьями и почитателями и хозяйничала за столом).

Я чувствую себя порой очень обедненным, ибо не могу насладиться подлинной и высокой поэзией больших поэтов — Ходасевича, Георгия Иванова, Георгия Адамовича. Я не привез их книг, а память меня давным-давно предала. Живут отдельные прекрасные строчки, но стихи, которые я знал наизусть, безнадежно для меня потеряны. Как грустно!

Теперь я вижу, что я мог бы взять с собой все стихотворные сборники близких поэтов. Все эти стихи бесконечно далеки от какой бы то ни было политики, нет в них никакой враждебной гражданственности, но подлинная лирика, подлинное мастерство, стихи о самом важном и необходимом — о судьбе, о жизни, о любви, о смерти, о человеке, о познании мира. Словом, о том, что всегда сопутствовало, сопутствует и будет сопутствовать человеку, всегда будет напоминать о себе, всегда являлось подлинным и главным содержанием поэзии.

«Кто-то сказал: грусть мира отдана стихам».

Эту фразу обронил Герг. Вл. Иванов. Это вовсе не значит, что грустью ограничивается поэзия, но что грусть отдана стихам и что это прекрасно, и что это необходимо человеку — тоже безусловно. Ну а музыка? Разве не так же? Не совсем.

Мы слишком устали и слишком мы стары
Для этого вальса, для этой, гитары…

…И особенно синяя
(С ранним боем часов)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов…

Неужели это все, что я сейчас могу вспомнить из Георгия Иванова? Но и то, и другое — прекрасно.

Или Адамович — Поющая мысль

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Непостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, — каждый раз нежней! —
(Как будто) ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

И это прекрасно.

Или Ходасевич:

Жив ты! Умен, а на заумен,
Хожу среди твоих стихов,
Как неподатливый игумен
Среди послушных чернецов…

Это Ходасевич!

**30.**

(«Бунинская тетрадь» — газетная вырезка — Н.Ч.).

**31.**

Из письма Виктору (В. Мамченко, в Медон — Н.Ч.).

…Передай милой Софье Юльевне (С.Ю.Прегель, поэт, жила в Париже — Н.Ч.), что пропажа ее книги не только огорчила меня, но глубоко опечалила, я очень люблю ее крепкие, энергичные, полные внутренней силы стихи (Софья Юльевна Прегель послала мне свою последнюю книгу стихов, но, увы, до меня она не дошла). Моя беда в том, что память меня давным-давно предала и я чувствую себя очень обедненным. Как это грустно, когда зазвучат отдельные прекрасные строчки, но сколь мучительно не напрягай проклятую память, вспомнить стихи уже не могу. Еще мучительнее, когда вместо забытых стихов, когда силишься их припомнить, где-то в тебе бродит смутное знакомое звучание, но не в силах прорваться наружу и прозвучать в утраченных для тебя Словах.

Казалось бы просто — снять с полки книгу…

Казалось бы просто — протянуть руку…

Но руку приходится тянуть через десятилетия в будущее, когда всякие рогатки, охранительные барьеры, запреты, столь унизительные для человеческого достоинства, будут казаться дикой нелепостью.

И ведь это относится ко всем моим друзьям и добрым знакомым поэтам. Счастливым исключением являешься ты, Виктор, — я могу протянуть руку и взять хотя бы две твои книги, которые стоят у меня на полке. Мой, так сказать, «духовный голод» объясняется не только тем, что мы избалованы очень высоким уровнем мастерства, а органической потребностью в стихах о подлинно верном и необходимом — о судьбе, о жизни, о смерти, о человеке, о познании мира, о добре и зле. Словом, о том, что всегда сопутствует нам, сопутствует и будет сопутствовать человеку, всегда будет напоминать о себе, всегда являлось подлинным и главным содержанием поэзии.

И еще: грусть мира отдана стихам — эту фразу как-то обронил Георгий Иванов. Это, конечно, только одна из нот поэзии и однако очень необходимая человеку:

«…И особенно синяя

(С ранним боем часов)
Безнадежная линия
Бесконечных лесов…»

«Мы слишком устали и слишком мы стары
Для этого вальса, для этой, гитары…»

Много раз мучительно пытался припомнить эти стихи — безнадежно! Ты знаешь, как я любил стихи Адамовича — эту поющую мысль. Но память и здесь меня предала.

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Непостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так замирали…

Дальше у Адамовича было две редакции. В первой, по-моему, было «… что казалось ей», во второй: «каждый раз нежней».

Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

Это мое любимое, но смертельно боюсь переврать какое-нибудь слово или пунктуацию поэта. А вот из всего Адамовича, которого я знал всего наизусть — только это целиком, а остальные так не строчки, а обрывки строчек!

Милый, если бы ты знал, как это больно! Не раз хватался припомнить Ир. Вл. Од. (Ирина Владимировна Одоевцева, поэт, прозаик, мемуарист, жила в Париже, вернулась в Россию — Н.Ч.).

Я люблю ее поэму.

…И далее (в каком-то платье, но каком?)
Руку поцеловал.
Я Вам посвящу поэму
Я Вам…
Я Вам подарю (леопарда?)
Которого сам убил.
Колыхался розовый вечер.
Гумилев не нравился ей.
— Я стихов не люблю. Зачем мне (на что мне)
Шкуры диких зверей… (и т. д.)

Бесконечно мог бы писать тебе об этом. То же самое со стихами Юры Таран, то же с Ходасевичем и вообще со всеми.

Я, вероятно, — как мне кажется — многое понимаю в нашем времени с радостью и принимаю все главное и основное, потому многое прощаю, но некоторые вещи тяжелой ценой.

Voila «1a grandem et la miserc (la srrvitude) de notre epogue. Grande e poguel

И опять толпятся образы: дьявол— Мыслитель, смотрящий с Notr Dame de Paris на рыжее зарево ночного парижского неба… злобный силуэт одинокого человека… ну и прочая чепуха. А всем им (и Софье Юл., и Юре, и Адамовичу, и Одоевцевой) передай мое спасибо за все то прекрасное в их творчестве, чем они обогатили мою жизнь. Что-то у меня сегодня очень уж лирическое настроение. Сейчас час весьма поздний. Два моих смежных окна — почти вся стена — открыты в сад. Сегодня понедельник. И вероятно потому брешут псы. А поселок давно спит. Милый. Если бы ты мог взглянуть сейчас на панораму Тяньшаньских гор, в которые прямо упирается южная сторона моей улицы. Не тревожься — я не Н.П.Смирнов — не перейду к описанию. Если быть до конца правдивым, чаще всего любуюсь ими, проходя по дороге в уборную.

И вот выясняется, что я очень люблю нашу жизнь, может быть, потому и тревожусь за Раю (Р.Миллер — Н.Ч.) — ведь, если она не полюбит ее так же, как я, не почувствует ее органически своей — мы неизбежно станем чужими, а, может быть, и станем раздражать друг друга. И еще очень хорошо, что я у себя дома, а не на place Notre Dame de Paris, потому что всем своим существом я знаю, что тот мир со всеми своими «обольстительными прелестями» глубоко, даже как-то гневно, чужд и враждебен мне, а наш — свой, даже со всеми своими молодыми уродствами, даже и с «ветхим Адамом» дорог и нужен мне и он лучшее, и я знаю, что он смотрит в будущее, и верю, что жизнь, люди, и время его

подправят. Ничего не поделаешь, но так выходит: мы сдаем в эксплуатацию новые дома, со всеми удобствами, но жить в них становится во всех отношениях хорошо и удобно, после капитального ремонта.

Но дома непрерывно растут, методы их постройки непрерывно улучшаются, множатся удобства, все больше и больше людей переезжает в новые хорошие удобные квартиры и люди начинают жить все больше и больше по-человечески. Это — наша жизнь. Вот почему, никогда, ни при каких обстоятельствах я не мог бы стать перебежчиком, никогда не мог бы предать наш мир. Я говорю не только о родине, а о более широком понятии, о нашем мире. Вот почему мое приобщение к нашему миру (я не возвратился, я впервые сознательно в него вступил) было логическим завершением моего жизненного пути с мучительно противоречивыми исканиями, сомнениями, надеждами, верованиями, в общем-то с нелегким жизненным опытом. И я часто думаю, Виктор, что и тебе нужно было бы быть здесь. И, прежде всего, для тебя самого. Хотя (во всяком случае, первое время, пока бы привыкли) думаю, что тебе было бы труднее, потому что ты нетерпеливее и максималистичнее меня.

……

«Чем человек глупее, тем легче его понимает лошадь».
Чехов
Вечерний тихий свет — моя отрада (зачеркнуто Н.Ч)
И боль и грусть уже сочтенных дней,
Но вопреки всему, как беспощадно
Единоборство с гибелью моей.
Ю.С.

**32.**

Из письма Рае.

…Спасибо за открытки. Все знакомые места: Монте-Карло, Ментона… «у синего теплого моря».

В 1938 году весь Cote d'Azur исколесил на велосипеде. Из Ниццы в Ментону приехал по нижнему карнизу через Монте-Карло, по страшной августовской жаре, но жару я выносил легко, даже любил. Всегда ненавидел холод, мертвую зиму. А возвращался в Ниццу по верхнему карнизу и потому 14 километров подъема шел пешком, волоча груженый велосипед.

К Ницце подъехал поздно ночью и с высоты верхнего карниза на темно-синем бархате южной ночи увидел море ярких огней. На рейде стояли иллюминированные военные корабли. В блестящей черной воде дрожали разноцветные огненные зигзаги. С кораблей

неслась музыка. Там танцевали. Я слёз с велосипеда и долго любовался этой картиной. Мне было 38 лет. Я был в спортивных шортах, загорелый, стройный, выносливый, окрепший от физической работы (Баранов мне говорил: ты, Юрий, железный!), очень жизнерадостный или как говорили друзья: с каким-то невероятным запасом vital ite, и по мнению женщин — becbeen pas mal! И тогда никто мне не давал больше 30 лет. Helas! Tont passe, tont casse, tont lasse!

В Ментоне в садике над морем среди пальм, агав и бананов, я присел на скамейку и разговорился с двумя милыми созданиями — одна была прелестным подростком с очень стройными длинными ногами, другая просто молодая женщина с остреньким носиком. Автоспуск моего фотоаппарата запечатлел нас «навеки».

Они работали в каком-то pension de famille и усиленно приглашали меня остановиться у них, но я спешил в Вантимиями (?), меня гнала Муза дальних странствий. Моя повелительница, к новым, еще неизведанным местам. Последние дни перед возвращением в Париж, садился на поезд в Сен Ражале(?), — я провел несколько дней в Join le Rin, в Auberge de la jennerse, где познакомился и тотчас подружился с Бригитой Дернер — она была студенткой Сорбонны. Отец у нее был эмигрант — немецкий социал-демократ, журналист, спасшийся от Гитлера, а мать немецкая еврейка, которую фашисты не выпускали из Берлина, как заложницу.

Так и не выпустили.

Я очень подружился с Бригитой, она очень понравилась и Ирине. В момент объявления войны на ней женился ее товарищ — студент — зубной врач — по фамилии Lamour, вероятно, фр. еврей, спешно прилетевший за Бригитой из Лиона; он увез ее на юг Франции, тем самым, спасая ее сначала от французских, а затем и от немецких концлагерей — от гибели.

Все эти трагические истории предвоенных и военных лет, в зловещем зареве факельных шествий и безумных иступленных выкриков сумасшедшего немецкого ефрейтора.

Будь они прокляты!

Вот, видишь, сколько воспоминаний ты возбудила во мне своими открытками.

Мы с тобой вместе никогда вместе на cole l'Azur'e не были. Наши тени хранят скалы бискайских берегов, st. Jean de Lum и рыбачьи паруса Ла Рошели. Хотя ты там очень мучилась, когда я вырвал тебя из отеля и поселил в моей палатке, но однако это были те берега Атлантики, от которых началось наше совместное плаванье в жизни. По моей вине достаточно сумбурное и неудачное, может быть, все из-за той же «Музы дальних

странствий», с детских лет я всегда был ей верен.

Однако, прошло с тех пор два десятилетия, а мы все сидим в одной лодке, только на огромном расстоянии друг от друга, но, все-таки, как мне кажется, тянемся с печалью и радостью друг к другу.

**33.**

(Длинное латинское стихотворение, гимн студентов — Н.Ч.)

Так никогда до конца я и не выучил наизусть Gaudeamus, хотя и пытался это делать в белградские студенческие годы, а потом в годы Франко-Русского института в Париже — горестное признание!

(Строфа из гимна на латыни — Н.Ч.).

2) Аналогичная мысль у Лескова:

«Очень люблю Россию, когда ее не вижу, и непомерно раздражаюсь против нее, когда живу в ней».

«Смех и горе», Н.Лесков.

У Тургенева она высказана острее и с юмором. Но мысль сама по себе не только забавная, но и острая и меткая.

«…Тургенев, между прочим, сказал важную истину, которая отчасти известна, быть может, и Александре Осиповне (что, живя за границей, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию как уже тошнит от России»)».

Письмо Гоголя П.М. Смирнову, сентябрь, Франкфурт, 1837 г. (переписка с друзьями).

Лежа в больнице, почему-то думал о Сахаре, о Хоггаре, и особенно о «Южном Кресте» с грустью непоправимости — так я в своей жизни и не видел (и не увижу никогда!) это изумительное созвездье, а как мечтал! Видел его на экране, в каком-то фильме о французском легионе — только и запомнил: уходящий в пески строй «белых кепи» и пылающие по ночам неправдоподобно яркие звезды «Южного Креста». Курилов В.А. 5 лет провел в иностранном легионе. Многие русские в первые годы эмиграции испытывали свою судьбу и на этом поприще. Можно по — разному судить о таком выборе. Бежали же русские люди из Галлиполи в войска Кемаля паши. Конечно, оценивать это с принципиальной точки зрения было бы глупо. Безвыходность и романтика конквистадоров, (…).

В Флибустьерском дальнем синем море

Бригантина поднимает паруса.

Но я рассматриваю это, как накопление жизненного опыта, как встреча с новым, всегда неповторимым человеческим

материалом, как одна из трудных возможностей, в том положении, в котором люди находились, так сказать, абсолютно без материальных средств, накопления видений мира. Для меня, например, одной из величайших ценностей и наслаждений жизни — следовать Музе дальних странствий.

А я, в какой-то мере, завидую Курилову, что он видел Африку, Америку, видел Сахару, видел созвездье «Южного Креста». В какой-то мере… потому что, не смотря ни на что, что я по самой своей сути, прежде всего глобтроттер, однако, я никогда в своей жизни не мог быть аполитичным. Например: если бы мне представилась возможность исколесить всю Испанию, Египет, Абиссинию, но для этого нужно было бы поступить на службу к Муссолини, конечно, нет! Я мог бы участвовать только в антифашистской акции. И т. д.

Тысячи пут определяли мою «несвободу» и это мешало мне в жизни быть последовательным эпикурейцем — в смысле безграничной любви к жизни и миру.

Одной из самых грубых и первичных пут — материальная необеспеченность, она, может быть, никогда не была целью моей жизни — этому способствовала среда, в которой я вырос, и дальнейшая судьба. И внешние, и органические начала вырабатывали определенное мировоззрение.

Благослови высокую судьбу,
Мы бедствия и странствия узнали.
Вне всяческих благополучий.
Не стал ли мир для нас светлей,
Мы сами чище и добрей,
А наша жизнь полней и лучше?

С молоком матери — органическое отвращение к делячеству, исходившее из дворянской военно-служилой среды (высокомерно-презрительное «я дворянин, а не делец») и повышенного отношения к «идее служения», идеи по существу чуждой буржуазному мировоззрению. В свою очередь, высокомерно-презрительная реплика Ремизова (о Швейцарии) — «У нас служат только почтовые чиновники и военные». И соответственно со стороны военно-дворянской служилой среды — высокомерно-презрительное отношение ко всему буржуазному складу.

Любопытно — Николай Александрович Бердяев любил утверждать, что именно из этой анти буржуазной настроенности, от этого органического отталкивания от буржуазности и родился

наш «дворянский — как он называл — социализм» среди дворянской интеллигенции.

Впитывалось с детских лет презрительно-осуждающие суждения взрослых: NN — карьерист! или «кондитер» (не офицер, а кондитер!), и наоборот уважительно-поощрительное: это честный службист (служака). И отцовская фраза: «Служба — на первом месте, семья и все остальное — на втором».

Мы спасены от снос благополучья.!
И острый парус бедственней ладьи
Царапает и разрывает тучи.
Спасенье или гибель впереди?
Но никогда с такой предельной силой
Во мне не трепетало чувство «мы».
Я знаю, это бедствия открыли
Сердца и теплотой прожгли умы.

(Юрий Софиев — Н.Ч.).

(Обрывок конверта с адресом Виктора Мамченко: «Франция, EXP V. Mamtchenko. 23, rue Pasteur 92 — Meudon. France» — Н.Ч.).

**34.**

Суббота, 15 октября.

Опять сильнейший приступ — резкая длительная боль в сердце. Минут 20 пролежал на кровати в полном одиночестве, пытаясь обратить на себя внимание стуком в стену к соседям — тщетно. Встал, добрался до дверей, крикнул Катю. «Скорая помощь», которая в свою очередь <вызвала> «инфарктную» машину. Электрокардиограмма. — Результаты неясны. В итоге опять больница. Резкая и почти непрерывная аритмия, иногда доходящая до резких болей в сердце.

**35.**

Из цикла «Память Черномора».

Снежная оторопь степью курганною
Крылья раскинула в дальний полет;
Солнце февральское розою алою
Вспыхнула в окнах и будто поет.

Дева высокая, убрано белая,
Снежною пылью стоит у окна;
Мать все поет, у стола что-то делая.
Плачет о деве — как дева бледна…

Что же в окно, среди снежного шепота,
Снежного чуда и детского сна,
К мальчику тихо из вьюжного пропада
Солнечным, тополем бьется весна…

Дивная песня метелится ветрами,
Жарко взлетает, как искры в огне,
Смотрит в глаза его буднями светлыми,
Инеем звездным мерцает в окне.

И не уйти от тревоги и радости, —
О, как родная рука горяча!..
Мальчику страшно от песни и жалости, —
У материнского плачет плеча.

Виктор Мамченко.

**36.**

…Милый Гриша Лаврененко приводит меня иногда в состояние невменяемости — он заботлив, по-родственному близок, но все-таки это такой музейный экспонат, что выслушивать его рассуждения — для меня самоубийство.

Его отрада кинокартины из прежней жизни, в особенности с участием военных. Причем радует не содержание, а созерцание форм — гусарских, уланских и пр.

Раскритиковал I часть «Войны и мира»:

— Как же это так? Не показать атаку кавалергардов при Аустерлице?

— Неужели тебе недостаточно батальных картин на наших экранах? — спрашиваю я.

— Как, как это? Это знаменитая атака кавалергардов, такая красота!

— Нет, Гриша, слава Богу, что воздержались еще от одной очередной батальной бутафории.

Однажды очень возмутился, заметив в каком-то фильме, что на гусарских штанах, вероятно сзади, был вышит какой-то узор, не соответствующий уставному!

Но вообще его судьба по-настоящему плачевна. У него четыре сестры старшая недавно умерла в Ленинграде, так и не повидав Гришу), дядя академик Ив. Ив. Мещанинов. Одна из сестер, Маруся, в Москве за инженером-медиком Пузицким, который в юности тоже бывал в семье Мещанинова, и за 11 лет никто его не позвал к себе, хотя бы чтобы повидаться после 30-летней разлуки.

С людьми этого склада произошло печальное недоразумение. В свое время на чужбине война, тревога, боль и гордость за Родину, искренний патриотизм взбудоражили их души, но не внесли ясности ни в ум, ни в сердце. Не сделали их новыми людьми. Не о них я думал, когда писал:

…С прошлым расстались навеки
У больших европейских дорог.
Повесть о человеке,
Что дважды родиться мог…

Они прошли мимо главного, мимо смысла и чаяний Октября.

…Ни фабричный гудок и лопата
(…Трудный опыт, прошедший не зря,
Нам открыли, жестоко и внятно,
Смысл и чаянья Октября).

Не поняли и по существу остались чуждыми основному источнику нашей жизни и потому со всем своим русским, а не советским патриотизмом смотрят назад, в прошлое, и не способны, конечно, смотреть вперед, в будущее.

Я думаю — таким, как Гриша, а их немало, куда было бы уютнее доживать свой век в привычной для них эмигрантской атмосфере, за стаканом пинара встречаясь со старыми друзьями, для которых и до сего дня значительно и отрадно вспоминать, какой узор носили они на своей гусарской или уланской жопе при царе Горохе.

**37.**

(Газетная вырезка «Тайна «Острова смерти», «Известия», № 219 (15307), 1966 г., где рассказывается об экспедиции четырех английских ученых на остров Гринард, расположенный в миле от

пустынного шотландского побережья Западный Росс. Остров был поражен сибирской язвой. — Н.Ч.)

Все, что пишешь о твоих литературных бедах, все это очень мне понятно. «Милые и умные», далеко не «по неисповедимости путей Господних», часто поступают далеко не по-милому и не по-умному.

Скажи мне правду — для кого печатались «воспоминания» Шебанова?

Между прочим, сколько я не просил выслать мне эти издания — ни привета, ни ответа. Хотя Юр. Светличный обещал мне… (дальше порвано — Н.Ч.) он зачем-то испортил целую (машинописную?) ленту на меня. Разве что для …(порвано — Н.Ч.) издания для связи с зарубежными соотечественниками. Они распространяются только у вас. И ведь не для дефективных же детей это пишется. И разве нельзя это поднять на уровень хотя бы относительного лит. мастерства и с какой-то совестливостью по отношению к правдоподобию (это, вероятно, отрывок письма к В.Мамченко — Н.Ч.)

**38.**

(Вырезка стихотворения Юрия Софиева с его комментариями — Н.Ч.)

Ты шла тропой кремнистой над потоком,
С тяжелою вязанкой на плечах,
В той юбке черногорской, в той широкой,
Что черной птицей реет на ветрах.

Весной овец с тупыми бубенцами
На пастбища альпийские гнала,
Где над обрывом, солнечными днями,
Следили мы за реяньем орла,

Где ночью голову мне на колени
Ты клала. Тишина росла в горах. (Склоняла)
Моей страны чудесные виденья
Вились и плыли в дыме от костра.

Рассказам о неведомой России
С какою жадностью внимала ты,
И, может быть, такой была впервые
От счастья, нежности и теплоты.

Мы в этих скалах били из винтовки,
В соревновании дырявя цель.
Для быстроногой черноглазой Новки
Сиял её семнадцатый апрель…

(Но шли года и мирный быт был скошен
Смерчем войны и яростью врагов.
Враги топтали кованой подошвой
Простой уют славянских очагов.)

(Эти строки были потом изъяты — Н.Ч.).

Не каждому дана судьба героя,
Хоть трудно женщине оставить дом,
Ушла ты партизанкою простою,
Чтоб смелой птицей реять над врагом.

(Последняя строка зачеркнута, вписана другая:
«Три трудных года билась ты с врагом» — Н.Ч.)

Судьбу твою запечатлел, запомнил:
Двенадцать пуль в бестрепетную грудь!
Да, в той заброшенной каменоломне,
Где ты мне говорила: «Не забудь!»

Ю. Софиев.

Обнаружил при раскопках гранки газеты «Советский патриот», Париж, 1946 г. rue Galliera.

**39.**

«Все прогрессы — реакционны, если рушится человек». Когда я напал на эту строку Андрея Вознесенского, мне показалось что поэт взял все мои мысли, всю мою взволнованность, искания, мучения, откровения моих последних лет и воплотил все в эту изумительную строчку. И с этого момента Вознесенский предстал мне совсем иным — единомышленником, соратником, сказавшим о «самом главном», о самом страшном, что присуще нашей эпохе.

Смутно, но настойчиво веду я свой спор с «дьяволом — Мыслителем»; по-прежнему прихожу на балюстраду Notre Dame le Paris, или просто стою внизу, у ночного портала, а он, подперев голову ладонями, смотрит холодно и насмешливо на меня, на Париж, на мир, на историю — один из самых ее «прогрессивных деятелей».

Ненависть моя к нему безмерна.

И кровь, восставал, швыряет мне (…)
Обломки застрявшие снов:
И ненависть крови, и ненависть веры,
И ярость во имя своей конуры,
И (…) доблести древней дары.
«Во имя, «во имя» лютуют без меры
С начала времен и до нашей поры.

«Во имя» античной доблести, «ad majoren Gloria Dei», «pro patria», «во имя любви к человечеству» и т. д. и т. п. И — убить! Убить! Убить! Убить! И хотя я вовсе не какой-нибудь «непротивленец» и вполне одобряю бравого генерала из «Трех разговоров»

В.Соловьева, покорившего башибузуков, но всем своим существом знаю, что всякое «во имя» сомнительно, когда это рушит человека, и еще знаю:

Вне человечности, без соучастья,
Вне доброты нельзя построить счастья.

И что — Доброта не только дар, но путь
Единственный из множества возможных.

И что — Бесчеловечность оправдать нельзя
Ни полуправдой, никаким «во имя».

И что XX век не только великий, но и страшный, потому что –

Двадцатый век! Он искалечил души
Насильем, ненависть и борьбой.

И еще…

Кто человечен,
Тот не смеет,
Для того невыносимо
Забыть
Ни Аушвица,
Ни Колымы,
Хиросимы!

XX век, пожалуй, он выполнял, самоотверженно и героическим, необходимую черновую работу истории, но нужно сознаться честно — часто марая не только руки, но души, и не только грязью, но и кровью, и тем самым «руша человека».

В прекрасных стихах это увидел и показал Наум Коржавин, тоже ставший мне особенно дорогим.

…Я понял,
Что борьбе отдала ты
И то, что нельзя ей отдать.
Все! — возможность любви,
Мысль и чувства и самую совесть, —
Всю себя без остатка…
А можно ли жить без себя?

И еще его слова:

Зло во имя добра!
Кто придумал нелепость такую
Даже в трудные дни,
Даже в самой жестокой борьбе,

Если зло поощрять,
То оно на земле торжествует
Не во имя чего-то,
А просто само по себе.

Вот почему «ветхий Адам» не построит нового мира.

**40.**

21/I 67 — отправил письмо Голенищеву-Кутузову

23/I — и Прилепскому

23/I — простой бандеролью книгу с(…) Леве (Льву Бек-Софиеву в Париж — Н.Ч.)

28/I — открытку Сосинскому

(Вырезка из книги, орфография с ятями — Н.Ч.)

Союз молодых поэтов и писателей в Париже. Сборник стихов № 2-й, 1929 г.

Юрий Софиев

***

Три сновидения владеют мною.
Три давних сна свиваются в один.
С волненьем тайным, лишь глаза закрою,
Предчувствую движение картин.

Вечерний синий и прозрачный воздух
Снов неправдоподобных, редких снов —
И призрак миротворный, призрак грозный
Тысячелетних каменных домов.

Из стиснутых — о, этот камень темный —
Нагромождений труб, домов и скал,
— Из недр земли и к небесам взметенный —
Всегда таким, мой город возникал.

И сон другой: встает перед мной
Мир скал, гранита, мрамора и глины.
Упорно в гору камень голубой
Несут строители, напружив спины.

Хоть погребут бессчетные века
Под остывающею плотной лавой
Тяжелый труд — упрямая рука

Возводит к небу остов остроглавый.

И третий сон: опять прозрачный вечер,
Голубизны небесной вечный снег,
Сползающий к долине синий глетчер
И восходящий к звездам человек.

(«И к звездам к звездам человек» — дописано рукой Ю. Софиева — Н.Ч.).

**41.**

(Газетная вырезка со стихами Виктора Мамченко и правкой — Н.Ч.).

Веет снегом, веет зыбко
Из заснеженных полей;
Белоснежная, улыбка (снежнозубая улыбка)
У красавицы моей;
Ее они лучевые
Часто вижу я во сне (и во сне);
Вся звучит — как ключевые
Воды в солнечной весне;
С новогоднею звездою
В косы месяц заплела,
Чтоб надежда над землею (красотою)
Счастьем-лебедем плыла;
С Новым годом — в счастье новом,
И, влюбленность не тая,
Вверх, бокал свой, с добрым словом —
(Вверх бокалы, с добрым словом)
Крепни, Родина моя! (Это Родина моя!)

Виктор Мамченко.

«Голос Родины», 1966 г. Красными чернилами — первоначальный текст, «исправленный» редакцией — рукой Виктора у нас его текст — в скобках, — Н.Ч.).

(Газетная вырезка «“Признания Коха” тайна похищения янтарной комнаты приоткрывается» Ю.Пономаренко — Н.Ч.).

**42.**

(Газетный разворот со стихами «Одна земля, одна любовь», антология современной поэзии, где представлены: Н.Тарасов, Наум Коржавин, В. Корнилов, Б.Ахмадуллина, В. Сидоров, Р. Заславский, Т. Бек, Н. Старшинов, М. Борисова, С. Островой, Б.Слуцкий, Н. Злотников, Л.Васильева — Н.Ч.).

**43.**

«Употреблять в стихах слова «родина», «отечество», «Россия» считалось предосудительным, «старомодным», взятым напрокат у чуждых революционному духу поэтов. Перелистай страницы журналов и поэтических сборников тех лет. Самые разнообразные по форме и содержанию стихи имели одну общую черту: робость, когда речь шла о земле, на которой мы были рождены», А. Коваленков «Письмо старому другу», 1957 г.

В этом же письме признание, что ему «стыдновато вспоминать о кое-каких своих поступках».

— Только ли стыдновато?

(неразборчиво, французская фраза — Н.Ч.)

…Блока час настал.
Горит его магический кристалл —
Вселенской диалектики основа.
Все для большого синтеза готово!
Вот — внук того, кто Зимний штурмовал.
Любуется бессмертьем Гумилева…
Народный, разум, все ему простил —
Дворянской чести рыцарственный пыл
И мятежа бравурную затею —
Прислушайтесь: над сутолокой слов
Его упрямых, бронзовых, стихов
Мелодии все громче, все слышнее.

Это стихи Гнедич Татьяны, из № 1-го «Простора», 1967 г.

Бутовский сегодня рассказал мне, что она замечательная переводчица и поэтесса, хвалил ее перевод «Дон Жуана». Сидела во время культа. (…) в Ленинграде. Все для большого синтеза готово. И этот синтез доказывает относительность принципа партийности литературы, поэзии, вообще искусства. Подлинно великое и прекрасное несоизмеримо со злободневным. Все эти «внуки», которых я вижу, являются живым доказательством, но

живое искусство всегда связано со своим временем, но всегда больше «подсобной роли», больше, чем полезный митинговый плакат, оно бессмертное свидетельство о преходящем. «Хорошо», сослужив свою службу, вряд ли перешагнет в «вечность», вряд ли останется там хорошим, а вот «Облако в штанах» и лирика М. обеспечат ему прочное место в искусстве, и это навсегда «хорошо». Помнит ли кто-нибудь Маяковского, кроме Эренбурга, сочиняющего в 1914-15 годах, падким к патриотическим лубкам:

Немец рыжий и шершавый
Разлетался над Варшавой и т. д.

Но есть еще ослы, которые «большой синтез» — движение вперед — творческое спаивание, срастание разрыва культурной традиции народа, склонны считать за «отступление», за «отступничество» — скажет обнаглевший Иван: «За что боролись?» и эти склонны прислушиваться к дикому беснованию безмозглых юнцов Мао, о нашем «реваншизме» и прочем дичайшем вздоре. Китайская эпидемия безумия. С мерзейшим националистическим душком, с постыднейшей вакханалией насилия и фанатизма, нетерпимости, и прочих мерзостей.

Кстати, эти стихи Гнедич из «Венка сонетов» я прочитал сегодня в I номере «Простора» за 67 г., впервые, естественно, т. к. I номер «Простора» только что появился, а о существовании Гнедич я ничего не знал, и обычно «любопытное совпадение», из которого будущий критик мог бы размышлять — сопоставляя-обвиняя в заимствовании и плагиате и т. д.

Вот мои стихи, написанные еще в октябре в больнице.

Ищу всегда среди простейших слов
Лишь, которые необходимы.
Со скупостью, с тоской неповторимой —
Как труден и нерадостен улов!

И мне, мой друг, милей всего другого
Звучание и сочетанье слов.
Прислушайся, как бесподобно слово!
Как чрез магический кристалл мир снова
Прекрасен, свеж и нов.

Октябрь, больница.
Забавно!

**44.**

(Газетная вырезка «Служба здоровья. Ходите побыстрее», — Н.Ч.).

**45.**

(Конверт с газетными вырезками:
1. Статья Ив. Ал. Бунина «Записная книжка», «Возрождение» 28/ X 1926 г. Париж
2. Открытое письмо И.А.Бунину Модеста Людвиговича Гофмана, помещенное в «Последних новостях», Париж, 9/ XI 1926 г. — Н.Ч.)

**46.**

(Газетная вырезка «Голос Родины», № 94(943), ноябрь 1965 г., о награждении соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии: Вера Оболенская, Георгий Шибанов, Алексей Дураков, Михаил Гафт, Кирилл Радищев — Н.Ч.)

**47.**

(Газетная вырезка. «Известия», 28/I, 1967 г. «Слово Катаева» Ираклия Андроникова — Н.Ч.).

**48.**

(Газетная вырезка из «Голоса родины»: «Третий пленум советского Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом», Г.Евдокимов, В.Резников, Б.Валентинов. На фото: Группа участников Пленума: член авторского совета редакции «Голоса родины» В.Б. Сосинский, редактор газеты «Голос Радзимы» Л.Я. Прокша, член Советского Комитета митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, председатель Товарищества по культурным связям с украинцами за рубежом писатель Ю.К. Смолич — эта фамилия подчеркнута Ю.Б.Софиевым, он знал и его, и Сосинского — Н.Ч.).

**49.**

(Целая страница посвящена Алексею Дуракову — из газетных вырезок: «Патриоты земли русской в Зарубежье», портрет А.Дуракова, заметка: «Удивительно светлый образ талантливого

поэта, милейшего человека и настоящего патриота Родины сохранился в памяти всех, близко знавших в эмиграции Алексея Петровича Дуракова.

Наши сведения о жизни и творчестве поэта в эмиграции до последнего времени были довольно скудными. Вот что рассказал репатриант Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, близко знавший поэта в течение многих лет жизни на чужбине», «Голос Родины», стр. 6, ноябрь, 1963 г., № 64 (765). Далее идет статья «Поэт. Борец. Партизан», — Н.Ч.).

**50.**

(Конверт пустой, от Майдановича из Московской области, Зареченск, приписка Ю.С. — «Очень ценные для меня сведения Алексее Дуракове». Ниже еще запись:

«Разве совместима семейная жизнь с мелочностью и злобой архимещанства?» — Н.Ч.)

**51.**

10/II 67 г.

Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей.

О. Мандельштам.

Один из самых страшных символов-видений нашего века — концентрационный лагерь. Бараки, бараки, бараки до ужаса единообразные, мертвящие душу, выровненные по линейке, с дорожками-линейками, с двух-трех этажными нарами, или с двухэтажными койками, с общими умывальниками, с общими нужниками, с общей столовой, обнесенные колючей проволокой, с воротами, с будками для охранников, саамы страшные — с вышками, рвами, током, собаками, но еще страшнее, с людьми-хозяевами, которые принимают эти лагеря, представителями власти, которая лагеря создала; глупейшая фраза, когда об этих людях говорят, что «они хуже собак», кощунственная фраза — как можно сравнивать этих двуногих гадов с благородными, преданными четвероногими друзьями человека, настоящего человека.

Символ-видение — абсолютной анти человечности.

Символ-видение — хамского затаптывания человеческого достоинства.

Я не сидел в лагере с вышками, рвами, током и собаками — меня спас от этого «чудесный случай», встреча, — уж куда более случайную и необычную и не придумать! — с Грегори Александром Николаевичем (к стыду моему, я не уверен в его имени отчестве), а если бы не он, то я вряд ли избежал бы этой участи. Но я сидел в лагере Oderlerg marc — просто в лагере для вывезенных насильно иностранных рабочих, regnis S. T. O., и, к счастью, я был в лагере с французами.

Но на всю жизнь у меня сохранилась мечта к чему угодно, как якорь спасения, как греза, к палатке, вигваму, коттеджу, но только не к однообразным, казарменного типа, многоквартирным, с какими бы то ни было удобствами, каменным коробкам; вероятно, совершенно подсознательно они мне напоминают проклятущие бараки.

А вот 1969 г.

(Газетная вырезка «Концентрационные штаты Америки», «Комсомольская правда», 13/ 8, 69 г., где Ю.С. очеркнул для себя абзац: «Семнадцать лет назад по всему миру впервые распространился слух, который в то время многих потряс. Ряд депутатов в парламентах Франции, Бельгии, Италии и Японии выступили с заявлением о том, что в планы США по подготовке войны включен пункт о создании концентрационных лагерей для местных «подрывных элементов» — Н.Ч.)

Сие дело может действительно «потрясти многих». Видимо это становится «буднями XX века».

**52.**

Вчера я случайно вспомнил Грегори, о том, как эта встреча спасла меня от гитлеровского штрафного лагеря, а может быть, и от Бухенвальда или Аушвица.

И лежа в кровати, перед сном, перебрал в памяти семь случаев в моей жизни, когда совершенно не задумываясь, прошел я совсем рядышком мимо трагического конца собственной судьбы, прошел, миновал, и пошел дальше.

В юности я был на войне, два года. Был в строевых частях, в конной артиллерии, участвовал в боях. Тут до смерти бывает не «четыре шага», какая-то доля миллиметра. Это в строчку. Вероятно, к счастью — я служил в артиллерии, и за два года войны, я никого собственноручно не убил, не зарубил, не взял в плен, за эти два страшных года братоубийственной бойни никого не расстрелял, никого не предал, не выдал, не ударил. Я не был трусом. И поскольку я воевал, конечно, и я несу страшную ответственность за содеянное.

Не отдавая ясного отчета,
Но юности ни мало не щадя,
Мы честно бились. Ты — у пулемёта,
У жарких пушек честно бился я.

И еще, у меня не было ненависти, кроме ненависти к человеческой жестокости, к фанатизму, к человеческой кровожадности, узости, к человеческой мстительности, мне одинаково был нестерпим и ненавистен белый террор, так же как и красный. И эту ненависть к жестокости, к бесчеловечности, к тупой нетерпимости и ограниченной «прямолинейной принципиальности», я пронес через всю мою жизнь. А наивысшим даром, которым может обладать человек, самым прекрасным даром, что по существу и делает человека человеком, считал доброту. Мягкое, чуткое, доброе, отзывчивое человеческое сердце. В общем, единственные маяк и компас, которые бы могли человеческую жизнь сделать подлинно человеческой. Но как? — но ведь и другие, что ни на есть самые «действенные», «мудрые», «принципиальные» и тому подобные способы, пока что сделали не больше — из lupusa пока что не сделали человека — не зверя. Конечно, маниловщина ничего общего с добротой не имеет.

**53.**

(Газетная вырезка: Роман Белоусов «Ключ к хижине дяди Тома» — Н.Ч.).

«Хижина дяди Тома» наряду с Тургеневской «Муму» произвела на меня в детстве потрясающее впечатление. Оба эти произведения питали мою непримиримую ненависть к человеческой жестокости по отношению к человеку (слабому и беззащитному) и к животным (тем более беззащитным), ибо жестокость и бесчеловечность не может быть оправдана ничем, ни в какой борьбе, никакое «во имя», во имя чего бы то ни было не может сделать их «справедливыми и гуманными», хотя фанатики борьбы и ненависти «во имя…» всячески пытаются изобразить их «некой подлинной гуманностью». Вздор и ахинея!

**54.**

(Газетные вырезки «Пекинский дневник» В. Федорова и другие материалы о культурной революции в Китае, где есть комментарии Ю.С. Подчеркнута фраза: «Это создает невыносимую атмосферу страха» и приписка Ю.С.: «1937!» —

Н.Ч.).

**55.**

27/ II

Болею. По радио «Осенняя песня» Чайковского, исполняет Лев Оборин. Очень хорошо. А за окном мерзейший день. Туманная изморось, грязный тающий снег, темное грязное серое небо. В пятом часу утра проснулся от удушья, от мерзкого состояния. В десять часов прибежала Зоя — с задачей по геометрии. Я выпил пол стакана молока — и почувствовал себя очень плохо. Лег. Часа через два отлежался. Разжег печь. Пошел в магазин за мясом. Сделал обед. Но чувствую себя плохо. Все делаю усилием воли.

Написал письмо Т.Сиротину, в паспортное бюро М.В.Д., отослал анкету, насчет приезда Раи. Ее приезд намечается на август-сентябрь. Нужно прожить полгода. А вот я уже полгода болею и врачи не позволяют мне работать. Улучшения — не чувствую. Начало конца? Одиночество страшное. Тревога. И свой собственный суд, нелицеприятный, над собственным пройденным путем.

Среди разбросанных воспоминаний
К дням неоправданным опять иду.

Сознание непоправимости. И никого вокруг.

Как ничтожно мало сделано. Как бессмысленно, лениво размотана жизнь.

**56.**

«Международное обозрение», В.Маевский (о публикации в газете «Уорлд джорнэл трибюн» Дж. Олсона о советско-английских переговорах по вьетнамскому вопросу, иностранный журналист по мнению В.Маевского пытается неуклюже «подпустить каплю яда в советско-французские отношения» — Н.Ч.)

Подобный метод информирования населения, все-таки, неизменен, вызывает раздражение.

Можно спросить тов. Маевского: для кого он это пишет? Если для Олсона в порядке полемики с ним, то это можно сделать в частном письме.

А если в порядке публичной информации, тогда он должен помнить, что обыкновенные смертные, читающие его статью, не имеют возможности купить в соседнем киоске «Уолрд джорнэл трибюн» и ознакомиться со статьей Олсона, и хорошо бы, если бы тов. Маевский писал менее загадочно:

«Неуклюжие попытки пуститься в фантастические домыслы

по поводу недавних советско-английских переговоров».

**57.**

(Газетная вырезка М. Подключникова «Звучит набат», «Правда», г. Берлин и «Бонн поперек дороги», из статьи В. Маевского, «Международное обозрение», «Правда», 3/III, 67 г. — Н.Ч.).

**58.**

(Вырезка со стихами семена Кирсанова «Утренние годы» — Н.Ч.).

Здорово! Очень хорошо это повторяемое «мы»:

Мы не урны, и мы не плиты,
Мы страницы страны, где мы
Для сверкающих, глаз открыты
За незапертыми дверьми.

Вообще все стихотворение подлинная «магия поэзии».

**59.**

20/ III

Из письма В.Сосинскому

Как Работается Алеше Эйснеру?

Как-то мне попался старый журнал «Иностранной литературы» с его статьей и его портретом — очень я обрадовался этой «встрече», но Алексея не узнал. Если бы мы столкнулись на улице лицом к лицу, вероятно, я бы прошел мимо незнакомого мне гражданина. Но в сердце своем я всегда храню его с большой дружеской любовью, радуюсь его успехам, грущу, когда думаю о его трудной судьбе, негодую, что он забросил поэзию. Но, зная его, почему-то уверен, что все превратности судьбы не смогли, вероятно, ничего поделать с его «вечной молодостью» и драгоценным беспокойством. Друзья юности! Теперь я как-то особенно бережно храню не только живую, теплую, но и благодарную память о них, ибо каждый из них был щедрым взаимодавцем, обогатившим мою жизнь.

Потому что среди неимоверного множества мерзавцев
было в этой жизни наконец
столько нестерпимого сиянья
человеческих больших сердец.

**60.**

21/ III — отправил письмо Сосинскому.

Григ. Петников «Второй председатель Земного Шара». Первый — Хлебников.

Не говори, мой друг,
Ты знаешь сам:
Здесь вырваны листы,
Там не хватает строчек…
Ну, что ж!
Они вернутся светлой ночью,
А утром гаснут — как звезда —
Потом, заполнив темный прочерк, —
Всю правду
Скажут нам в глаза.

1956 г.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — от того,
Что не любить оно не может.

**61.**

(Газетная вырезка со стихами: «Поэты начала XX века» из серии «Библиотека поэта» — К.Бальмонт, Ф.Соллогуб, Вяч. Иванов, Н.Гумилев, М.Кузмин, В.Ходасевич — Н.Ч.)

**62.**

Венец, то же, что и венок — сплетенные в виде круга листья, цветы. В. из васильков, лавровый В., венец терновый.

Венчик.

В. Шкловский

«Потом пришла война (1914 г.), и многие из нас пошли добровольцами. Пошел Пяст и не вернулся — попал в сумасшедший дом. Пастернака не приняли — не помню, почему. Маяковского принять побоялись».

Дело не в том, как все меняется, но как легко все забывается, и на этом основании из человека и из событий позднее делают миф, совершенно не похожий на реального человека и на реальные события. Маяковский после объявления войны (1914 г.), охваченный «империалистическим патриотизмом», около памятника ген. Скобелеву, читал стихи «Война объявлена» (?).

И сочинил подписи для лубков:

«Немец рыжий и шершавый
Разлетался над Варшавой».
«У союзников французов
Гадких (?) немцев целый кузов».

Брюсов писал стихи не менее воинственные.
(Свидетельство Эренбурга).

**63.**

«…Галич, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии…

— Вы слюнтяй, — ответил Галич, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев… Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку».

Может быть, все это и так. Но Галичи — функция времени, величина, зависящая и переменная, выполняющая необходимую для каждого времени работу.

А «очкастые слюнтяи» — величина, к счастью для человека, постоянная. Бабель. Осип Мандельштам.

Сколько не кидается на их «плечи век-волкодав», а они — «не волк я по крови своей».

Сколько бы не зверел человек, а курилка все-таки жив. Жалость-любовь, доброта, доброжелательство, широкое понимание сложности и противоречивости человеческой души,

презрение к насилию, человеческое достоинство — словом, подлинная человечность, без этого нет человека, без этого становится бессмысленна борьба.

Только на этом можно построить подлинно человеческое общество.

Помни! Только ради человечности
Стоит строить, (…) и жить.
Ю.С.

**64.**

(Конверт с надписью: «Анна Ахматова об Осипе Мандельштаме», в конверте — машинописный текст с пометкой карандашом: «Юрию Борисовичу» и автографом Ахматовой в конце послания — Н.Ч.).

О.Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне в Нащокинском говорил Пастернаку: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из 12 томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений!»

… К этому времени М. внешне очень изменился (к началу 1934), отяжелел, поседел, стал плохо дышать — производил впечатление старика (ему было 42 года), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже… Во всем XX веке не было такой прозы. Это так называемая «Четвертая проза».

…18 мая 1934 г. его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к М-ам из Ленинграда, где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым. Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты — последний, данный Ремизовым в России… Ордер на арест был подписан самим Ягодой… Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи. Ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате, было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» и показал 03. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня.

… Пастернак, у которого я была, в тот день пошел просить за М. в «Известия» к Бухарину, я — в Кремль к Енукидзе (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов через секретаря Енукидзе). Е. был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку (Приговор: «Три года Чердыни», где О.Э. выбросился из окна больницы. Потому что ему показалось, что за ним пришли, и сломал себе руку, — см.

«Стансы». (Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место, потом звонил Пастернаку.*). Остальное слишком известно.

* Все, связанное с этим звонком, требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы — и Надя, и Зина — и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни!), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку. Еще более поразительными сведениями о М. обладает Роберт Пейн в книге о Пастернаке. Там чудовищно описана внешность М. и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией З.Н.П., которая люто ненавидела М-ов и считала, что они компрометируют ее «лояльного мужа». Надя никогда не ходила к Б.П. и ни о чем его не молила, как пишет Пейн. Эти сведения идут от Зины, которой принадлежит знаменитая бессмертная фраза: «Мои мальчики больше всего любят Сталина, потом маму».

…Бухарин в письме к Сталину написал: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с М. будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если б мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» — «Писательские

организации не занимаются этим с 1927 г.» — «Но ведь он ваш друг?» — Пастернак замялся и Сталин после недолгой паузы продолжал вопрос: «Но ведь он же мастер? Мастер?» — Пастернак ответил: «Это не имеет значения»… (Б.Л. думал, что Сталин его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы). «Почему мы всё говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». — «О чём?» — «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

…О. очень долго не везли (на Казанский вокзал). Он был в таком состоянии, что даже они не могли посадить его в тюремную карету. Ехали они под конвоем читавших Пушкина «славных ребят из железных ворот ГПУ»… А в это время на I-м съезде писателей… Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Д. Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова о М.

…Пастернак и я снова ходили к очередному верховному прокурору просить за М., но тогда уже начался террор и все было

напрасно.

…Артур Сергеевич Лурье, который близко знал Мандельштама и который очень достойно написал об отношении О.Э. к музыке, рассказывал мне (10-ые годы), что как-то шел он с М. по Невскому и они встретили невероятно великолепную даму. О.Э. находчиво предложил своему спутнику: «Отнимем у нее все это и отдадим А.А.» (Точность еще можно проверить у Лурье). Комарово, 8 июля 1963 г.

А.Ахматова.

За гремучую доблесть грядущих, веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей —
Запихай меня лучше как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских, степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
И сосна до звезды достает —
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

1931.

На вечере памяти М. в МГУ (13 мая 1965, мехмат):

К.Чуковский: М. был великим русским поэтом для узкого круга интеллигенции. Он станет народным, это неизбежно, когда… весь народ станет интеллигентным (Смех, аплодисменты).

И.Эренбург (Председатель), (Приглашает на сцену Надежду Яковлевну. Гром аплодисментов. Н.Я., обернувшись к залу: «М. писал: «Я к величайшей славе не привык…» Забудьте, что я здесь. Спасибо вам»).

Н.Л.Степанов: «Я поехал в Москву, пришел в дом Герцена и

спросил беспечно и развязно первого же встречного: «Где живет поэт М.?» Он ответил: «Это я». Я вручил ему благоразумно всего лишь четыре стихотворения. Он их прочел. Неважно, как он отнесся к ним (Смех), но… во всяком случае, с большей деликатностью, чем вы (Снова смех).

Студент МГУ Борисов (о котором Эренбург сказал в закл. Слове: «Для меня самым лучшим был студент, чудесно читал М. «Петербург, я еще не хочу умирать — у тебя телефонов моих номера, Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса…»).

**65.**

(Газетная вырезка Мария Терентьева «Открытое сердце», Страницы воспоминаний. О Иване Катаеве и тут же рассказ Ивана Катаева «Возвращение» под рубрикой «Из неопубликованного и забытого» с пометкой: «Этот рассказ Ивана Катаева был напечатан в журнале «30 дней» в 1927 году», «Литературная Россия», № 42 (250) 13 октября 1967 г. — Н.Ч.)

**66.**

(Целый разворот фотографий из журнала и статья «Размышления о Старой Руссе» с комментариями Юрия Софиева — Н.Ч.)

Старая Русса. Преображенская улица, дом № 8, — дом деда Николая Семеновича Родионова, Старогоспитальная улица — дом теток, тети Кати и Веры.

Ты помнишь, как бежали мы с тобой
По снегу рыхлому на (…) лыжах.
Проваливаясь в снег по пояс, «Бой», —
Твой пес в подпалинах волнисто рыжих.
Стояли Старорусские леса…

**67.**

Юрий Софиев
ВСТРЕЧИ С ИЛЬЕЙ ЭРЕНБУРГОМ

До войны, живя в Париже, И.Г. Эренбург держался в стороне от эмигрантов. Познакомиться с ним мне удалось после войны. Когда я работал в редакции газеты «Советский патриот» — органа Союза советских патриотов, переименованного после Указа от 14/VI 1946 г. в Союз советских граждан. Газета выходила до 1947 г.,

потом была закрыта французскими властями. Ее редактором был проф. Одинец, секретарем — аркадий Вениаминович Руманов, в прошлом директор газеты «Русское слово», издававшейся Сытиным в Петербурге.

Летом 1946 г. Эренбург и Симонов были в Париже, и редакция «Советского патриота» и все примыкавшие к ней литераторы (почти все члены «Объединения русских писателей во Франции») пригласили их на вечер к Руманову в 15-й аррондисман Они согласились прийти.

Собрались: Руманов с женой Лией, Александр Гингер и его жена Анна Присманова, Антонин Ладинский, Владимир Корвин-Пиотровский, Александр Бахрах, Георгий Иванов с женой Ириной Одоевцевой, Георгий Адамович, я, Георгий Раевский (младший Оцуп). Вероятно, был и Николай Оцуп. Не было Михаила Струве и др.

Встреча была назначена на 9 часов, но гости пришли в 10. Они извинились: где-то ужинали. Была милая, простая беседа. На столе — холодная закуска, чай, французское сухое вино.

Симонов держался очень просто, с ним была непринужденная беседа, он охотно читал «Ты помнишь, Алеша» и другие свои стихи. Эренбург был несколько официален и сдержан. Когда Георгий Иванов представил ему Ирину Владимировну Одоевцеву и сказал: «Мы, Илья Григорьевич, друг друга хорошо знаем», — И.Г. холодно ответил, что не встречался. Лучше он отнесся к Гингеру и Присмановой, с которыми и раньше встречался (у них были советские паспорта).

Мы задавали И.Г. вопросы о нашей поэзии: отвечает ли ее стиль духу советской поэзии? Он сказал, что стихи Мартынова, которого он любит и ценит и который долго молчал, по стилю близки к стихам Присмановой и Гингера.

Вечер прошел мило, официальная холодность исчезла. Руманов попросил И.Г. дать что-нибудь для «Советского патриота», и он согласился.

Через несколько дней Руманов послал меня за материалом к Эренбургу, остановившемуся, как обычно, в гостинице «Пон Руаль». Илье Григорьевичу доложили обо мне и попросили меня подождать в холле, так как у него кто-то был. Потом он спустился по лестнице, разговаривая по-русски с каким-то пожилым человеком, похожим на русского еврея. Эренбург кивнул мне, сделал знак, что скоро подойдет, и вскоре, простясь с собеседником, подошел ко мне. Мы разговорились о поэзии. И.Г. сказал: «Я думаю, что многим из здешних не надо ехать домой. Им будет очень трудно». Он повторил, что Гингер и Присманова пишут так же, как Мартынов, и что советские литераторы любят

Мартынова. О себе он сказал: «Я старый человек с устоявшимся взглядом, люблю Ахматову, Пастернака. Перед отъездом был у Анны Андреевны Ахматовой. Вернулся с войны ее сын Лев, полковник. Ей трудно, она пишет главным образом на религиозные темы, ей нелегко печататься».

(На следующий день в газетах появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», и я подумал: вероятно, И.Г. пожалел, что был со мной откровенен).

О советской поэзии И.Г. сказал: «10 % у нас подражают Маяковскому, а 70 % — Некрасову, даже не Некрасову, а Никитину» — и махнул рукой. Я подумал, что у него немного друзей-поэтов.

Не помню, дал ли он мне сразу материал для газеты или попросил еще приехать. Но 26 ноября 1946 г. мы напечатали отрывок из романа «Буря» (До нашей беседы, 19 апреля, газета напечатала другой отрывок из романа, а 2 августа — стихотворение «Летучая звезда и моря ропот…» из книги «Дерево»).

Я еще раз приехал к И.Г. за материалом и получил рукопись. Встреча была краткой, И.Г. спешил, но был со мной приветлив и прост.

Дополнение к сказанному: в разговоре о гонораре или о чем-то подобном И.Г. сказал мне, что А.Н.Толстой оставил после себя 8 миллионов рублей.

Еще дополнение. На вечере у Руманова была Наташа Шестова, дочь известного философа Льва Шестова. Она была замужем за французом. Она попросила меня: когда будете у Эренбурга, напомните ему о моей просьбе. И.Г. сказал мне, что всегда необычайно ценил Льва Шестова. Наташа, оказывается, просила его похлопотать об издании в СССР трудов ее отца. Он попросил передать ей, что никакой надежды на это сейчас нет.

(Тут же газетные вырезки о И.Эренбурге — «Слово прощания» К. Симонова, «Перо гуманиста» М. Бажана, «Писатель, человек, гражданин» А. Суркова, «Похороны И.Г. Эренбурга» — Н.Ч.).

**68.**

(Машинописная перепечатка из «Нового мира», № 12, 1961, стр. 195 заявления «В главную военную прокуратуру от 2 марта 1956 года» А. Фадеева, в котором он, как депутат Верховного Совета СССР, просит ускорить рассмотрение дела сына Анны Ахматовой Льва Гумилева и характеризует саму Анну Андреевну, после постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», как хорошего советского патриота: «Дала решительный отпор всем

попыткам западной печати использовать ее имя, и выступила в наших журналах с советскими патриотическими стихами» и т. д. — Н.Ч.).

Но я ясно помню, как Эренбург сказал мне, говоря об Ахматовой: «…вернулся с войны ее сын Лев, полковник» (встреча с Эренбургом в 1946 г. в газете).

**69.**

(Газетные вырезки: «Встреча с Олешей» К.Паустовского, «Литературная Газета». № 37, 25 марта 1961 г.; «Мастерство и ремесло» Н.Асеева (Творческая мастерская), «Лит. Газета, № 147, 1 декабря, 1959 г.; «Люди смотрят в будущее» Луи Арагона и «Роль рабочего класса в капиталистических странах и единство коммунистического движения» В.Роше (Высказывание французов) — Н.Ч.)

**70.**

(Вложен листок с записью карандашом Ю.С., сделанная вероятно в больнице, — Н.Ч.)

Человек умирает, но все идет своим чередом, молодые шумно говорят о своем — смеются, пришла няня со шваброй мыть пол…

…Наше позднее счастье память хранила
На суровой, скале под высокой луной.
Счастье. Может быть, море его поглотило,
Беспощадной и гулкой ночною волной.

И еще мне запомнился столб семафора
На пустынном, уже заржавевшем пути.
Неужели же неотвратимо и скоро
Вспыхнет мертвый запретный огонь впереди?

Сохнет липовый цвет. Осыпаются листья.
Даже звезды не вечны в бездонной глуби.
Но короткий твой путь все оправдан, осмыслен,
Если что-то сказал, был (ты) добр и мил…

Ночью.
Есенинское:
«И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове».

Почему я не написал такие строчки!

Мое органическое, глубокое мое ощущение жизни с самых ранних лет.

Сердце
…что любит жизнь
И ощущает общность
И родственную близость ко всему (живому).

Из ранних детских образов, на самом дне сердца — потрясение на всю жизнь. Какая-то африканская пещера, больной лев и голый человек, вынимающий из больной львиной лапы занозу.

И ещё образ «рая» — среди людей добродушные звери — львы и пр. хищники. Любовь и (…) — какая — то родственная близость.

**71.**

(Газетная вырезка «Советская поэзия в «обработке» Ольги Карлайл, в антологии, только что изданной в США, извращен революционный и реалистический характер советской поэзии» В. Перцова «Лит. Газета», 1969 г. В этой статье автор возмущается тем, что О. Карлайл перевела советских поэтов по своему вкусу, а не по указанию ЦК КПСС, и вкусы ее не совпадают с советской идеологией. Она обошла первых революционных поэтов, а выделила «второстепенных» по мнению Перцова, у которых нет революционного пафоса. И рядом комментарии Ю.С. — Н.Ч.)

Ольга Вадимовна Андреева (Настоящая фамилия Ольги Карлайл, дочери поэта и писателя — эмигранта Вадима Андреева — Н.Ч.).

Во-первых, то, что Олю Андрееву зовут теперь мисс Карлайл — узнал впервые. Володя Сосинский спросил меня — читал ли я Перцова? Я ему ответил, что в курсе дела!

Ольга выросла в семье Вадима, несомненно, под влиянием не только вкусов отца, но и так называемой «Парижской школы», к которой принадлежали все мы. Об этом своем «пристрастии» она смело и откровенно предупреждает (О своих «пристрастиях» она говорит в предисловии к антологии — Н.Ч.).

**72.**

(Открытка от Ирины Братус из Ленинграда — Н.Ч.)

«Посылаю вам, Юрий Борисович, вдогонку письму, газетную вырезку о выставке экслибрисов Бориса Виленбахова. Он, бедняк,

только что вышел из больницы, где провел месяца два. Инфаркт.

Пишите, не забывайте нас.

30. III. 66 г. Ирина Б.»

(Газетная вырезка «Графическая миниатюра», выставка экслибрисов», где говорится, что ленинградец-коллекционер Б.Виленбахов обладает более чем 30-ю тысячами книжных знаков, что выставка не только любопытна и познавательна, но и представляет художественную ценность, т. к. здесь отобраны экслибрисы— произведения искусства, и что жанром графической миниатюры занимались такие мастера, как А. Бенуа, Е.Лансере, А.Остроумова-Лебедева, Г. Верейский, Л.Бруни. Рядом — запись Ю.С. — Н.Ч.)

Борис Виленбахов мой старорусский приятель — юности. Виленбахов был сыном офицера Вильмонстрического(?) полка, стоящего в Старой Руссе. В нем одно время служил и мой дед Николай Семенович Родионов. Борис учился в Старорусском реальном училище. Когда мы на лето и на рождественские и пасхальные каникулы приезжали к деду — я с Борисом дружил. Это был огромный, сильный юноша, очень добрый и благожелательный.

**73.**

(Газетная вырезка: «Империализм — виновник второй мировой войны», «Правда», № 244,!\ IX, 69 г. — Н.Ч.)

**74.**

(Пригласительный билет с портретом и подписью под ним: «Антонин Петрович Ладинский (1896–1961) и сообщение: «В клубе «Родина» 28 февраля 1966 года состоится: «Литературный понедельник». Программа: «У истоков нашей Родины» (по романам А.Ладинского «Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции»). Литературовед П.Л. Вайншенкер. В зале развернута выставка. Начало в 19 часов. Справки по телефону: Э 1-37-69. Адрес: 2-й Крутицкий пер. дом 4.» — Н.Ч.).

Из письма П.Л. Вайншенкер от 14/X 1968 г.:

Ю.Б., и вам будет интересно следующее место из книги Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути», Нью-Йорк, 1954 г.:

«Специальностью Абрамыча (А.А. Полякова) было не восхищение и не угождение (перед гл. редактором) А. Седых (Цвибак), которого все любили за весёлый нрав и остроумие, говорил, что в России было три словаря — один Грота, другой Даля и третий А. А. Полякова. На что Поляков неизменно отвечал: «Эй вы, Седых, чертова кукла, идите сюда и

послушайте…»

Поляков терпеливо слушал и угрожающе ждал, пока Седых, пока выговорит весь свой репертуар.

— Красноречивей слов иных очков немые разговоры, — говорил Седых. Он подходил Савонаролле, — еще одно из многих прозвищ Абрамыча — без энтузиазма и с невинным видом спрашивал: «Вы мне хотите сказать что-то приятное?»

— Я вам хотел сказать, молодой человек, то, что вы хорошо знаете…

— А именно?

Тут машинистки останавливались, а Поляков, бешенстве: «Известно ли вам, молодой человек, что заседание Палаты Депутатов происходят в Париже, а не в Феодосии? И то, что вы переводите с французского, нужно переводить на русский, а не на крымско-татарский?

— А именно? — продолжал уже менее независимо вопрошать уроженец Феодосии Седых.

Поляков, тыкая в изуродованную красным карандашом рукопись:

— Вы еще смеете спрашивать. А именно то, что, как выразился один из наших сотрудников:

«При Гроте, и при Дале
Вам бы просто в морду дали
За подобные слова!»

Из того же письма

«Для Ю.Б. На днях у меня был Виктор Антонович Курилов (журналист), в «Р.Н.» (в «Русских новостях», Париж — Н.Ч.). — Антонов. Когда я спросила, известно, что А.П. (Антонин Петрович Ладинский — Н.Ч.) в молодости был в масонском кружке, он вскрикнул от изумления: «Как, неужели А.П. нарушил тайну, сообщив вам об этом?..»

**75.**

«Последние Новости» — русская ежедневная газета, издававшаяся в Париже, первоначально (1920-21 гг.) под редакцией М.Л. Гольдштейна. Сознательно аполитичные «Последние Новости» отводили много места литературе и публицистическим выступлениям русских писателей — эмигрантов. С регулярными фельетонами выступали М.Алданов и Н.Тэффи, печатались воспоминания П.Д.Боборыкина и Н.М.Минского, статьи А.Н.Толстого, Дионео и др. С марта 1921 «П.Н.» стали органом Республиканско-демократического объединения и выходили под редакцией П.Н.Милюкова (гл.

редактор), М.М. Винавера, А.И. Коновалова, В.А.Харламова. В это время газета соединяла критическое отношение к Советской России с резкой полемикой против монархистов.

Умеренно либеральная позиция «П.Н.» сделала их газетой демократической части русской эмиграции. Здесь регулярно появлялись стихотворные фельетоны Дона-Аминадо, фельетоны и рассказы Н.Тэффи, «Листы из блокнота» — М.Осоргина, «Actuaiites» М.Алданова, статьи Г.Адамовича, «Художественные письма» А.Н. Бенуа. Кроме обязательного переводного романа развлекательного характера, в «П.Н.» — печатались рассказы или отрывки из романов А.М.Ремизова, И.А. Бунина, Алданова, статьи Ант. Ладинского, Н.Н.Берберовой и др.

Во время 2-ой мировой войны «П.Н.» занимали резко антигитлеровскую позицию, с оккупацией Парижа издание их было прекращено («Краткая литературная энциклопедия», т.5, стр. 906. М. 1968, статья С.И. Григорьянца).

Удивительно спокойный и объективный тон заметки. Конечно, надо радоваться этому, в особенности вспоминая дикие по злобной нетерпимости и бескультурью статьи в «Большой с. Энциклопедии» 50-го года, сталинских времен. Дикая чушь об Аполлинере, о Зощенко и т. д. Об этом писали Чуковский, Эренбург.

**76.**

(Пригласительный билет с портретом Анны Ахматовой: «Государственный литературный музей. Вечер. Анна Андреевна Ахматовой (Горенко — рукой П. Вайншенкер — Н.Ч.), к 80-летию со дня рождения (1889–1966, снова рукой П.В. — Н.Ч.). Пятница, 11 июля 1969 г. Начало в 19 часов, и далее письмо Полины Львовны на этом билете — Н.Ч.)

«80-летие исполнилось в понедельник 23 июня. См. на обороте»

«Москва. На добрую память дорогому Юрию Борисовичу, в этот вечер я вспоминала своих знакомых поэтов, в том числе Антонина Ладинского и Вас. Выступал А.Сурков, хорошо и откровенно, Д.Самойлов, Алигер, писатель Ардов, у которого А.А. жила в Москве много лет, академик Жирмунский. Слушали в грамзаписи Анну Андреевну.

23. IX. 69. Искренне Ваша Полина Вайншенкер».

**77.**

«Сов. Патриот», 28 /VI 1946 г.

Встречи, разговоры

(…)

Объединение русских писателей во Франции

Наш сотрудник беседовал с тов. Председателя Ю.В.Софиевым, он заявил нам:

— Независимо от политики русская литература всегда была национальной, выражая духовную сущность своего народа. Отрыв от Родины и народа вынуждает зарубежного писателя на беспочвенность и бесплодие. Указ Верховного Совета открывает перед нами новые перспективы и надежды. Мы реально обретаем Родину и возможность работать со своим народом. Объединение еще не устраивало собрания для обсуждения этого вопроса, но Указ вызвал среди писателей большое волнение, радость и надежду.

**78.**

(Газетные вырезки: «Сидят-беседуют старушки», «Поэт» Н. Смирнова, публикация его рассказов с портретом автора, к его 70-летию, «Литературная Газета», № 14(274), 30 марта 1968 г. и «Теркин на том свете», поэма А. Твардовского; здесь же — фото с боевиками, которые держат в руках головы казненных мужчин: «Позор века. Снимок, опубликованный западногерманским журналом «Штерн», сделан фоторепортером Жаном Бертолино в деревне Жакиен, в тридцати километрах от Сайгона» и под фото комментарий Ю.С. — Н.Ч.)

И мне кажется, — гораздо страшнее, что это стало, и уже давно, «буднями XX века». «Как (тонко?) человеческое сердце» говорит Уильям Гольбилл(?), а каким же ему быть, если его все время учат ненавидеть, или «убей, убей, других убей!»

А чего будет стоить солдат любой армии мира, если он вдруг начнет сомневаться: убивать или не убивать врага? Не повиноваться приказу? Подрыв (…)? Трусость? Измена?

(Газетные вырезки: «Лувр — сокровищница искусств»; «Над Хиросимой дождь…»; «Сержант Стивел: «Мы убивали всех…», американские солдаты о своих зверствах во Вьетнаме» Д.Ершова, корреспондента ТАСС, специально для «Лит. Газеты» из Стокгольма; «К 90-летию со дня рождения И.В.Сталина»; Подборка стихов Е.Евтушенко, в том числе его стихотворение «Каинова печать», памяти Р.Кеннеди, Дамаск-Москва, 1967–1968 гг., «Огонек», № 27, июнь 1968 г. К его публикации комментарии Ю.С.

— Н.Ч.)

Сегодня (26 / XII 69 г.) обнаружил в старом «Огоньке»

Евтушенко. Прочитал эти стихи впервые, и обнаружил странное совпадение некоторых мыслей с моими, тоже уже в давнишних стихах.

«Все начинается с бабочек,
После доходит до бомбочек».

У меня:

«От мелочей — пол шага до большого —
До бомбами разорванных детей,
До оправдания лукавым словом
На ненависть помноженных смертей…»

Только Каин у меня (…)
У Евтушенко: «Единственное убийство
Священно,
Убить в себе Каина»
У меня — убить Ветхого Адама в человеке.
Зачеркнуть историю, потому что Homo sapiens шествует по жизни, как вор, грабитель и убийца.

Нет, сердце, — молчи, молчи!
Нельзя украшать войну,
Ни ярость, что славят мечи,
Ни мертвенную тишину.

Пустые глазницы шлем
Прикрыл. Эту повесть не множь!
Ненависть, злобу, ложь
Нельзя украшать ничем!

***

Полуправда — порожденье лжи.
Полуправда — порождает ложь.

Мы хватаемся «во имя» за ножи.
Только нож всегда есть нож.

Полуправда всё разъест, как ржа.
Всё опошлит, всё перевернёт:
Совесть — в вёрткого ужа,
А свободу — в гнёт.

***

История!
Податливый судья.
— Деталь отбрасывая
Письменно и устно —
Расчётливо итоги подводя,
Готова оправдать любую гнусность.
Деталь!
Людская беззащитная беда!
— Насилье, предательства и пытки —
Такие мелочи
Проходят без следа,
Чуть снисходительно:
«Эксцессы иль ошибки».

О чушь нестерпимая противоречий!
Мятежный Каин,
Смертный демиург,
Дух творчества,
Сомнений и исканий,
Вновь обнажил свой нож
На ветхого Адама.
В человеке.

— А если всё сначала?
Но где-то на предельной глубине
— Не разума, а сердца —
Невозможно!

Да, невозможно!
Кто чист и человечен,
Немыслимо, невыносимо
Забыть
Майданек,

Аушвиц,
Польшу
И
Хиросиму!

***

Обличьем женщина, а морда крысья —
На зло соседу травит пса стеклом.
Та кошку долбанула топором,
А этот ложь и клевету измыслил.
От мелочей полшага до большого —
До бомбами разорванных детей,
До торжества всего извечно-злого,
До оправдания лукавым словом
На ненависть помноженных смертей…

Как утомляют сердце морда крысья
С оскалом разъярённым и тупым…
Нет! Этот мир не нужен и немыслим,
Он умным сердцем видится иным —
И прежде всего, добрым, а не злым.
Вне человечности, без соучастья,
Без доброты нельзя построить счастья.

## На Балканах

Свирепствует ветер.
Лиловые тени.
Сияние и глубина.
Столетья, столетья стоят на коленях
И их стережёт тишина.

Прогулки глухие.
Немые заборы.
Лоза, переброшенная со двора.
Смоковницы вычурные узоры.
В закатной пыли — детвора.
Две красные фески сидят перед домом
Над чашечкой кофе, в табачном дыму.

И чем я взволнован, пришелец бездомный,
Встревожен и радуюсь почему?

Нежданным (?) и близким дыханием Азии?
Турчанкой под шалью прозрачной?
Лозой?
Строкой из Корана арабскою вязью
Над памятником под чалмой?
Проклятием пращура?
Шорохом, шёпотом
Как будто когда-то прожитых веков?
И кровь, восставая, швыряет мне ворохом
Обломки застрявшие снов:
В них — ненависть крови!
В них — ненависть веры!
В них — ярость во имя своей конуры!
В них — прочие доблести древней дары!
«Во имя», «во имя» лютуют без меры
С начальных времён и до нашей поры…
А я, взбунтовавший(ся) блудный потомок,
Иду по планете, закинув булат.
Иду средь селений, и всюду я дома,
Влюбленный и в землю, и в жизнь без преград,
За пазуху спрятав,
Всегда бездомное,
Единственно нужное слово — брат.

Юрий Софиев.

Но все эти стихи, хороши или плохи они, искренни и до конца мои. Увы, они не (впечатлят?) ни редакторов, ни цензуру и останутся в моем столе, перейдя оттуда непосредственно в полное забвение.

Стихов своих я никому не читаю!

## ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

(Предсмертные письма Ю.Б.Софиева, напечатанные на плохой — «картавой», как говорил Ю.С., машинке, слепым шрифтом, на серой оберточной бумаге.

В феврале ему исполнилось 76 лет, а в мае он умер. Выходит, письма 1975 г. К ним прикреплены и две открытки от сотрудников из Института Зоологии АН Каз. ССР, поздравления с днем рождения — 21\ II 75 г., и конверт от И.Братус из Ленинграда со штемпелем: 19.2.75. — Н.Ч.)

**1.**

(Брату Льву Бек-Софиеву и его жене Марии-Луизе в Париж — Н.Ч.)

Дорогие мои Машенька и Левик!

Получили вы мое письмо с поздравлением с Новым годом? Как вы живете? Как здоровье? У меня здоровье совсем неважно, все время падаю навзничь, ушибаю голову. Живу по-прежнему в Доме престарелых, вернее все время лежу, потому что ходить почти не могу. Приходят ко мне мои институтские и мои прежние соседи. К сожалению, нахожусь как в больнице. Вот уже неделя, как у меня прекратился пульс в висках, по-видимому, где проходит сонная артерия, голова у меня совершенно дурацкая.

Милый Лева, если бы ты мне прислал твои греческие фотографии, конечно, часть!

У меня теперь довольно длинная козлиная бородка. Как-нибудь снимусь, пошлю вам, а потом сбрею. Какой ты молодец! Ты ведь только на 3–4 года меня моложе! А я совсем сдал. На днях мне исполнится 76 лет! Какая мерзость старость! Болезни, слабость…

Спасибо тебе за сведения о дедушке. Я не знал, что его отец, Семен Львович, был или петербургским чиновником (речь идет о предках с материнской стороны, Родионовых — Н.Ч.), или, мне это как-то сказал Володя Родионов (жив ли он?), что он был майором. В каком году родился папа, в эмиграции он выезжал из Белграда, чтобы подписать рабочий контракт, он очень «омолодился». Где служил дедушка, когда папа познакомился с мамой, где-то около Рембердова? Его прикомандировали к 11 конной батарее, боюсь, что это фантазия. Нашему комбату, а потом комдиву Н.Н. Сапегину (нашему однокашнику) папа рассказывал, что он ушел из конной, потому что сломал ногу. Мне Н. говорил совсем другую историю. Где-то на станции — возможно в Рембердове (и папа был прикомандирован к 11

конной) он пил что-то со своими офицерами, они стали задирать «пижосов», папа целый год при обмундировании носил свою тоже «пижоскую» форму. Папа возмутился и ушел от них. Папа мне рассказывал другую версию. Он отказался подписать — будучи заведующим хозяйством, какую-то бумагу — его подпись требовал комбат, считая, что это не законно, и он был, в конце концов, из 11-й откомандирован. Я не знаю, в какую бригаду был откомандирован папа из Волынского полка. Он мне говорил, что Варшавская гвардия ему здорово не понравилась. Он был простым, демократичным человеком и не был светски воспитанным.

Папа говорил, что он не ездил на каникулы даже домой, а оставался все время в корпусе.

Милый Лева, хочу с тобой посоветоваться, видно болтаться мне на свете осталось, увы! недолго. Нельзя ли меня, так же, как Макса, символически поместить со всем нашим семейством? Вместе с Ириной???

Ю.Б. Софиев, 1899 — (Юрий Софиев, поэт, литератор, художник-график, научный иллюстратор с 1955 по 1974 гг. в Институте Зоологии Академии Наук Каз. ССР. Алма-Ата).

Подумай об этом? Умру в Алма-Ате, лежать буду в своей родной земле, К сожалению, это не Русса и Горький и не Ленинград. Для меня это СССР, я никогда не был националистом и это дело всегда здорово ненавидел.

Ну вот, пора кончать. Целую вас крепко. Любящий вас Юрий.

**2.**

(Письмо П.Л.Вайншенкер, биографу А.Ладинского, в Москву — Н.Ч.)

Милая и дорогая моя Полина Львовна!

Вы уж думали, что я отошел в другой мир и потому не пишу Вам. Нет! Я кое-как еще жив, но чувствую себя отвратительно.

Я переменил адрес. Меня устроили в Дом престарелых, и почти все время лежу в постели, так как ходить почти не могу — болят ноги и все время я падаю.

Как Вы живете? Что поделываете? Все работаете в музее?

У меня так плохо с головой, что я совсем стал безмолвным. Совсем не могу окончить воспоминания о Голенищеве-Кутузове, который умер в Москве, о Алексее Дуракове, который был убит в Югославии, Сопротивленец, он награжден орденом Сов. Правительством. Мои лучшие друзья молодости и всей жизни. Напечатать мог бы в «Голосе Родины», там напечатаны несколько моих статей, «Издательство Советского Комитета по налаживанию связей (культурных) с зарубежными Соотечественниками»,

находится в Москве, Харитоньевский переулок 10, они меня нашли через Сосинского, тоже мой приятель по Парижу и Москве.

Еще раз большущее Вам спасибо за Бунина.

Простите меня, нужно кончать, приносят ужин.

Всего Вам хорошего. Может быть напишите, как Вы живете? К сожалению, я теперь, знаю это, людям в тягость. Простите меня, дорогая Полина Львовна.

Искренне и сердечно преданный …

**3.**

(Письмо Раисе Миллер, подруге Ю.С., — Н.Ч.)

Родная моя Рая!

Спасибо тебе за письмо. Ты должна получить письмо, написанное Любой. Оно уже было в Эрмоне, но вернулось ко мне, т. к. (…)

Ты, вероятно, поняла, почему я вложил старый конверт в новый. Чтобы ты увидела, что письмо уже было в Эрмоне. Адрес писала Люба и ошиблась.

Ну как же ты живешь, родная? Я ношу себя отвратительно! Пиши, пожалуйста, жду с нетерпением твоих писем.

Ирина Владимировна (Братус, жила в Ленинграде — Н.Ч.) очень мила. Послала мне в посылке сладости и даже на Институт небольшие деньги на разные покупки.

Написала, что это присылают мои старорусские друзья, но мне ужасно неудобно, подозреваю, что старорусские друзья это она сама.

Купить машинку не могу, потому что она стоит больше 100 рублей, а мне в моем Доме дают в месяц 10 из моей пенсии (66 рублей 60 коп.) Это все мои деньги. Да ведь я на всем готовом! Кормят вполне прилично! Конечно, это не дома. В комнате нас двое, правда, старик довольно противный, совершенно глухой! Так что я, вероятно, совершенно разучусь говорить, т. к. все время молчу.

Ну, вот, родная, пора кончать. Сердечный привет всем твоим. Как же ты будешь жить дальше?

Пиши мне обо всем. Крепко целую тебя, любящий тебя…

(Адрес Дома престарелых: Алма-Ата, ул. Каблукова, 119 «а», комната 94. Была и комната 40. — Н.Ч.).